



BRÜCKEN

**Zeitschrift von Literatur, Kunst, Wissenschaft
und sozialpolitische Problematik**

BRIDGES

**A literary, scientific, political and sociological quar-
terly**

LES PONTS

**Revue trimestrielle de littérature, d'art, de sciences
Politiques**

ISSN 1613-1770

© «Brücken». 2018

Printed in Germany

**Наш адрес:
Postfach 630129
60351 Frankfurt am Main, Germany**

e-mail: 1998Lew@gmail.com

Internet: www.le-online.org

Редакция не всегда разделяет мнение авторов

**Подписка в Европе – 60 евро
В США – 85 долларов
С целью поддержки – 200 евро**

Konto

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE53 5005 0201 0000 6524 82

SWIFT – BIC: HELADEF 1822

**Получатель - Verband russischer Schriftsteller
in Deutschland e.V.**

М О С Т Ы

ЖУРНАЛ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

№ 59

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ

- Дмитрий Казьмин. Три стихотворения 5
Александр Урусов. Мертвые души 2.0. *Окончание* 9
Евгений Терновский. *Стихи* 60
Евгений Любин. В Германии красивых женщин нет...
Рассказ 65
Борис Майнаев. Цыганское счастье 81
Ара Мусаян. Однажды летом 89

ПЕРЕВОДЫ

- Сонеты поэтов Австрии и Германии
Перевел Алишер Киямов 110

ВРЕМЯ И МЫ

- Владимир Батшев. 20 лет журналу «Литературный
европеец» и русская зарубежная литература сегодня 127

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Владимир Порудоминский. Странности жизнеописания 141
Граф Шампанский. Ягодки
(публикация Д.Бобьшева) 156

ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

- Семен Резник. Последний император 176

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Анатолий Либерман. Литературный обзор (*Русские евреи в Америке. Редактор-составитель Эрнст Зальцберг. Книга 16; Борис Рохлин. Такси до Могадисио; Михаил Ландбург, У-у-у-у-у-у-у-х; Юрий Диденко, Фрак*) 302

Борис Рохлин. Поэзия фельдеперса и меланж прозы
(О произведениях Дмитрия Драгилева) 319

Семен Ицкович. Литературные этюды (*Владимир Батшев. Один день Дениса Ивановича; Давид Гай. Катарсис*) 347

Письмо в редакцию

Анатолий Либерман. Два слова о Вильяме Шекспире
и Алишере Киямове 353

Об авторах

Редактирует - Владимир Батшев

Читает, советует, рекомендует, критикует

Редакционное совещание –

**Владимир Порудоминский, Леонид Ицелев,
Берта Фраш, Ара Мусаян, Анатолий Либерман,
Галина Чистякова, Семен Резник, Евсей Цейтлин,
Виктор Фет**

Дмитрий Казьмин

Собираясь

Вам в путь пора - не тратьте сил
На сбор вещей, бывшего хлама,
Не вместит брюхо чемодана
Всего что видел и прожил.

Езжайте попросту, а там
Обзаведётесь новой жизнью,
Чужбина станет вам отчиной:
Смешна привязанность к вещам.

Не сокрушайтесь ни о чём,
Ведь жизнь не стоит сожаленья,
И скоро станет днём рожденья
Что было расставанья днём.

Прощанья - блажь. Бегите прочь
Перонных тягостных объятий:
Во вред стремление некстати
Напрасной слабости помочь.

Не оборачивайтесь, нет!
Ушедшее неповторимо,
И не смотрите на любимых
Как смотрят уходящим вслед.

Забвеньё - всё. Всему свой срок.
Вы забываете - вас забудут,
И поминать уж вас не будут
Когда, ступая за порог,

С судьбой играя в кошки - мышки,
Тайком зажмурите глаза,
Чтобы прощальная слеза
Не пересохла не родившись.

Новый Год

Вадиму Золотареву - с любовью

Волшебство вечнозеленой хвои,
Чуда ежегодного обряд.
Деревце мое полубольное,
Наряжу в последний путь тебя.

Наклонись. Вот ангел на макушку.
Ждал весь год на пыльном чердаке.
И дождался. Мишура, игрушки,
Нежность детских пальцев на просвет.

Не колись. Вот, видишь, воск медовый
Шарик нам закапал в прошлый год.
Между той свечой и этой, новой,
Что случилось? Что произойдет?

Где порвется круг привычной связи?
В хороводе рук, в чужом лице -
От чего ущерб ждать обязан?
Каверза какая в темноте?

Стол обилен. Вина и закуски
Ждут вниманья сказочных гостей.
Как прекрасен этот миг, как грустен -
Перед новым прошлым - светотень.

Тени мечутся по стенам в полумраке,
Свет свечей дробится в мишуре.
В этот час меж волком и собакой

Как я рад что ты пришла ко мне!

Привела с собой гостей ораву,
Шумных, невоспитанных, хмельных...
Милые, входите! Я так рад вам!
Так заждался год детей своих!

И уже почти иссяк в разлуке.
Сдвинемся тесней - плечо к плечу.
Обними меня. Сожмем покрепче руки.
Время есть еще. Копеечки. Чуть-чуть.

Насыщенье дремлет в ожиданьи,
Расставаньем брезжит новый год
Новый день звучит свистком сигнальным
Не наобнимаемся, не до...

Август

Еще не желтизна, но отголосок,
Предзвучие, таинственный намёк
В уставшей зелени. В смолистой коже сосен
Перебродившим летом медлит сок

И замедляет бег по ломким жилам,
Спешит к корням, во тьму грунтовых нор,
И зелень блекнет мелкой паутиной,
Темнеют губы углекислых пор.

Ещё не золото, но лёгкий привкус меди:
Зелёной патиной простыли купола
Шершавых крон, что в изобильном свете
Коротких дней предвидят холода,

Подвох подозревают ежегодный
И терпеливо мирятся ему,
За пазуху листве, еще зелёной
Кладут иного года малышню,

И лист беременен своим же продолженьем
И клейкой кровью делится своей
С зернистой почкой, майское цветенье
Питая светом августовских дней.

И руки, липкие от ягодных полей
Переплетенья пальцев расплетают.
Сплетают вновь. В узоре тёплых дней
Узоры льда на окнах вызревают.

И дрожь прикосновенья - дрожь листа,
Смирившегося с близкою потерей
Две даты расставляя по местам
Готовится к осеннему цветенью,

К безумью, к карнавалу, к ворожбе
Воздушной багряницы, к охре спелой,
К прозрачной туши веток, к синеве
Бледнеющего, гаснущего неба.

И на губах - невысказанных слов
Налет несмытый. Поздняя забота -
В расколах губ осенний сок, как кровь
Копится, набухая горьким мёдом,

И семя выпадает из руки
Растенья хрупкого. Из кожистых ладоней
Сухого колоса - к объятиям земли
Спешит припасть. И двое меж собою

Судачат о вращении сезонов.
Излом колен - у лета на краю
Народец трав коленопреклонённо
Выходит поклониться сентябрю.

Александр Урусов

Мертвые души 2.0

(окончание)

5. Столовая Вечный Уют

Генерал вышел наружу и, остановившись в конусе желтого света от уличного фонаря, картинно раскинул руки навстречу Павлу, как бы готовясь к дружеским объятиям со старинным приятелем после долгих лет разлуки. Объятия однако не состоялось, потому что Собакевич руки свои быстро опустил. При этом стало видно, что сейчас его тик придает его лицу вовсе не дружеское выражение. Павлу, который топтался на месте, не зная, как себя вести, выражение генеральского лица и вовсе показалось по-бульдожьки зверским.

– Ладно, чего ты там застыл, испужался что ль? Марья тебя так напугала, что ты весь трясешься?

Павел вовсе не трясся, но чувствовал себя, конечно, как в нескончаемом гриппозном кошмаре. Вот, казалось, жил себе спокойно в приятном европейском комфорте, ну не хватало может быть для полного комфорта иметь чуть больше денег, но ведь всегда можно как-то ужаться, урезать расходы, найти, в конце-концов, богатую вдову... В этой же реальности перед ним, вместо вдовы, стоял, широко улыбаясь недружеским тиком, генерал-майор всего Собакевич.

– Зайдем сюда, тут спокойно можно отдохнуть, – генерал как-то по-особому вкусно чмокнул губами и показал широким жестом себе за спину, – просто покушать в спокойной обстановке в уютном месте.

Вход в уютное заведение, куда им предстояло зайти отдохнуть, представлял собой обычный подъезд жилого дома в приличном районе, отличаясь лишь скромной вывеской, выполненной в стиле логотипа под старину газеты Известия:

ВЕЧНЫЙ УЮТ

столовая лечебного питания

Перед входом, правда, в отличие от обычного подъезда стоял охранник, наряженный в красноармейскую плащ-палатку.

– Мы тут часто едим с товарищами, господами средней руки, как говорил классик. Не подумай чего пошлого! Это не буквально, просто нужно быть в серединке, меньше высовываться. Притвориться мертвым лучше, чем оказаться им на самом деле! – тик на лице застыл и перешел в веселую гримасу, но потом опять вернулся в привычное суровое дерганье. – Сюда простых с улицы не пускают, а мы вот раз – и войдем.

В этот момент из двери выскочил человек, по внешнему виду тоже какой-то липовый красноармеец, но с почему-то с аксельбантами на груди и со светящимся какой-то неестественной бледностью лицом. «Еще один зомби», – подумал Павел с тоской. Зомби, распахнув перед гостями дверь, заговорил с почти-тительным придыханием:

– Извиняюсь, Илья Парамонович, мы сегодня на спецобслуживании, в главном зале отдыхают, компания.

– Кто такие? Вы что теперь корпоративы пускаете или туристов? – произнес тоном помещика, недовольного своим бурмистром.

– Извиняюсь, не смогли отказать, 28 панфиловцев сверху было приказано пустить. По программе вечноживые армии.

– Шумят?

– Нет, тихо кушают, пока. А малый зал к вашим услугам.

– Ладно, пойдем в кабинет, там даже уютней.

– Пожалуйста, Илья Парамонович, милости просим!

Прошли через вестибюль, обустроенный в старинном купеческом стиле, потом через комнату с громоздким чучелом медведя и барной стойкой, откуда вели два входа – один, украшенный торжественной лепниной, в тот зал, где за закрытыми дверьми тихо кушали панфиловцы, а другой – в «малый зал», предназначенный, видимо, для публики избранной. Интерьер этого зала напомнил Павлу виденные в детстве фотографии ленинского кабинета в Кремле. Тот же письменный стол с двумя древними телефонами и лампой с зеленым абажуром, бронзо-

вые фигуры пролетариев в разных позах. По стенам худосочные этажерки, полные фальшивых книжных корешков. Впритык к письменному был приставлен стол для заседаний с красной скатертью, на которой располагались приборы и бокалы. Уселись в массивные кожаные кресла, и сразу же официант в красноармейской гимнастерке, также искусно потертой и искусственно выцветшей, принес меню и две рюмки какой-то настойки, заказанный генералом в качестве аперитива.

– Здесь спокойно можно рассупониться, не скрываясь покушать чего захочешь. Смотрим разблюдовку: щи со слоеным пирожком, ну они здесь не свежие, их тут сберегают, как тот же классик говорил, по несколько недель, для лохов. Попробуем мозги с горошком или пулярку жареную, ты как, нет? Ну читаем дальше: стерляжья уха с налимами и молоками, расстегай, кулебяка с сомовым плесом. А может хочешь ломоть осетра? Но не знаю, есть ли сегодня, у них тут вообще-то кухня гоголевская, но иногда бывают нехватки, влияние санкций. А для начала допель-кюммель выпьем, – тон Собакевича по мере продолжения этой длинной тирады стал совсем почти дружеским. – Тебе ведь нравится?

Но Павел этот дружеский тон не поддержал:

– Как я понимаю, – всеми силами Павел убеждал себя в том, что он что-то еще может понимать, – вы постоянно за мной следите через спутники, через камеры наблюдения, они ведь повсюду у вас натъканы. Как вы узнали, что я с этой Марьей еду?..

– Выдумывай давай, это мозгам дает пищу! Скучно-то как с вами, с живыми, – Собакевич погрустнел, вертя в руке опроженную рюмку. – Мне за собаками не уследить, а ты тут развел такую конспирологию. В разрез ты тут идешь с нашей политикой, осторожней бы надо. Лучше выпей!

Запас отваги у Павла вроде бы иссяк, он послушно выпил рюмку, и почувствовал возвращение если не прежней отваги, то какого-то унылого безразличия, когда абсолютно нечего противопоставить последовательно гнетущей тебя силе:

– Мне ваша политика не нравится, Михаил... Кстати, почему вас тут Ильей Парамонычем называют, вроде вы мне другому представлялись, как Собакевич у Гоголя.

– Да не задумывайся ты, парень, не бери в голову, не имя красит человека, а дело! Что в имени тебе моем? Можешь со мной по-простому, не нравится Михаил, зови Илья. У нас у многих имена от этого классика, мы к нему с уважением, несмотря на проукраинские перекосы. Да и как человека тоже трудно его полюбить за его *меланхолию*. Ладно, чего тут разглагольствовать, посмотрим разблюдовку. Это значит так, для затравки классиком. Далее смотрим...

Собакевич по-детски веселился, зачитывая текст Гоголя из толстенного меню столовой, и текст этот явно не был перечислением блюд *лечебного питания*: «На одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол, в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плесом».

Тут этому Собакевичу попалась открывающая раздел «закуски» цитата с его (того Собакевича) словами, и голос сделался торжественным:

– Засим, подошедши к столику, где была закуска, гость и хозяин выпили, как следует, по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия. Ну, дальше тут про бараний бок с кашей, и что мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Это всё выдумали доктора немцы да французы; я бы их перевешал за это!.. Что у них немецкая жидкокостая натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят!

Закончив зачитывать свои слова генерал как-то приуныл и задумался.

– От себя добавлю за классика: они же все у них геи, что от них ждать! Но бараньего бока давай-ка заказывать не будем, другие, знаешь, все-таки времена.

И обратился к вытянувшемуся в ожидании официанту-красноармейцу:

– Ну ты, Иван, это, принеси, знаешь, чего-нибудь попросту, не слишком чтоб жирное.

«Да, – подумал Павел, – Гоголь Гоголем, а питание предпочитает здоровое, губа не дура».

Ужин обещал быть скромным, ничего из гоголевского меню официант, привычный уже, видимо, к посещениям Собакевичам и его шуткам, не подал, а принес бефстроганов и салат с помидорами и свежими огурцами. Единственным гурманским излишеством была какая-то коричневая кожура, вроде картофельной, среди которой располагалась горькой черная икра. Но Павел, поковырявшись в тарелке, этого экзотического лакомства есть не стал. Выпили еще по рюмке «дошпель-кюммель», который Павлу показался просто темной водкой, довольно, кстати, вкусной. Собакевич зорко присматривал, чтобы Павел выпивал вместе с ним вместе и пил до дна. Алкоголь не брал, а как-то отуплял – голова Павла сделалась туманно ватной. Тем временем тик Собакевича перестал быть пульсирующим и мягко перешел в лукавое подмигивание, а потом и вовсе превратился в какую-то постоянную доброжелательную гримасу. Что ему, впрочем, даже шло - в ней было меньше собачьего, подумалось Павлу. Разговор больше не касался еды.

– Ты мне скажи, что утром сегодня взял в метро у стахановки. Если не скажешь, боишься кары от Веревкина с того света, так мы и сами узнаем, стахановка ведь... ну, не обойдем ее нашим вниманием... Хорошенькая, хочешь, придет к тебе как-нибудь вечером?

Павел промолчал, он вообще решил говорить как можно меньше, потому что выпив, мог наболтать лишнего, да и не было у него, по большому счету, слов для разговора с этим очевидно inferнальным существом, хоть и спрятавшимся за гоголевским псевдонимом, однако происхождением явно из секретных подземелий Лубянки. Но и запираться с такими уж точно бесполезно. Вытащит из тебя нужное клещами или более изощренными какими-нибудь приемами.

Павлу показалось, что со стен кабинета вместо портрета Маркса ему постоянно корчит рожи какой-то стилизованный под Ильича раннегоголевский бес. И язык Собакевича слегка развязался.

– Открою тебе тайну, но только ты смотри – ни-ни, никому! Наша политика, слава начальству, к чему стремиться? Не то чтобы всех превратить в мертвых, в зомби каких-нибудь, как ты

тут давеча изволил высказаться, нет! Это все клевета наших врагов. Хотя и правда, если подумать, в живых-то мало толку, мало, маловато. И они нам нужны такие, знаешь, чтобы не очень живые. Мы в нашу программу... Но ты того, молчок посторонним, а я только тебе раскрою: в нашей программе есть такой «Пункт Чичикова»! Только – молчок! А не то вырвем язык, выколем глаза, утопим в параше и отправим в огород на удобрение! Программа такая...

Генерал ненадолго замолчал, глуповато улыбаясь, так что его тик стал как-то веселей, он явно захмелел, или же очень умело, по нестареющей гебистской выучке замечательно играл роль пьяного. Но речь его действительно была довольно бессвязна.

– Ведь меня всякими этими деликатесами не-е... Мне знаешь что по вкусу? Вот эти вареные картофельные очистки, ну мундир их, с черной икрой – во! Ты сам подумай: станут ли наши, наши новые замечательные мертвые души бузотерить по поводу какой-нибудь лишней дачки, какого-нибудь лишнего, неизвестно как образовавшегося у меня, хмы, миллиончика? Нет! Да ты пей, не стесняйся. А программа что? Программа программой, но нас фьючерсы поджимают. Тебе про них вдова Веревкина хотела сказать, да он не дал, подлец. Она ведь тоже наша, но в тайне от него. А он нам вредит! Контракты почти готовы, по цене уже почти сговорились.

Словоизлияние генерала не лилось из него равномерно, следуя хоть подобию какого-то порядка. Он то пьяно похохатывал, то вдруг серьезнел, делая страшное лицо с выпученными глазами.

– Мне тут докладывают, что на днях с тобой хочет встретиться один важный человек, зовут Манилов, он официально по культуре, – так ты ничего с того, что мы с тобой говорили, ему не рассказывай. Ха-ха! Молодая сволочь, опасен как черт – искусственный интеллект! Молчок, молчок!

Генерал вдруг выкатил глаза и весь затрясся будто от страха:

– А если вдруг повезут к самому, – тут генерал-майор понизил голос до почтительной, хотя и пьяной торжественности, так что «самому» прозвучало у него как бы с заглавной буквы, – ты уж там не подведи, на тебя надеемся. Хотя прямо скажу, главный у нас не совсем в курсе, не во всем,

то есть. Ой! Что это я!? Молчок! Воды в рот... Свинец в затылок!

Речь его, хоть и бессвязная, открывала Павлу вид на зияющую пропасть, куда этот веселящийся генерал, видимо, готовился его сбросить.

– Молчу-молчу, ты ведь у нас тоже полезный дурачок, случайно к делу пристегнутый. Шучу, шучу, не обижайся! Ладно тебе дуться. Барышня, фи-фи! Барышня к тебе потом придет, развеешься, а теперь я тебе больше ничего не скажу. Вот. Молчок! Проинструктирую тебя, когда момент подойдет, когда повезут тебя куда следует, а сейчас пей!

И Павел выпил полную рюмку, подчиняясь весело подмигивающему Собакевичу.

– И не вздумай просить помощи у Веревкина! Ку-ку!

Густой алкогольный туман расползлся по ленинскому кабинету, и в этом тумане лицо генерала то расширялось, обретая сходство с выбритым, но с густыми бакенбардами Марксом, то сужалось до ленинского хитрого прищура с фотографии Напшельбаума на стене.

– Как это, что вы говорите, как это я могу просить у человека, который умер, или которого убили. Кстати, вы?

– Умер, не умер, сейчас это понятия относительные. Похоронили – и ладно, вернее, сожгли и поместили в колумбарий с почетной доской! Ха-ха! Но в гробу, когда сжигали, ведь неизвестно что было. Может, пустота, void, как он сам сказанул. А может и адвокат какой другой. Молчу-молчу. В дальнейшем – молчание, silence, как вы там в загранке выражаетесь!

Задумался и, как бы слегка протрезвев, заговорил чуть более внятно:

– Мы вообще сейчас, перечитывая Гоголя, считаем, что в вечноживых душах гораздо больше толку, ведь хоть и мертвый с виду народ, а свои замечательные качества имеет. Главное в чем? Это народ, который не встает без надобности с колен, как раньше говорили, а стоит себе и послушно выполняет все поставленные перед ним задачи. А какие у него задачи теперь, когда нефть и газ шарахаются ценой туда-сюда и вообще подходят к концу? А пиндосранцы и прочие евроглодиты вздумали от наших природных богатств отказываться. Как будто

они электричество из воздуха трением получать умеют и себя дровами будут отапливать!

Из соседнего большого зала раздался вдруг какой-то громкий стук, похожий на автоматную очередь. Собакевич, хоть наверняка привычный к подобным звукам, вздрогнул и замолчал.

В их кабинет вскочил совершенно очумелый «красноармеец» и голосом отчаяния проговорил:

– Извиняюсь, Илья Парамоныч, за шум, но там что-то панфиловцы встрепенулись от выпитого – мы им спирта по сто грамм наркомовского для заключительного тоста подали...

Собакевич, собравшись, выпятил грудь и четко, по-военному, заявил:

– И правильно сделали, пусть ребята оттянутся, это же наши деды, они за нас жизнь отдали. Если бы не они, нас бы не было на свете!

– Да их и не было на свете, – попытался возразить Павел, – это же выдуманный факт, для пропаганды, поднятия боевого духа, я помню, что писали... – в этот момент раздалась еще одна очередь и несколько одиночных винтовочных выстрелов. – Там видимо у вас какая-то разборка, бандиты, кто там на самом деле стреляет?

– Панфиловцы и стреляют. Ну и что ж что не было, они были в легенде, – и еще более серьезно, – не будучи живыми, стали вечноживыми, вот так!

За стеной грохнула оглушительно граната, видимо, противотанковая.

Тут уж и Собакевич не на шутку перепутался:

– Быстро! Уходим черным ходом, – с неподдельной дрожью в голосе прокричал генерал, вскочил, и пригибаясь и видимо чувствуя себя на поле боя, бросился к незаметной двери между двумя книжными этажерками. Бежал петляя, то ли от выпитого, то ли уклоняясь от воображаемых пуль. Павел, тоже пригибаясь, бросился за ним. Их уход прикрывал официант-красноармеец, у которого в руках оказался вдруг ручной пулемет Дягтерева. Из большого зала продолжали оглушительно гроыхать очереди и взрывы.

На улице, вернее во внутреннем дворике «столовой»,

Собакевич, успокоившись и вернувшись в прежнее пьяное расположение, тихо и совсем уже по-доброму указал:

– Ты вон туда в проход давай, а там уж своим ходом до дому. Я тебя в такой, вишь, обстановке беспокойной, подвезти не смогу, убера, что ль, возьми...

6. Явления

Ночь прошла опять под глухое гудение телевизора, который Павел завалил всеми найденными в доме подушками. Сны последовательно чередовали дергающегося в пляске святого Вита Собакевича, автоматную стрельбу, взрывы и ухмыляющуюся белую харю то ли Петрушки, то ли Селифана. И все это перебивалось изображением уныло гудящего огромного, в полкомнаты компьютера из старинных фильмов о будущем.

Поздним утром он решил выйти, и не для того только, чтобы прикупить какой-нибудь еды, но, скорее, сбежать от бубнящего из-под подушек речитатива о злобных вражеских кознях. И выходя, обратил внимание на распахнутую дверку большого двухстворчатого шкафа, а дверка эта раньше точно была закрыта. «Я ее вчера точно закрыл, – подумал с тревогой, – закрыл, потому что вчера вечером увидел там, в зеркале на внутренней стороне, свою пьяную рожу. С отвратительным перепуганным выражением». Теперь это зеркало светилось пустым туманным светом. Настроение было просто пагубным. Мысли о вчерашних безумных событиях гнездились сейчас не в голове, а почему-то в желудке и отзывались оттуда похмельной тошнотой. Он ведь с ранней юности уже понял, что мир сошел с ума, но взрослея слегка примирился с этим неизбежным обстоятельством, успокоился и даже начал постепенно приспособливаться, иногда вполне удачно мимикрируя под тихого сумасшедшего, а иногда – цинично пользуясь безумством окружающих. Но теперь во-круг образовалось безумие совершенно нового типа, мимикрия под который требовала от него стать как бы чуть-чуть мертвым. И это было внове.

На улице вчерашний мелкий холодный дождик сменился падающей с неба ледяной крупой. Прохожих было совсем не-

много, мостовая была мокрой и скользкой, оттого шли они как-то зыбко, с опаской переставляя ноги. «Если мертвецы, – пришла нелепая мысль, – то должны массово падать». Но никто не падал, и Павлу было непривычно (после всего увиденного и услышанного вчера) обозревать их в общем-то совершенно живыми, лишь чуть медленными в движениях по причине гололеда. Некоторые даже с живым интересом оглядывали Павла, выскочившего из дома налегке, в одной рубашке, как выходил из дома в Италии в это время года. А сейчас страшно замерз, и не выбирая, купил в ближайшем магазине что-то похожее на спагетти, томатную пасту, растворимый кофе и некий импортозамещенный сыр, на вид довольно похожий на настоящий. На кухне поставил греть воду для растворимого, которого не пробовал уже целую вечность. Налил кипяток в чашку, где образовалась темная, пахнущая чем-то неопределенным жидкость. И в этот момент в дверь позвонили.

Долго думал, прежде чем отрыть, а спросить через закрытую дверь «кто?» тоже почему-то не решился. Но в конце концов открыл. На пороге возникла та самая девушка. Она, как и стахановец в метро, были уже настолько далеки где-то в прошлом – хотя прошел всего один день, – что ее появление связалась у него в голове исключительно со словами генерала «хорошенькая, хочешь, придет к тебе вечером». Пришла, однако, утром. Прошла внутрь мимо застывшего Павла, и сказала:

– Ты же хотел, чтобы я пришла, – сказала тем же тонким голосом, что и в метро, так же чуть картавя на «р».

На ней была та же офисная одежда, но юбка казалась еще короче.

– А как вы, извините, узнали адрес, и внизу – в подъезде, там код в домофоне...

При этом подумал: «ведь замерзла наверно... а ведь сама же говорила, чтобы я не ходил за ней». Не получив ответа, Павел замолчал как истукан, не зная, чем занять руки; пожалел, что больше не курит, а то бы немедленно зажег сигарету. Молчание затягивалось, слышалось особенно назойливое сейчас бормотание накрытого ватным одеялом и подушками телевизора.

– Я там кофе растворимый заварил, хотите? Вы замерзли наверное.

– Нет, я на машине. Ванная на прежнем месте? Он, вроде, перепланировку тут в квартире сделал.

– А ты, вы бывали разве здесь уже? – мысли и слова путались – вы, ты, но было совершенно ясно, что ему зачем-то нужно знать, бывала ли девушка здесь у Веревкина.

– Я так спрашиваю, вы не подумайте...

– А я и не думаю, – сказав это, девушка начала раздеваться, никак не реагируя на открытый от удивления рот Павла.

– Я возьму тут чистое полотенце.

И она, уже совсем голая, уверенно подошла к шкафу, к той самой его открытой дверце, и во внутреннем зеркале Павел увидел худые плечи, маленькие груди, выбритый лобок.

В тот момент, когда девушка скрылась в коридоре и послышался шум воды в ванной, в комнате появился Веревкин. Появился из того же зеркала, где только что отражалась голая девушка. Появился как-то плоско, вполоборота и в таком ракурсе оставался все время. Лицо, да и вся фигура опять-таки были не совсем в фокусе, хотя и менее, чем на потусторонней даче. И заговорил более звонко, вроде бы подчеркивая этим свое зазеркальное происхождение. Говорил четко, чеканно, но слов его Павел совершенно не понимал. И вдруг сообразил, что может сделать то, чего не мог сделать там, на даче. Он схватил смартфон, выставил его перед собой подобно щиту и нажал на «камера, видео». Веревкин же никак на появление у Павла в руке телефона не реагировал и продолжал повышать голос, нагнетая в свою речь некий осуждающий гнев. И речь, несомненно обличительная, была связана каким-то образом с появлением здесь девушки, так как ему несколько раз ему послышались слова *puella*, *coitus* и еще *pietas*, *falsus*. Латынь – с помощью отдаленных ученических воспоминаний и итальянских похвастей, решил Павел. Речь продолжалось 2-3 минуты, но потом Веревкин очевидно понял, что говорит на языке, собеседнику непонятном, и перешел, уже более в более спокойном тоне на русский: «Оставь девушку в покое, это может повредить... Видишь же – кое-что изменилось, временные трудности, есть неувязки с планом, тебе не следует пока

возникать, затихни и ничего не предпринимай, с тобой встретится мой человек, он должен сказать слова *tenebris inferis*, это пароль, запомни. Даст тебе инструкцию, а ты отдашь ему (*прозвучало что-то неразборчивое, опять латынь?*) ... получить, и жди, в нужный момент узнаешь, когда и как тебе исчезнуть отсюда». И тон этих последних слов был совершенно обыденным, как будто «исчезнуть отсюда» – дело настолько пустяковое, как прокатиться на трамвае из Останкино до Италии. Сам он исчез как раз в тот момент, когда в комнату вернулась девушка.

Она держала чуть на отлете мокрое полотенце, тем самым показывая себя всю целиком.

– Не глазей на меня идиотом, выключи телефон и пошли в спальню!

В этот момент окружающее Павла пространство вдруг покачнулось и стало уходить вверх и вбок, и при этом быстро сворачивалось и пряталось в какую-то черную кляксу, появившуюся на потолке. В эту же кляксу исчез и сам Павел.

Когда пришел в себя, он не знал, сколько времени прошло, но казалось, что прошла вечность, может быть, какая-то значительная ее часть. Но по свету в окне было ясно, что день еще продолжается, и это, скорее всего, тот же самый день, когда он вышел в магазин, когда с неба сыпало ледяной крупой, когда пришла девушка. Дальше уже в полном беспорядке: девушка раздевается, Веревкин говорит на латыни и чернота, в которую, очевидно, адвокат утянул его за собой. Теперь, вернувшись из черноты, он обнаружил в себя лежащим на растерзанной постели – голый, потный, крайне усталый и опустошенный. Девушки в спальне не было, но он услышал тот же шум воды из ванной, как в момент, когда появился Веревкин. Все, что последовало за его исчезновением, что происходило потом в спальне, следовало еще восстановить в памяти. Но возвращалась память как-то вяло, неохотно. Телевизор молчал, и это было настолько непривычно, что он вслух проговорил: «телевизор замолчал!».

– А я его выключила, – сказала появившаяся в спальне девушка, теперь завернутая в полотенце.

– Как? Они же здесь не выключаются?

– Карманная глушилка, на Горбушке можно купить за пару тысяч, но надо знать продавца. Могу тебе оставить в подарок, в качестве награды. Ты постарался, не ожидала.

– Спасибо. Как тебя зовут?

Девушка не ответила, бросила полотенце и, выйдя из спальни в большую комнату, начала подбирать с пола свою одежду. Молча оделась. Павел наблюдал ее с кровати через открытую дверь. Ему казалось, что встать он не сможет еще очень долго. Однако, гостя собралась, видимо, уходить, нужно было что-то предпринять. «Что-то очень важное, следует ее о чём-то спросить», – суетливо думал Павел.

– Проводить не думаешь? Мне мама еще в детстве говорила, что все мужчины подлецы, им одного от нас нужно!

– Подожди, я сейчас, – Павел встал и, прикрывшись простыней, подошел, – подожди секундочку. Мне вчера генерал один сказал, что ты на них, якобы, работаешь, правда? А как же Вережкин?

– Я работаю в банке, в очень солидном банке, и еще работаю на себя. А они – пусть говорят! Я сама по себе.

– И мертвой не притворяешься, я вижу.

– Нет, мне можно не притворяться. И не только мне. Тебе только кажется, что здесь все такие, ты посторонний, а это тут на самом деле игра такая. Жестокая, конечно. Кто притворяется, а кто на самом деле уже зомби, тут всякое можно встретить.

– А генерал что? Он во что играет со мной, да и с тобой тоже? И Вережкин причем?

– У каждого своя игра. Есть одна скрытая, глобальная, так сказать, составляющая. Но в общем-то все хотят одного. Денег, как ты наверняка догадываешься. И ты тоже, извини, но мне кажется.

– Это цинично так думать, я возмущен, но пропускаю мимо ушей. Но скажи мне, ведь здесь кроме оболванивания, зомбизации, есть ведь еще какая-то скрытая цель? Я думаю, ты знаешь.

– Есть много целей, но сейчас мне нужно идти, в другой раз.

– Когда? Как мне тебя найти, телефон?

– Я сама тебя найду. Скажи только, генерала как звали?

– Назвался Собакевичем из Гоголя, цитировал его много.

– Понятно, а кто такой Парвус?

– Это мой никнейм, но на самом деле я не знаю, кто-то другой им пользуется, какие-то козни неизвестно кого!

– Ясенько. Он тебя подставляет, осторожно! Поговорим в следующий раз и в другом месте. А сейчас, извини, я пойду.

Она по-дружески, чуть формально поцеловала его, прижавшись на секунду к павловой простыне, и вышла, открыв замок каким-то подозрительно привычным движением. «Она здесь бывала, – подумал он, когда дверь за ней захлопнулась, – бывала часто, и отношения ее с адвокатом каким-то образом продолжают до сих пор. А я в их игре в качестве подставной пешки. И Парвус еще, проклятый, к тому же».

Весь этот день, вернее то, что оставалось от этого дня странных явлений, Павел провел в прострациях, в состоянии мыслительного расслабления. Правда в какой-то момент он решил сосредоточиться, вспомнить все по порядку. Навести порядок в мыслях, по возможности. Больше всего хотелось думать о девушке, мысли о Веревкине решил отложить на потом. Вспоминал, что она говорила короткими фразами, что ее лицо не меняло отстраненного слегка выражения даже в постели, хотя телом она была очень податлива и активна. И вообще сейчас ему казалось, вернее хотелось думать, что все между ними происходило естественно, что ее чувственность (на ум лезли слова из дремучих лесов сентиментализма) была естественной. Он решил, что ее зовут Аделаида, Ада. Ей подходит что-то набоковское, хотя она далеко не нимфетка, барышне наверное около тридцати: опыт, раскованность – но выглядит очень молодо, и тело... О теле особенно хотелось думать. И тогда вспомнил про телефон. Там на видео, кроме Веревкина, должна быть она, коротко, но должна присутствовать – и голая. Пока не приказала выключить.

Включил «видео», «просмотр»: по экрану за клубился какой-то серый дым, никакого Веревкина там не было, его латыни тоже. Но совершенно отчетливо, как бы совсем не из-под подушек, звучали голоса из телевизора:

«Наташка, подумай, ведь Петр Васильевич со всей душевной силой борется за то, чтобы наша культура была нравственной. Главное – это нравственность в средствах массовой

информации. Теперь закон запрещает ругаться матом с подмостков сцены, с экранов и ограничивает распространение литературы, неприемлемой для детей и взрослых. И взрослых тоже? Конечно! А правда ли, Петр, что именно ты это говорил вчера на заседании нашего партактива, а также на инициативной группе по выдвижению Поживого? Да, Наташка, именно я говорил, я хотел бы, чтобы все члены партии до конца, до конца жизни это понимали и помнили. И после конца тоже, потому что патриоты! Слышишь, Аркадий, чьи-то шаги. Это шаги истории, Наташка! А ведь я любила тебя, Аркадий, любила всем сердцем, любила так, как любят только наших прославленных воинов-патриотов, положивших жизнь во славу родины, во славу смерти за родину, смертию смерть поправ! Понимаешь ли ты это, ответь мне, Аркадий...»

Павел не дослушал, ответит ли Аркадий, промотал курсором на конец, но ни самой девушки, ни ее слов «не глазей на меня идиотом» на видео не оказалось.

Я должен объясниться. И довести до сведения компетентных органов крайне важные сведения, касающиеся возможно безопасности государства. Но прежде хотел бы сказать несколько слов о себе. Я всегда желал лишь спокойствия в жизни. Жить как все – никаких треволнений, нервных срывов, стрессов. Хотелось спокойной, по возможности обеспеченной жизни. Не могу, к сожалению, добавить: иметь семью, заботиться о детях, помогать престарелым родителям. У меня нет семьи, нет жены и детей, нет престарелых родителей. И в той ситуации, в которой я оказался, подобной жизни у меня не будет уже никогда. Я лишен самых простых радостей. И к тому же с недавних пор мое существование – сплошное нескончаемое безумие. Как будто я попал в зависимость неизвестно каких враждебных мне сил. Я оказался объектом, на которого направлено действие ужасного излучения, за мной наблюдают, я стараюсь скрыться, убегаю, но потом догадываюсь, что как во сне – бегу, не двигаясь с места. И все время оказываюсь в трагических ситуациях, которые по чьей-то злой воле заставляют меня совершать поступки, идущие вразрез с моими убеждениями. Я могу сказать теперь, кто

был той силой, что заставляла меня совершать эти поступки. Это генерал-майор Сугробов, теперь отстраненный от работы и, кажется, скоропостижно скончавшийся. Это он отправил меня в страну мертвых, это он заставил вступить в контакт с якобы покойным адвокатом Веревкиным, в сомнительные операции которого я совершенно не хотел быть замешан. Это он наделил меня личиной слабовольного и корыстного человека, убежденного противника стабильности и того положительного порядка вещей, суверенно установившегося в нашей стране. Паранойя, мания преследования и одновременно непомерное самомнение и полная утеря нравственных принципов нашей жизни и смерти – весь этот букет получил и я, вынужденно став его двойником. Его зовут Павел, но, как это ни странно, у него нет фамилии и нет даже отчества, он поистине безродный отщепенец. И именно вместе с этим типом (как бы в одной оболочке) генерал, введенный в заблуждение Веревкиным, решил отправить меня на тот свет к Веревкину (если кто знает немецкий, ТОТ надо произносить TOD). Теперь, с уходом Сугробова, могу подробно изложить весь, бывший ранее секретным, механизм попадания. Считается, что он многократно описан в литературе (Вергилий и др.) и потому является «секретом Полишинеля»; на самом же деле все оказалось совершенно иначе. Но о том, что было на самом деле – позже. По инструкции мы, поскольку уже находились в Италии, должны были приехать в город Неаполь. Он достаточно всем известен и, несмотря на некоторые пейзажные красоты, не зря уже с древнейших времен пользуется дурной славой – именно по причине своего расположения вблизи от того inferнального места, через которое и нам нужно было проследовать. По той же инструкции мы должны были провести в этом городе несколько дней, дожидаясь благоприятного расположения светил (так именно, ха-ха! было сказано). Не буду останавливаться на подробностях пребывания в Неаполе, но приведу один только «совет» адвоката, в качестве иллюстрации его иезуитского характера. Находясь в городе, советовал он, непременно посетите капеллу Соммариа в Кастьель Капуано и посмотрите фреску XVI века «Харон перевозит души грешников» художника Педро де

Рубиалеса, ученика Джорджо Вазари (всеми этими неизвестными именами он явно хотел нас подавить и подчинить себе). Мы увидели жуткую картину средневековых страстей, что тоже должно было послужить указанной цели, а также он, очевидно, решил разыграть с нами обычную свою издевательскую шутку. Потому что в действительности все оказалось совсем не так, как на фреске...

(Парвус, Москва, ноябрь)

Ничего не нужно делать, ничего. Есть, спать, держать молчащим телевизор, благо есть оставленный «Аделаидой» глушитель, наслаждаться тишиной и покоем. И ждать, как приказало привидение Веревкина. В такой ситуации ничего другого не остается, места инициативе тут нет. Главное, не психовать, зарыться, отлежаться, а если лежать надоест, выйти на улицу, погулять по окрестностям, которых ведь совсем не знаешь в этой части Москвы. Где-то недалеко должна быть симпатичная набережная Яузы и какой-то парк. Пойти туда, побегать трусцой, снять стресс.

Наступил вечер. Не зажигая света, в полутьме, при свете фонарей с улицы приготовил ужин – спагетти с томатной пастой, сыр, откупорил найденную бутылку красного сухого, выпил. Чилийское, слегка кисловатое, неизвестно сколько оно тут стояло. Когда на самом деле умер Веревкин? Это было его привидение, или это одно из следствий тяжелого психического расстройства? Оно налицо – галлюцинации, навязчивые идеи, надо честно признаться, это поможет облегчить участь. Но если они – лишь привидения (но девушка ведь была вполне осязаемой!) – как он, Павел, здесь оказался и зачем? Попал в какую-то непонятную игру зашифрованного толка. Что делать и кто виноват?

Попробовал через смартфон выйти в интернет, посмотреть почту – может там опять будет письмо Веревкина, и все разъяснится, но интернет не врубался, киберпространство глухо молчало. Как сказал Собакевич: *silence!* Он-то, видимо, и вырубил. Остаются книги, как в доисторическую эпоху. Кстати, Павел еще утром заметил на книжной полке старинное издание «Мертвых душ». Есть что читать! Никуда не выходить, целыми

днями читать великую поэму, столь любимую генералом Собакевичем. Может там найдется разгадка.

«Местами расхотелись зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дупли-стый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись Бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте». С некоторым трудом дочитав до конца этот длинный период, Павел заснул очень спокойным сном и спал без сновидений.

Ранним утром следующего дня он проснулся уже совсем в другом, почти просветленном расположении духа. Порывшись в шкафу среди вещей адвоката, нашел там найковский тренировочный костюм удачно подходящего ему размера, достал из своего чемодана кроссовки, оделся и полный здорового спортивного энтузиазма выбежал на улицу. Раннее, еще совсем темное утро на набережной Яузы охватило его сырým ноябрьским холодом. Вблизи можно было рассмотреть бывшую когда-то водной гладью поверхность Яузы. Теперь, в туманном сумраке, она представляла зрелище фантастическое – бывшая гладь полностью была покрыта колыхающимся слоем мусора. Пакеты, коробки, пластиковые бутылки – похоже на ландшафтное произведение художника поп-концептуалиста, обличителя глобального загрязнения. Здесь произведение было представлено во всей красе, картинно подсвеченное редкими уличными фонарями, и именно в ландшафте, еще сумеречном в это раннее ноябрьское утро. Бывшая река слегка пованивала, и Павел решил уклониться в сторону парка. Прохожих здесь в этот ранний час не было, или они успешно скрывались в темноте. И тут услышал:

– Павел! Ты что ли, Пашка? – крикнула из темноты какая-то еле различимая фигура.

Глубокая осень, раннее утро, темно почти совсем как ночью, и прохожие, если и появляются где-то в отдалении, то сразу же исчезают бесследно в утренней тьме. И вдруг тебя окликают по имени, и происходит неправдоподобная каза-лось бы встреча двух старых знакомых, поскольку первый лишь совсем недавно приехал издалека после многих лет отсутствия, а другой – всего лишь один из двенадцати миллионов жителей, населяющих этот ноябрьский город. Такая встреча может родиться в голове не очень изобретательного сочинителя, однако же она случилась на самом деле, невдалеке от Золоторожской, предположим, набережной Яузы, в ноябре того года, когда происходили описываемые в этой повести события.

7. Сеанс корректирующей психотерапии

Человек, окликнувший Павла в то утро – приятель с детских дворовых лет Юрий Копейкин. Фамилия, правда, у него была другая (и Павел, честно говоря, настоящую сейчас уже не помнил), но все знакомые с детства звали его Копейкиным, по той причине, что только у него в далекие советские времена в кармане всегда были необходимые на эскимо или пломбир 11 или 20 с чем-то копеек. Тогда эти копейки имели серьезный вес. Именно с тех далеких времен они были знакомы. И не только 20 копеек, а и более поздние 4,70 за «андроповку» у Юры Копейкина всегда были. Будучи уже в позднюю перестроечную эпоху человеком весьма обеспеченным, он, одновременно, считался в среде полуподпольных интеллектуалов диссидентом и анархистом – всегда выступал последовательно и против коммунистов, а потом и против антикоммунистов-либералов, и вообще против власти как таковой. И всегда оставался прежним Копейкиным, то есть, человеком с копейками и с рублями в кармане, а потом и с долларами в роскошном кожаном бумажнике.

– Во случай! – искренне удивившись, прокричал Павел навстречу приближающемуся из темноты Копейкину, который, казалось, этой встречей удивлен не был.

– Привет! Это здесь ты бегаешь? Лучшего места не нашел? Воняет ведь помойкой.

– Ладно, перебежусь, сейчас не до этого, ты мне как раз позарез нужен!

– Хорошо, пошли отсюда, я тут недалеко место знаю, там поговорим.

И повел Павла куда-то в через парк. Сели за столик в пустом почти в это время кафе.

– Ты меня должен просветить, я здесь уже третий день, приехал по разным делам, вообще меня, знаешь, втянули и сдается мне – кинули. Ты человек обеспеченный, меня не поймешь, но мне было очень нужно... Я в последние годы совсем в той жизни поиздержался, а кино, понимаешь, особенное мое – всякие докуфильмы, дохода не приносят... А здесь попал в какую-то дикую историю, меня... – Павел замялся, увидев открытые от удивления нараспашку глаза Копейкина.

– Паша, что ты несешь, какой третий день?! Ты мне звонил неделю с лишним назад, уже из Москвы, я тогда был занят, мы отложили встречу, и вот – видишь встретились, вовсе не случайно, Павел, ты сам мне назначил встречу!

– Я? неделю назад? назначил встречу?

– Ты. Ты мне еще жаловался, что не можешь никого из старых друзей найти: Жору, Батю, Ольку, Кимерсена нашего, Кузю. Понял, что про Кузю я тебе сказал, что случилось? Ты говорил, что никто не отвечает, или телефоны отключены.

– Я тебя про них спрашивал неделю назад? Ты уверен, что это я с тобой говорил?

– Паша, не валяй дурака. Я тебя бы не перепутал ни с кем. Я злился, когда ты приезжал и не звонил, но прощал всегда.

– Слушай, что-то не то происходит. Я уверен, был уверен еще только что, уверен, что прилетел в Москву три дня назад. Причем, прилетел дико, не могу тебе внятно объяснить, как и откуда прилетел. Ты бы меня за психа принял. Да, был у меня вчера провал в памяти, но ненадолго... мне кажется. Ты знаешь, где я остановился?

– Знаю, у Веревкина покойного, ты мне сказал, ты сам мне сказал неделю назад. А я удивился, конечно.

– Ты знал Веревкина, адвоката?

– Еще бы. Знал жулика и пройдоху. Я ведь работал на него лет пять назад, переводил, когда они какую-то международную

аферу затеяли. Его контора называлась тогда Веревкинъ и Ноздревъ, с твердыми знаками на конце.

– Не сочти за полоумного, но я виделся с ним недавно... на том свете.

– Слышал эту историю, вернее читал, не помню...

Павел остолбенело смотрел на Копейкина, а тот, совсем спокойно и как бы изучающе, отвечал ему своим ироничным взглядом.

– Парвус? Ты читал мою историю, написанную Парвусом?

– Кто такой? Тот, который Ленину деньги давал на революцию?

– Юра, не прикидывайся, ты знаешь прекрасно, что это мой ник уже много лет. Ты многое, вижу, знаешь, но скрываешь. Это что, это я тебе неделю назад в беспамятстве все рассказал?

– Не волнуйся, Паша, я потом тебе все объясню. А про тот свет – не думаю, вряд ли возможно, похоже на фантастику, на литературу, хотя кто знает! Сейчас тут, да и в мире тоже, все можно и все позволено. Живые позавидуют мертвым, как пишут в газетах. И Веревкин тоже...

– Постой, я его еще раз видел вчера, Веревкина, в зеркале шкафа в его квартире, он мне что-то говорил, целую речь произнес на латыни. Вернее, он был не в зеркале, а как бы вышел из зеркала наружу.

– На латыни, это вряд ли, может знает кое-какие термины из римского права, но чтобы речь говорить – это вряд ли. А про него в зеркале еще Гоголь сказал что-то типа: как глубоко не загляни ему в душу, хоть отрази зеркалом его образ, ему не дашь никакой цены. Правда, сейчас, уверен, цена у него есть и не хилая. Но это, как говорить, не телефонный разговор.

– Юра, понимаю тебя, но мне очень нужно знать кое-какие подробности, с ним связанные. Я, понимаешь, попал в очень нелепую, даже опасную ситуацию. Помогите, мне кажется, ты что-то знаешь, чего я не знаю.

– Знаю, но я же сказал: не сейчас и не в этом людном месте. А сейчас, извини, я спешу.

Место как раз был очень малолюдным, они сидели чуть в сторонке от двух трех других посетителей. Выпили эспрессо, который здесь оказался, в отличие от обычного в Москве, совсем

даже неплохим, почти как в Италии. Взяли по круассану, вишневого сока, Юрий попросил рюмку пироговского самогона, Павел поперхнулся, понюхав запах этого модного, как сказал Копейкин, напитка, который тот добавлял в кофе. Павел в такую рань пить отказался. Было уютно, тепло, хотелось посидеть, но Павел нервничал – то, что сказал Копейкин, еще больше все запутывало. И Юрий спешил. Они расплатились, Копейкин оставил богатые чаевые, он, очевидно, был здесь завсегдаем.

– Знаешь что? Мне сейчас нужно на одно мероприятие, меня, понимаешь, обязали, поедем со мной, тебе интересно будет. А потом, может, еще поговорим. Да неважно, что в этом своем тренировочном. Поедем, если свободен.

Про «свободен» Юрий добавил, хотя был, кажется, совершенно уверен, что Павел свободен – все здесь почему-то знают всё про него – где ему быть, куда идти, с кем разговаривать, с кем идти в постель...

– Вызову машину, не замерзнешь.

В Москве светало. Ехали не очень долго, дорожный трафик был щадящим. «Наверно воскресенье», – подумал Павел неуверенно; он совершенно потерял счет дням недели, поскольку, как неожиданно выяснилось, проживал здесь уже неизвестно сколько времени.

– Меня насильно на эти дурацкие психические курсы записали, каждую неделю нужно являться под подпись. Не приходишь: предупреждение, больше трех раз не пришел без уважительно причины: принудительный привод, а потом административное задержание на десять суток, – шепотом, чтобы не слышал водитель, объяснял Юрий. Прежняя тоска навалилась на Павла, уже забылся утренний бодрый энтузиазм. «Ведь и не побегал толком».

Вошли в безликое административное здание из стекла и бетона, но с вазончиками, обрамлявшими подъезд; из вазончиков голо торчали какие-то уже умершие бывшие растения.

– Здесь нас лечат, неразоружившихся оппозиционеров, – также шепотом проговорил Юрий, пока они проходили внутрь через вахту с непременно качком охранником. Документов не спрашивал, но каждому входящему внимательно заглядывал в лицо, как будто всех уже знал лично. Павла разглядывал долгие

ше других, но тоже пропустил без слов. Вошли в помещение, похожее на красный уголок из советского прошлого: знамена ЕР, портреты вождя в разных позах и одеждах. Хотя скромная табличка при входе сообщала, что это «Рекреативно-лечебный психотерапевтический центр им. В.И.Канатчикова»

Посреди большой комнаты уже сидели в круг мужчины и женщины, в большинстве тридцатилетние или чуть постарше. Одни имели вид подавленный, а другие – откровенно сонный, скучающий. Павел и Юрий с их «за пятьдесят» казались здесь аксакалами. Во главе круга восседал на более высоком, чем у других, стуле лысый мужчина плотного сложения, одетый в клетчатую рубашку и кургузые брюки военного типа со множеством карманов. И он-то точно был всех старше и походил на пожилого сельского жителя, а вовсе не на психотерапевта.

– Ну вот и славненько! – начал он. – Здравствуйте, друзья! Собрались мы опять на нашу дружескую встречу, дружескую, повторяю, добровольную для нас, но для нашего духовного выздоровления – обязательную. Не забудьте в конце расписаться, номер паспорта и так далее, вы знаете. Решил, что и сегодня меня зовут Иван, доктор Иван, нравится мне это простое русское имя. По-простому можете ко мне обращаться. Ба! да у нас, я вижу, новый сегодня пациент, ой! что я говорю – друг! Новый друг, мы все здесь ведь друзья, как раньше в фейсбуке, кто еще помнит... Как вас будем называть, наш новый друг? Можете выбрать любое имя, мы здесь все анонимные любители собраться вместе поразмышлять, поучиться, освободиться от своих дурных привязанностей и привычек. Анонимные хотимстатьвечнотживыми, в одно слово. Так мы себя обозначаем. Выбрали имя?

– Аркадий, Кеша, – помимо своей воли, сказал Павел, припугнутой какой-то гипнотической силой, исходящей от этого сельского доктора. – Но я здесь случайно, меня позвали просто посмотреть, послушать, может потом я и сам запишусь к вам, добровольно, так сказать.

– Хорошо, Аркадий, смотрите, слушайте, мы здесь откровенны друг с другом, ничего от друзей не скрываем. Вас что, например, тревожит, почему вы еще, я вижу, держитесь за эту несчастную жизнь?

– Я не хочу умирать, – тихим голосом, как бы преодолевая невидимую преграду, проговорил Павел, – страшно.

– Замечательно, обсудим ваше заблуждение, Павел, то есть, я извиняюсь, Аркадий. И хочу, чтобы вам также ответили наши друзья, особенно те, которые уже преодолели этот страх.

Доктор был полным, совершенно лысым, его потная лысина тускло блестела: в зале слишком натоплено, душно, воняло потом и одновременно дезодорантами.

Доктор Иван по очереди опрашивал пациентов:

– Ты, Сидор, нравится мне твое имя сегодняшнее, простое, русское! Вот ты скажи, почему нужно стать мертвым? Ну, не совсем, вы же знаете, частично ведь мертвым, просто в здоровую войти фазу, так сказать, смерти.

– Не знаю, доктор, мне тоже как-то стремно, ссыкотно... Я раньше в рэп-батле лайфавал, ну, участвовал, рофлил, а мертвым, ну, то есть, вечноживым, вроде нельзя...

– Можно, Сидор, можно! Но нужно выбирать подходящие темы для ваших, как вы их там называете, батлов. Только и всего. Мы вам подарим новые песни, я думаю, что мы все вместе, друзья, в следующий раз подыщем Сидору подходящую тему. Правда, Варвара?

– Конечно, доктор, я думаю, ему трахаться надо побольше, а не на батлы время тратить.

– Это другая тема, ее тоже обсудим, друзья. С кем можно, а с кем нельзя вступать в половые контакты. А сейчас давайте, вступайте в разговор! Поднимайте наши метвотрепещущие темы, нам сейчас смертоутверждающего пафоса, как один поэт выразился, очень не хватает, друзья. Я даже подозреваю, что вы недостаточно внимательно смотрите и слушаете утренние и вечерние программы нашего телевидения. Там ведь сколько тем для обсуждения!

Доктор Иван, казалось, так разгорячился, что вдруг начал стаскивать с себя рубашку, под которой обнаружилась майка с надписью В ЕДИНСТВЕ СИЛА,

а потом снял и майку, оголив до военных штанов свое потное, уже дряблое тело и, оголившись, продолжал более спокойно:

– Вот вы, вас Николаем сегодня зовут? Скажите нам, что вы знаете про ППС? Не знаете, это плохо. А это ведь не только Перманентная Потеря Сознания, как я вам говорил на прошлом собрании, это также патриотическая, в первую очередь, потеря ненужного нам вредного сознания!

«Очень похож на Муссолини, – отметил про себя Павел, которому доводилось просматривать пропагандистские ленты эпохи итальянского фашизма, – тот тоже любил красоваться раздетым по пояс, правда, демонстрировал своим подданным торс чуть помоложе и помясистей. И это нравилось народу, особенно женщинам в возрасте. Сходство состояло еще и в том, что доктор каждую свою “фигуру речи” заканчивал вскидыванием вперед правой руки жестом римского салюта. А потом подтягивал штаны. – Вылитый дуче!»

– Я вот не очень понимаю, – вступила неожиданно в дискуссию блондинка в разодранных джинсах, – вы же в прошлый раз нам обещали рассказать, как раскрыть чакры, чтобы в полной мере насладиться вечноживым состоянием.

– Мы здесь, Алевтина – правильно? – призваны в первую очередь освободить вас от вредных ваших ментальных заблуждений, от всех ваших сомнений в неминуемой победе вечной жизни. А о чакрах поговорим, когда вы освободитесь от заблуждений. Я сейчас расскажу вам про важное открытие профессора Абакума Фырьева. У него такое есть замечательное положение о единстве и борьбе противоположностей. Замечательное! Потому что там, за порогом, мы все станем едины, потому что там мы можем вольно, совсем вольно! раствориться в массе. В массе себе подобных, сделаться ее частью. Мертвых ведь в любом социуме всегда большинство. И это – молчаливая, но единосмертная сила! Растворившись в ней – обретешь силу всей массы, станешь всесильным и вечноживым!

Доктор уже забыл о том, что терапевтический сеанс предполагал обмен мнениями, и вдохновенно продолжал свою пропагандистскую лекцию, свою атаку на умы – *brainstorming*, а предполагаемое ранее дружеское общение благополучно почило.

– Смерть ошибочно еще вызывает у некоторых так называемых либералов боязнь, даже страх, назовем его метафизиче-

ским, необъяснимым. А что на самом-то деле? Что за нее держаться, за нашу никчемную такую жизнь? Вот я цитирую тут одного философа, французского, кажется, хотя французы, мы знаем, все геи, но тут правильно он говорит, что жизнь мы ошибочно представляем себе в виде пути, а это ошибка, Никакого пути нет. Загробный мир окружает нас вокруг, а у нашей земной обители вместо окон – зеркала, и мы его не видим... А зря! Освободить надо дух... Тут он еще говорит...

Доктор загнулся, начал рыться в своих карманах, видимо, в поисках каких-то записок с цитатами, и в наступившую паузу несколько пациентов встали и бесшумно направились к выходу. Вслед за ними поспешили и Павел с Юрием, но тот слегка задержался на выходе и что-то чиркнул в амбарной книге, где надо было отмечать присутствие. Другие улизнувшие убежали не отметившись, видимо имея в запасе некоторую фору на непослушание. Последнее, что услышал Павел из канатчикового центра, было истерическое взывание доктора Ивана вслед убежавшим:

– Вы главного не поняли! Вы же свои чакры раскрыть сами не сможете, вам наша дорогая власть должна в этом помочь!..

После побега с психотерапии некоторое время шли по улице, каждый по-своему, видимо, переосмысливал произошедшее. Копейкин, иронически посмеиваясь, бормотал тихонько что-то про невозможность раскрытия чакр в такую холодную и мерзкую погоду. Павел не слушал, он вспомнил, что доктор, как бы ненароком оговорившись, назвал его настоящим именем. «Откуда он его узнал? Опять козни генерала? Копейкин тоже как-то странно говорит, и зачем он меня привел на этот клоунский дурдом?» И снова вернулась тревога из-за направленного на него из космоса всевидящего ока генерала Собакевича.

– Зря ты себя мучаешь, за тобой не следят, я чувствую, – Юрий посмотрел на небо, откуда как бы следили за Павлом объективы генерала, – видишь, ни одного спутника в небе, и даже солнышко почти выглянуло. Ты замечаешь, конечно, что мы живем в городе без солнца? Ты это после Италии особенно должен чувствовать.

Павел поднял голову – небо выглядело серовато, но появился некий проблеск не то что солнца, но какого-то мутного яичного желтка в облачной гуще. И как ни странно, слова Копейкина и невидимое отсутствие спутника с телеобъективами его слегка успокоили. Улица уже не казалась полной ходячих мертвецов – прохожие имели вид озабоченный, но вполне живой. «Может быть, подумал Павел, не все они уж так прям следуют указаниям доктора Ивана и телевизора, и держаться все-таки за эту вовсе не никчемную жизнь».

– Все не так уж плохо у тебя складывается, – продолжал Юрий, – ты ведь, мне кажется, по любому в выигрыше. У тебя, брат, козыри на руках. Козыри от покойного Веревкина. Я тебе объясню ситуацию сегодня вечером. Сделаем так, приходи ко мне в подвал, посидим, поговорим.

– Пироговский самогон?

– У меня там разное есть, чем печаль твою развеять. Помнишь мой подвал?

– Помню, найду.

Копейкин поймал такси и, попрощавшись до вечера, и укатил по своим таинственным делам. А Павел продолжал бесцельно бродить по улицам; ему вспомнилась давнишняя идея фильма, который он задумывал лет двадцать назад. Фильм об исчезающей Москве. Идея такая – идет процесс уничтожения или перестройки, реконструкции, регенерации старых домов и целых кварталов, а в это время из города постепенно исчезают жители. Город, превратившийся в огромную Москву-сити, оказывается полностью обезлюдевшим. И свет там должен быть как раз таким, как сегодня – плоским, ровно заливающим пустые улицы и площади. Как во сне-прологе «Земляничной поляны».

8. Подвал Копейкина

Подвал этот Павел знал очень хорошо по прежней своей московской жизни. С ним были связаны у него очень трогательные воспоминания. Связанные с последними месяцами жизни Марины, когда, чтобы избежать конфликтов с ее матерью, они

на пару недель поселились здесь, в подвале, великодушно предоставленном Копейкиным. Подвал он приватизировал еще в конце перестройки, в советское время это было бомбоубежище для служащих какого-то важного важного тогда издательства, расположенного сверху. Он затевал и бросал на полпути какие-то коммерческие проекты, здесь постоянно вертелись какие-то подозрительные личности, тогда еще не освободившиеся полностью от внешности советских снабженцев. Постепенно бизнес у Юры («малая оптово-товарная биржа» и последующий «импорт-экспортный склад и растаможка») отжали некие загадочные силовики северокавказской наружности. Но подвал удалось оставить за собой, этим «силовикам» он показался неподходящим. От утерянного бизнеса долго еще стояли и лежали здесь и там какие-то останки оргтехники, коробки и ящики с чем-то уже устаревшим. Часть подвала Копейкин сдавал известному художнику, подвальному соц-поп-артисту, от которого, после его неожиданного отъезда в Париж, тоже остались кое-какие артефакты, в частности – искусственная березка с вечнозелеными листиками в той части подвала, которая теперь служила баром и кухней.

В этом подвале много всего случалось в прошлые годы, они часто собирались здесь старой компанией, выпивая (всегда в меру) на тех самых ящиках. Постепенно образовался некий «приват-клуб», прекрасно вписавшийся в суровый интерьер бывшего бомбоубежища.

– Вот такой стал мой подвал, все обустроено, но посидеть не с кем теперь.

Расположились под березкой. Копейкин достал из шкафчика какую-то простую закуску в консервах, распечатал бутылку итальянской граппы. Видно было, что бывает он здесь не часто, наверно и действительно – не с кем.

– Многие уехали, как ты, другие исчезли без следа. Последним пропал Кузя.

– А что с ним?

– Он как-то, знаешь, не строился в ряд, сопротивлялся, сочинял какие-то воззвания, собирал митинги, протестовал. Ну и загремел по 159-ой УК. Мошенничество в особо крупном размере.

– Как, что ты говоришь, Кузя?! Он же всегда был гол как сокол! Сама простота, хотя, правда, слишком был свободолюбивым, это точно. Я помню, блог вел в тогдашнем интернете, еще до запрета.

– Ввязался в борьбу по-серьезному, а следствие в ответ установило, что он залез, якобы, в какую-то аферу, сдавал свою квартиру, незаконно получал огромные суммы с таджиков, и на этом погорел, пять лет уже трубит где-то на севере. На самом деле, естественно, никому ничего не сдавал, а просто гостили у него все кому не лень, и кто-то донес. Я теперь боюсь, что он живым оттуда не вернется, угробят!

– А другие?

– Кто притворился, кто сбежал, пока это проще было, а кто-то действительно подчинился... Жить-то надо, – при этих словах Юра как-то скорбно вздохнул.

– А ты? Ты как, ведь не притворяешься? Это же полный пиздец!

– Полный, правильно разумеешь! А со мной так. Я им зачем-то, видимо, нужен. Ну, посвящен в некоторые их игры. И как бы соблюдаю правила игры.

– Я тут про игру и правила уже слышал.

– Вот. Правила такие: можешь уехать, хотя это стало сейчас намного трудней, но вообще-то силой тебя удерживать никто не будет, не в эсэсэре живем, но уж если остался, то соблюдай правила, или хотя бы делай вид, не бузотерь. То есть, как бы записался в некую ложу, вступил в партию, а там – жесткий регламент. Сам этого хотел, добровольно.

Выпили по второй. Закусили шпротами.

– Да тут и правда какой-то мрак, не только солнца не хватает, – сказал Павел, которому от всего услышанного стало не по себе. И оставалось ощущение, что Копейкин не договаривает.

– У меня тут освещение искусственное, от солнца не завишу, проблемы только с мобильной связью – пудовые стены линию сюда не пропускают. Зато и с прослушкой, надеюсь, здесь должно быть трудно, хотя сейчас у них методы усовершенствовались, но лучше не заикливаться на таких мыслях. А интернет нормальный вообще нам теперь нигде недоступен – его напрочь запретили, как ты уже успел заметить, установили заглушки у

священных рубежей державы. Теперь для всех – свой российский нет, независимый от мирового. Называется «Русский Невод». Их запреты при желании можно обойти, конечно, всякими там «зеркалами», но это уже – статья! По-моему, специально некоторые лазейки для либералов оставили, чтобы так их было за что судить.

– А в какие, Юра, правила ты, говоришь, посвящен? Почему тебе удастся как-то с ними ужиться, даже в чем-то участвовать, ты сам сказал? Извини, но мне необходимо разобраться, я тоже попал, знаешь, в как кур в ощиц. И в ту же историю с Веревкиным, про которого ты что-то знаешь, верно?

– Тут не только Веревкин. Они что-то затеяли, какую-то очень крупную аферу. Но участвовать в ней могут только избранные – наиболее близко допущенные к телу самого. И началась свара, базар. А средства-то у них самые продвинутые. И усилилось это смертобесие, этот идеологический по-новому повернутый маразм. Потому что нефтегаза и, соответственно, бабла для дележа стало меньше, а желающих поучаствовать непозволительно много, вертикаль зашаталась.

– Ну уж прям, мне не кажется, даже наоборот...

– Не наоборот, а по-другому, чем тебе кажется. Вертикаль пресловутая – это ведь не вертикаль на самом деле, а некая пирамида конусом кверху - там где самый главный. Хотя, конечно, он только для видимости, для зомбоящика там один. Там их группа – только двойников самого минимум два или три, потом еще ребята в доле, многих никто даже и не знает по имени, в лицо ни разу не видели, многие здесь вообще не живут и не были тут ни разу.

– Мировое правительство?

– Глупости! У нас все свое, хотя и иностранцы, конечно, участвуют. Там с субординацией очень строго, четко выстроено по уровням приближения к вершине. Тут ведь такая сложилась экономическая ситуация, что все зависит от углеводородов и еще чуточка металлов и прочего сырья на экспорт. А народу слишком много, на кого надо деньги тратить – зарплаты, пенсии – расход слишком большой. Чем меньше станет людей, живых людей, тем больший доход на каждого в верхней части пирамиды.

– Ладно, понял. Давай по последней, что-то меня родной напиток развозит. Объясни мне, что это ты говорил сегодня, что я, вроде, как за бетонной стеной, что меня не тронут, и что, якобы, у меня какие-то козыри на руках?

– Веревкин. Все дело в нем. Хотя его как бы и нет, почил в бозе. Но что-то оставил такое, что им очень нужно и интересно.

– Я встречался с его привидением, я тебе уже утром говорил, на даче в Кратово, хотя был в то время вроде бы в Италии, у себя дома. И оттуда прилетел в Москву на самолете-фантоме, не в смысле истребитель, а в смысле – привидение. И опять встречался с ним вчера, кажется вчера, когда он из зеркала вышел. Думаешь, я совсем сошел с ума?

– Думаю, что квартира эта инфицирована призраками, хорошо бы туда гостбастеров позвать для дезинфекции, но таких служб вроде у нас теперь нет. На худой конец батюшку – освятить помещение, изгнать злых духов. Давай по последней!

– Давай, что еще делать русскому человеку под родной березкой, как ни пить фриуланскую грапу!

Павел понял, что сегодня добиться от Копейкина каких-то внятных признаний не удастся, и отложил это дело до следующего раза, благо теперь у него был Юрин номер, единственный в Москве номер, по которому была надежда услышать чей-то голос.

Копейкин остался ночевать в подвале. Выходя на ночную уже улицу, Павел слышал доносящееся откуда-то многоголосое бляение. Как будто где-то недалеко проходило огромное стадо баранов или коз. «Слуховая галлюцинация? Или из телевизора? – подумал вяло, ему сейчас было вовсе безразлично, откуда и от кого исходит бляение. – Это еще не самое...» Что не самое, додумывать не хотелось, и он спустился в метро.

Ночью снилась гигантская египетская пирамида, стоящая посреди березовой рощи. У подножья пирамиды копошились похожие на муравьев маленькие человечки. Этот сон своим поцелуем оборвала Аделаида, забравшаяся к нему под одеяло.

– Привет, извини, я не сказала, у меня есть ключ от этой квартиры.

9. Загадочная Мария

– Привидения проходят сквозь стены куда хотят без всяких ключей, они им без надобности.

Произнося это, Павел, тем не менее, притянул привидение к себе, ожидая опять провалиться в ту черную кляксу, где побывал с ней в прошлый раз. И привидение не сопротивлялось, а наоборот, нежно к нему прижалось.

– Горишь глупости, но мне с тобой приятно.

– Может быть ты не привидение, а ведьма? Или мне только снишься.

– Ну, пускай будет наш общий сон. Только у тебя во сне случилась эрекция, кого ты там увидел?

– Тебя!

Провала в черноту в этот раз не случилось, все происходило здесь и сейчас, очень физически – тот самый coitus, который пытался запретить ему на латыни Вербкин из зеркала.

– Почему Аделаида?

– Я в прошлый раз решил, что тебя так зовут.

– Странное имя, мне не нравится.

– Послушай, мне один знакомый вчера сказал, что эта квартира заражена, подожди, нет, он сказал – инфицирована фантазмами. Я понимаю теперь, что ты не привидение, но кто ты? Только правду говори!

– Кому ты рассказал про эту квартиру? Это не безопасно. И про меня рассказал?

– Нет, про тебя не рассказал. Тем более не знал, как тебя назвать.

– Я сегодня могу спать здесь и остаться до завтрака, хотя у тебя там ничего вкусенького нет, я посмотрела, и кофе какой-то растворимый.

– Я жду, как?

– Ладно, меня зовут Мария, можно – Маша, но не Машенька, будь добр. Не Ада, не Долорес, не Лолита. И давай спать, у меня завтра работа.

Утром они вышли вместе, держась за руки, как влюбленная пара, которая провела вместе счастливую ночь. Павел, правда,

на вид был несколько великоват возрастом для девушки, которая вполне могла быть его дочерью, но отметить это несоответствие во дворе и на пустынной улице было некому. Там по-прежнему царил холод, но было не так промозгло, как несколько (сколько?) дней назад, когда с неба сыпало ледяной крупой, и когда Маша пришла к нему в первый раз.

Павел повел ее в тот самый бар в парке недалеко от Яузы, где они вчера (действительно, вчера?) завтракали с Копейкиным. Взяли тоже самое: эспрессо, круассаны, сок. Маша попросила еще бриошь с абрикосовым вареньем. Некоторое время завтракали молча. Павел продолжал наблюдать с удивлением, как девушка ела и пила, как будто все-таки не до конца верил, несмотря на проведенную вместе ночь, что это не привидение, что она тоже, как любое земное существо, нуждается в пище. Магия очарования слегка поколебалось, когда Маша, прервав завтрак, сказала, что должна отлучиться на секунду в туалет.

Когда она вернулась, Павел решил и сказал:

– Я видел Веревкина.

– Когда?

– Когда ты была у меня в прошлый раз. Он появился, пока ты была в душе. Из зеркала.

– Паша, ты сходишь с ума! Ты напридумывал каких-то фантасмагорий. Аделаида, привидения, ты не в том мире живешь, какой может быть Веревкин? Он умер!

– Ты уверена, Маша? Я не сумасшедший, поверь, но со мной что-то происходит с тех пор, как я согласился сюда приехать... По поручению именно Веревкина. Он мне написал письмо, хотя был уже, мне кажется, кремирован... И мы встретились у него на даче, в Кратово.

Маша смотрела на него с нескрываемым испугом.

– Подожди, не говори ничего, пойдем отсюда, я тебе кое-что скажу, но не здесь.

– Я был тут вчера утром с одним приятелем, он тоже, кстати, Веревкина знал. И он тоже, хотя что-то знает, ничего мне здесь не захотел сказать.

– Не важно, пошли в парк. Что-нибудь я тебе смогу сообщить.

В парке, на пустынной ранним утром аллее, они сели на ла-

вочку и Маша очень тихо, почти шепотом начала говорить:

– Слушай меня внимательно. Я понимаю твое состояние, это на грани помешательства, но уж такие у них методы. С тобой работают. Сначала это был генерал, который представлялся, ты мне по-моему говорил, Собакевичем. Это он выдумал разыгрывать с тобой Гоголя. На самом деле это генерал Сугробов. Теперь его убрали, он руководил той группой, которая игралась во всю эту психо-эзотерику и проиграла. Все их паранормальные методы не помогли, что с ним теперь – не знаю, но он вне игры. Так, ты слушаешь?

– Тебя не Машей зовут, ты Мата Хари. Не страшно тебе?

– Это тебе должно быть страшно, но я постараюсь что-нибудь...

Из другого конца аллеи к ним приближались двое мужчин одного роста, оба в одинаковых серых плащах и недавно вошедших в моду магриттовских котелках. Маша замолчала на полуслове. «Вот они, служители невидимого фронта!» – подумал Павел, которого охватила обычная уже здесь тоска и унылое безразличие. Мужчины, однако, прошли мимо них не останавливаясь, о чем-то оживленно беседуя. «Маскируются, но меня не проведешь!»

– Постараюсь тебе помочь, что в моих силах, – продолжила Маша, Было видно, что и она при их появлении насторожилась.

– И кого этот Сугробов вместо себя оставил по мою душу? Мне он говорил, что со мной должен встретиться кто-то еще из «Мертвых душ», вроде Манилов, который по культуре. Помню, про него пошутил, мол, искусственный интеллект.

– Он не Манилов, конечно, и не по культуре, а по деньгам. И по ним он здесь самый главный, главнее даже виолончелиста. Его зовут Вовин Петр Михайлович. Если он будет тобой заниматься, то ты попал уже на самый верх, зашел уже в прихожую... Стоишь, извини, на краешке бездны.

Она замолчала и как-то отстраненно оглядела окружающие деревья, пустынную аллею, как будто выискивала что-то, за что можно зацепиться взглядом, чтобы в эту бездну не упасть. У Павла тоже кружилась голова, мутило. «Что-то подсыпали в сок. Сок был с горечью, послевкусие горького миндаля!». Между тем Маша уже вернулась мыслями на землю, приняла обычной своей

строго деловой вид молодой банковской служащей. На ней сегодня, кстати, не было ее сверхкороткой юбочки, одета она была в темно-синий брючный костюм, а поверх – в теплую пуховую куртку.

– Продолжим. Послушай, я тебе советую пока не рыпаться. Улететь в твою Италию они тебе не дадут. Все дело, как я понимаю, в Веревкине.

– Опять он! Умер же, нет его! Да, он дал мне какие-то указания, пароли-явки, что-то кому-то передать, тебя встретить! Но все ведь провалилось, все. Ну, кроме тебя, прости. Ты мне сказала в метро цифры, что мне с ними делать, это какой-то шифр?

– Да, банковский шифр одного счета в Швейцарии, но он, похожему, тебе уже не пригодится. Но ты его держи в памяти на всякий случай.

– Мне не до счета, мне надо отсюда выбираться, Маша, срочно, я не хочу уже никакого счета, я лучше с голода сдохну. Но в Италии!

– Успокойся. Теперь ничего пока сделать нельзя, нужно ждать. Если с тобой решил встретиться этот Манилов-Вовин, то этого не избежать. Потом посмотрим. Вот возьми записку, спрячь ее получше, прочитаешь потом дома, запишись при этом в туалете. Шучу.

– Что, опять какой-нибудь код или счет? Они что, извини, через твой банк, через тебя деньги в офшоры отправляют?

– Молчи, дурачок! Этого тебе лучше не знать, живее будешь. Ну ладно, я спешу на работу, ты посиди здесь, подожди, за мной не ходи. В записочке сказано, как тебе отсюда выбраться в случае чего. Там мой номер, но звони только в самом крайнем случае и желательно с чужого какого-нибудь телефона. Все. Пока, милый.

10. Пси-Фактор

Трамвай № 17 плавно повернул на улицу, название которой сообщил радостный голос трамвайного робота из репродуктора: “Следующая остановка улица Менжинского 38”. На время объявления прекратилась обязательная теперь на транспорте ра-

диотрансляция про зарубежных и внутренних (более опасных) врагов народа.

«Вот еще один герой победившей аллегии, – словами по-тустороннего Веревкина подумал Павел, – убийца времен все-побеждающего террора. И методы его хоть и обновились, но опять живее всех живых!»

Переехали Язу, но посмотреть, продолжается ли на ней ин-сталляция мусора, Павел не сумел, так как подсевший на сосед-нее сиденье мужчина, навалившись на него, сказал негромко:

– Да, совершенно верно вы заметили – преобразилась Москва, стала краше! Даже на окраинах, хотя что я говорю, ка-кая ж это окраина? Почти центр!

Павел попытался отодвинуться от непрошеного собеседника, но почувствовал, что тот крепко схватил его за локоть.

– Я ничего такого не говорил, чего вам нужно?!

– А мы вот сейчас выйдем на следующей остановке и там все разьясним.

– Что вы разьясните, мне не нужно выходить, я дальше еду, до Медведкова!

– А все-таки выйдем, – и мужчина, все крепче сжимая пред-плечье Павла, поднял его и повел в выходу. И голосом, и своей комплекцией, и всем своим видом он давал понять, что сопро-тивление бесполезно. На улице их поджидал уже распахнутой дверью черный БМВ с сигнальным ведерком на крыше.

«17 считается в Италии цифрой, которая приносит несчастье, – подумал обреченно Павел, которого усаживали на заднее си-дение, – зря я в этот трамвай сел». Справа и слева его мягко придавили двое молодых спортивных правнуков Менжинского. Попутчик из трамвая разместился рядом с водителем. «А я, ока-зывается, действительно важная птица – трое сопровождающих плюс водитель, автомобиль тоже крутой, тонированные стекла».

– Вы всегда на этой именно улице людей забираете, название нравится?

Но молодые чекисты непроницаемо молчали. Видимо, они и знать не знали, кто такой Менжинский.

– Поехали! – скомандовал Павел. – Выезжаем на встречу!

И только тут молчаливые правнуки довольно хмыкнули.

... в действительности все оказалось совсем не так, как на фреске. Опишу подробнее. В назначенный инструкцией день мы должны были сесть в одну из городских электричек, хотя я предлагал пренебречь инструкцией и поехать на такси. Но он не согласился, и мы еле залезли в вагон в толпе атаковавших поезд местных жителей, так как поезд появился на станции с большим опозданием. Эта электричка называется «Кумана», по имени местной прорицательницы, жившей в той же местности, куда мы должны были ехать. Все вагоны снаружи разрисованы безобразными граффити и похабными надписями на местном диалекте. Приехали на станцию Лукрино, расположенную на самом берегу Средиземного моря (он конечно не преминул меня поправить, сказав, что море здесь называется Тирренским). Далее, следуя инструкции, мы отправились к озеру Аверно. Наш путь пролегал по живописной узкой дорожке, среди густых кустов и деревьев неизвестных мне пород средиземноморской флоры. Запомнился дуплистый дряхлый ствол вроде бы ивы, но могу и ошибиться. Достигли берега живописного озера – цели нашего путешествия. Ничего в его внешнем виде не говорило о том, что это озеро является, как утверждают легенды и местные поверья, входом в Аид (ад, по-нашему). У нас было еще около получаса до встречи с нашим будущим сопровождающим по имени, как было указано в инструкции, Харон. Это совершенно мирное место почему-то в той же инструкции представлялось в каком-то мистически непривлекательном виде. По моему предложению решили в оставшееся до встречи время посетить расположенную там же на берегу пещеру пророчицы, чтобы попросить ее о содействии в предстоящих нам действиях. Но, как сказал нам безумный на вид старичок, сидящий у входа в пещеру, Севиллы не было дома, она вышла и до вечера не вернется. При этом попросил пять евро за информацию, притом что говорил на диалекте и понять его можно было с трудом.

Наконец, нужный нам человек прибыл. Этот якобы Харон на самом деле оказался пожилым местным жителем по имени Луджи, а по кличке «Джино-Лодочник» (Gino-barcaiolo). С Хароном на фреске общим у него были только растопорченные, как у того, седые усы. Одет тоже был не в какую-то

хламиду, лишь слегка прикрывающую чресла, а во вполне обычную, даже с налетом на провинциальный шик одежду. Правда был босиком. Но вообще-то человек доброжелательный и очень разговорчивый. В ответ на вопрос о его странной работе (перевозке душ), только рассмеялся и сказал, что вокруг этого озера нагромодили массу всяких легенд и выдумок, а на самом деле ничего страшного и загробного тут нет. Да, он перевозит на тот берег местных жителей, желающих навестить своих покойных родственников, а там, на другой стороне, они куда-то пропадают (он в тот момент отворачивается, чтобы не видеть – так заведено), назад же Луиджи всегда возвращается один. – А жители оттуда что, больше не возвращаются? – Нет, почему же, возвращаются, я их каждый год почти возжу, но возвращаются, стало быть, пешком по берегу. – А меня перевезешь? – А чего не перевезти, я 10 евро беру. Я увидел, что скрытно от меня, он подал лодочнику кроме денег также ветку какого-то растения с пожелтевшими листьями.

Сели в лодку, путешествие заняло минут пятнадцать, на середине озера, правда, стало немножко страшно – лодку начало сильно раскачивать, хотя ветра не было совсем. И вода вокруг стала какой-то чересчур черной, поистине загробной. И наш лодочник вдруг замолчал и сделался строгим и печальным. Потом пронесло, доплыли благополучно до другого берега, который, по-правде, ничем особым не отличался. Вам туда, – сказал Луиджи неожиданно тоном приказа и указал жестом в сторону узкой малозаметной тропинки. И отвернулся, как ему и положено. Действовал ли он по заранее договоренному сговору с Веревкиным, мне неизвестно, но подозрение на это у меня есть. По тропинке прошли метров пятьдесят до забора с проделанной для нас щелью, ведущий на тот (tod) свет. Дальше вы уже знаете. Как установить контакт с лодочником-перевозчиком, сказать не могу, потому что нам все заранее подготовил Веревкин, но хочу еще раз подтвердить, что готов и в дальнейшем сотрудничать с компетентными органами.

(Парвус, ноябрь, Москва)

Пока Павла вели по коридору старинного, начала XX века особняка в арбатских переулках, он вспомнил, что когда-то, придумывая фильм об исчезновении старой Москвы, назвал эту местность Арбатскими Эмиратами. Теперь он пытался вообразить, зачем его сюда привезли и что его ждет в этом таинственном особняке.

Все стало более понятно, когда они остановились перед скромной дверью, на которой наспех был приклеен листок бумаги с надписью: «Старший менеджер перспективных программ Манилов Н.Н.»

Дверь открылась, и перед Павлом предстал человек совершенно не похожий на персонажа, описанного Гоголем. Это был высокий подтянутый мужчина средних лет в безупречном модном костюме, модно подстриженный, при галстук от Маринелла, и с непроницаемым лицом чиновника очень высокого положения.

– Добрый день, проходите.

Скромная комната могла быть чем угодно, но только не кабинетом важнейшего функционера, главного по деньгам. Окно плотно занавешено чуть ли не простыней, посередине стоял какой-то невнятный письменный стол и два стула, будто только что внесенные сюда и здесь забытые. И главный видимо понял, что кабинет не производит должного впечатления на посетителя, тем более что посетитель был привезен сюда под серьезной охраной. Поэтому начал с извинений:

– Вы уж не обессудьте, мне тут помощники это место организовали второпях, срочно нужно было встретиться с вами. Не обращайтесь на обстановку внимания. И еще. Тут по сценарию нашего друга Сугрובה, он вам представился Собакевичем, я должен был с вами разыграть какую-то глупую сценку в дверях, как у Гоголя. Глупую не у Гоголя, конечно, но здесь было бы глупо. Так. Давайте-ка сразу к делу.

– Давайте. Только скажите мне сразу – что это за дело? И скажите еще, вы Манилов или...?

– Или. А вам Веревкин не сказал разве? Вы что, не в курсе?

– Он мне говорил что-то, но это было видимо в какой-то галлюцинации, и сейчас я уже и не знаю, что было ему нужно на самом деле. Хорошо бы, чтобы вы меня в ваше дело не посвя-

щали, а отпустили бы с миром. Я б уехал к себе в Италию и обо всем бы забыл, клянусь.

– Уедете, не беспокойтесь. Но по поводу дела – тут уж придется кое-чем нам, нашей родине, постараться помочь. Вы ведь чисто русский, правда? Российский гражданин и патриот?

– У меня два гражданства, вы знаете.

– Это не важно, у нас теперь у многих так, но мы остаемся россиянами прежде всего. И потом, это не мы вас выбрали, это был какой-то странный каприз адвоката Веревкина, вашего знакомого. Зачем он вас втянул в это дело, не знаю, но теперь уж пути назад нет. Как нет с нами и самого адвоката, большая для нас утрата.

– Да, но я все-таки не понимаю, здесь какая-то мистика, я никоим образом... Я получил письмо, потом оказался на даче у покойного, потом вдруг в Мюнхене, оттуда в Москве. Он дал мне какое-то странное поручение, я должен был вроде с кем-то встретиться, что-то взять у одного и передать другому. Но никакой не шпионаж, я вас уверяю, только какие-то деловые контакты, финансы, инвестиции, фьючерсы, хотя я в этом ни бельмеса...

– Про шпионаж вам бы лучше с Сугрбовым разбираться, это по его ведомству, но и его с нами уже нет. Скоропостижно, много работы, не выдержало сердце, а какой был замечательный человек, вы ведь как раз с ним встретились, когда он из Мюнхена летел, из командировки на Октоберфест. Это ведь его технические приспособления, высокая паранормальная технология – путешествия на тот свет, раздвоение личности, распыление сознания в параллельной реальности, другие всякие вещицы. Но с Веревкиным что-то сорвалось, упустил он его, недосмотрел. Или пси-фактор не так сработал. Оттого и появились вы в нашем деле, по-глупому, прямо скажем.

– Но я встречался, ну, то есть, как бы встречался с Веревкиным и позже, здесь уже, в его квартире, он ко мне явился...

– И говорил на латыни, которой не знает. *Tenebris inferis* – правильно? Да, я довольно хорошо говорю на некоторых древних языках. Но с греческим пока проблемы, мало практики. Надеюсь наверстать, да и сыновья помогут. Они у меня почти древние греки по образованию.

– Фемистоклос и Алкид?

– Нет, их по-другому зовут, они сейчас на Кипре, там у меня отели, целая сеть. Может, когда дело закончим, там и встретимся, от вас ведь близко. Видите, как я с вами дружески откровенничаю, прямо душу расстегиваю нараспашку.

При этом лже-Манилов всматривался в Павла далеко не по-дружески, а очень строго и как-то въедливо.

– Так все-таки, в чем суть операции, и что я должен сделать?

– Я вам скажу, конечно... – непродолжительное молчание, пытливый буравящий взгляд, проникающий прямо внутрь черепной коробки, – вы ведь все равно узнаете, когда будете подписывать, но учтите, что это не просто секрет, не просто государственная тайна, но такая тайна, что за полслова... вы сами понимаете. Дайте-ка мне ваш телефон. Не номер – весь телефон.

Он взял телефон у Павла и не только выключил его, но, открыв крышку, вынул батарею и все сложил в маленький железный сейф.

– Верну потом, не беспокойтесь. Вы должны подписать важный документ в Люксембурге. Будете подписывать – вас заставят прочитать, там две копии: по-русски и по-английски. Английский знаете? Можете и не знать, нам англоязычные переводили – с этим полный порядок.

– А что за документы? Может что-то незаконное, объявят в международный розыск, Интерпол. Почему вы сами их не подпишите, если такие важные.

– Я невъездной пока, санкции, это временно, но время не терпит. Речь идет о залоге, о очень большом, как бы это вам объяснить... Наша сторона, в вашем лице ответственного залогодателя, закладывает в одном из самых солидных банков мира, а при нем еще мощный инвестиционный фонд... – пауза, во время которой лазерный буравчик орудовал в мыслях подопытного, а буровой мастер внимательно изучал результаты. – Так вот, вы подписываете документы, по которым закладывается очень значительная собственность, чрезвычайно ценная. Вас Веревкин, он занимался с самого начала всей операцией, назначил ответственным, и вы должны в этой роли выступить. Потом, конечно, мы все перепишем на других, очень ответственных

людей. Очень! Вы догадываетесь, о ком я?

Он посмотрел куда-то в потолок и, одновременно, так выразительно повел бровями вправо, что Павлу сразу стало ясно в какую сторону от арбатских переулков должны устремиться их внутренние взоры.

– А что, все-таки, мы с вами и те..., – Павел тоже попробовал совершить бровями столь же выразительное движение вверх и вправо, – закладываем: нефть, газ, железную руду?

– Поскольку вы все равно прочитаете в документе, и чтобы вы там, подписывая, не всполошились, я вам скажу. Но повторяю – тайна! Как любил говорить наш друг: вырвем язык, выколем глаза, утопим в параше и отправим в огород на удобрение! Операция такая... Это как бы ипотека... мы закладываем все государство, Российскую Федерацию.

– Что!? – сказать, что у Павла отвалилась челюсть и выкатились из орбит глаза, значило бы преуменьшить эффект от услышанного. – Россию? В каком смысле? землю? людей?

– Всё, землю тоже, всю территорию со всем, что на ней и внутри нее есть, ну и население, конечно. Только без воплей возмущения, пожалуйста. Это трудно объяснить. Были бы вы экономистом или даже просто каким-нибудь портфельным инвестором, я бы вам смог объяснить, но вы сами говорите, что ни бельмеса в этих делах. Это вынужденная мера, деньги у государства кончились, нефть обвалилась, Exxon-Mobil нас предали, в долг больше не дают, олигархи попрятались от санкций как крысы, кругом враги, препоны, стены, колючка. Нет выхода. Это единственная возможность. После того как операция завершится успехом, а мы в этом не сомневаемся, получите соответствующее вознаграждение.

– Как Веревкину и Собакевичу, переход в вечнoживые? Просто живым из этой истории меня не выпустите? Такое у меня ощущение.

– Ну зачем же так сгущать. Тут все надежно. Даже сам хотел с вами встретиться, напутствовать, но сейчас не может. Еще одну тайну строго конфиденциально вам открою: он сейчас молится у себя в монастыре за успех нашего мероприятия, как только вернется, так мы вас сразу же и отправим. А сделаете все как надо – будете жить и жить припеваючи. И заезжайте ко мне на Кипр,

посидим, поговорим про итальянское кино. Знаете, мне их новая волна начала двадцатых очень даже приглянулась: Гарроне, Сираво, неодокументалисты, анимация.

– Я не буду ничего подписывать. Это какой-то капкан.

– Да не стройте вы из себя героя-панфиловца, ей-Богу! Сами же согласились к Веревкину поехать, мы знаем, сколько у вас на счету – копейки. Купите себе виллу на Сардинии, заживете наконец! Роман клеветнический про нас напишите.

Говоря это, он не переставал пристально буравить Павла взглядом, теперь больше похожим на лазерный скальпель.

– А теперь идите спокойно домой, вас проводят мои ребята, они добрые, отзывчивые. Вы, главное, не шалите теперь, не брыкайтесь, и все будет о'кэй! У нас ведь и киберзащита, и слежение, и пси-фактор не хуже, чем у Сугрובה. Спокойно ждите, ничего не предпринимайте, с другом вашим, смутьяном Копейкиным, не встречайтесь, гуляйте больше, можете в Мавзолей сходить развеяться. И помните, что я вам сказал про разглашение – молчок! И дышите здоровым московским воздухом – он теперь как никогда бодрит! За вами приедут, не могу сказать когда, может через пару дней, может через три. Прежде чем открыть, спросите пароль, те цифры, что вам девушка у стахановца в метро назвала, помните цифры?

Домой его везли те же трое. Опять они всю дорогу молчали, а Павел потерянно шептал про себя: славная осень здоровый ядреный воздух усталые силы бодрит лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит.

11. Побег

Ночь прошла на удивление спокойно, хотя время от времени, просыпаясь, Павел слышал из молчащего телевизора зловеющий шорох и бульканье. Но утром он, полный решимости встать и что-то предпринять, что-то очень важное, что-то такое, что поможет ему выпутаться из этой гнетущей неопределенности, из этой смертельно опасной ситуации... И оставался лежать, ничего не предпринимая, практически не двигаясь до тех пор, пока не вынужден был уже где-то в двенадцатом часу встать и пойти в

уборную. «Позвоню Копейкину!» Потом вспомнил, что Манилов-Вовин не советовал с ним общаться, и впал в ступор еще где-то на час. Наконец собрался внутренне и внешне, то есть – умылся, побрился, оделся, выпил жидкость под названием растворимый кофе и вышел на улицу. «Позвоню Копейкину, все равно позвоню! – соображал он беспорядочно, – Маше звонить не буду, она просила, не стоит ее подводить пока, но Копейкину позвоню из автомата!» Автоматов на улице не было, хотя он искал больше часа, быстрым шагом двигаясь наугад по незнакомым улицам. Шел как безумный, что-то бормоча себе под нос, похожий, как сам временами понимал, на типичного героя Достоевского. Вдруг увидел у входа в метро телефонную будку, но чтобы позвонить, требовались какие-то неизвестные ему кредитные карты. «По ним все равно бы меня выследили!» – его мысли уже не могли выбраться из некой мыслительной узкоколейки – и катили судорожно по рельсам паранойи. Решил остановиться, зайти в оказавшийся перед ним полуподвальный магазинчик, попросить у продавца позвонить по его телефону, объяснив, что случилось что-то... Что случилось, он не придумал, просто вошел, купил коробку дорогих шоколадных конфет и бутылку армянского коньяка и попросил позвонить. Вежливый владелец магазина, армянин, дал ему свой мобильник без объяснений.

Копейкин не отвечал очень долго, а когда ответил, то вместо обычного «Алэ», спросил раздраженно: «Кто там зудит?» – «Это я, Павел, звоню с чужого телефона, мой сломался, коротко: нам нужно встретиться, срочно!» – «Слушай, Паша, я сейчас занят, не могу, ты меня знаешь, но ей-Богу на этой неделе, правда, ну позарез дел, просто никак, Паша. Давай-ка на следующей неделе, ты мне позвонишь где-нибудь в среду или четверг, и мы обязательно встретимся, даже разговаривать сейчас не могу, занят, извини, пока, звони!»

Ночью, действительно запершись в туалете, он еще раз внимательно перечитал записку Маши. Это был план побега. Совершенно, конечно, безумный, но не более, чем все то, что происходило с ним до сих пор. Следовало каким-то образом добраться к семи утра до станции Болшево Ярославской железной

дороги, Щелковское направление.

Поймать в шесть утра такси оказалось очень не просто. «Теперь на улицах такси не ловят, особенно в такую рань, – думал он, идя по темной и пустой улице в сторону, где почему-то надеялся найти стоянку такси. – Теперь ведь такси, или уберов, или просто «машины» заказывают по телефону или в сети. Но должен же кто-то еще оставаться старорежимный, частник какой-нибудь, левый бомбила!».

Такси с традиционными шашечками возникло как привидение, одиноко приткнувшись к тротуару стояла старенькая тойота, внутри было темно, но светился какой-то тлеющий огонек. Водитель курил, и когда Павел постучал в его окошко, кажется не на шутку перепугался.

– Не ждете пассажира? – спросил Павел, когда тот приспустил стекло.

– Отчего же не жду, залезайте! Куда нужно?

– В Болшево нужно, срочно.

– В Болшево? Это где ж такое?

– По Ярославке, километров по-моему 20, повезешь?

– Ну ты даешь, шеф, ночь же еще почти, темень, сколько дашь?

– А сколько по счетчику будет?

– Ну ты даешь! Счетчик в такую рань не включается.

– Пятьдесят. Евро.

– Садись. Но деньги вперед покажь!

В стареньком такси было душно, накурено, пахло плохим бензином. Тойота была, видно, еще прошлого века. Бормотало радио, но звучала не обычная передача про врагов, а какая-то музыка, вернее рэп детских голосов. Понять что дети пели-говорили, было трудно, но время от времени вспыхивал один тоненький голосок с припевом: «Дядя Вовин, мы с тобой!»

– А выключить музыку нельзя? – попробовал Павел. – А то я перебрал вчера, голова и без песен трещит.

– А чего нельзя, можно, но тогда я закурую, позволите?

Какова связь между тишиной и курением, Павел не понял, но все равно остался доволен. Лучше дышать дымом, чем слушать этот детский музыкальный гиньоль.

Выехали довольно быстро на Ярославку, из темноты возникали по сторонам шоссе громоздкие строения бесконечных торговых центров. Павел смотрел на все это своими в тот момент недумающими глазами, так как в голове у него угнездилась простая, но жуткая мысль: «я ведь уже не помню, что со мной происходило всего месяц назад, всего пару недель назад – не помню где я был, что делал, с кем разговаривал и о чем. То есть, есть кто-то другой, кем-то мне навязанный этим проклятым пси-фактором, и он придумывает за меня прошлое. И записывает, и возможно сообщает им. Это главное в здешнем инкубаторе зомби – лиши живое существо памяти, внедри ему в мозги нужный тебе алгоритм, ну или что-то там еще – и нет живого человека, а есть некий man out of time – человек вне времени, вечноживой зомби. Они с тобой работают, сказала Маша, и правда – исправно работают!»

Павел вынул из кармана рубашки спрятанный между двумя паспортами, русским и итальянским, записку с подробным описанием побега: «...выйди из поезда на станции Фрязинотоварная, спросишь как пройти к лодочной станции. Не опоздай, тебя будет ждать лодочник. Он отвезет на другой берег, там пойдешь лесом мимо военного санатория, увидишь дыру в заборе – тебе туда. Дальше ты знаешь: сгоревшая дача, дачный сортир. Веревкина там не будет. Счастливого пути. Может, даст Бог, еще встретимся где-нибудь в Италии».

«И про сгоревшую дачу, и про дачный сортир – все это именно в последние дни у меня пропало из памяти, но откуда она узнала? Я ей не рассказывал, тоже прочитала у Парвуса?»

Павел заснул, вернее погрузился какую-то вязкую дремоту и вынырнул из нее, только когда такси въехало на площадь перед станцией Болшево.

– Приехали дядя, просыпайся, накинь на кофей, мне еще назад в Москву ехать, засну по дороге.

Павел вышел из прокуренного такси на свежий воздух и огляделся. В сером предутреннем сумраке едва высмотрел нужную ему отдельно расположенную платформу на Фрязино. В плане побега («замыслила Маша мой побег!») было сказано, что нужно сесть в электричку, вернее – дизельный поезд, который

отправляется в 7:15. Время еще было, но он решил не рисковать и, купив билет в автомате, забрался в вагон. Там уже сидело порядочно людей и все спали. «Они спят, – зачем-то начал убеждать себя Павел, – спят, рано еще, едут на работу в утреннюю смену, досыпают в поезде, это не зомби, это живые спящие люди». В поезде, не жалея спящих, уже работала обязательная трансляция. В этот раз о врагах говорили с каким-то особым жаром. В частности, язвительно уничтожали тяжелым казарменным юмором журналистку из зарубежного русскоязычного СМИ по фамилии то ли Сметова, то ли Свитова, качество аудио оставляло желать. На спящих, однако, эти инвективы не производили никакого впечатления, пассажиры спали. Также не обращали внимания на словесный поток и вновь пребывающие, все они, как только занимали свободные места, немедленно погружались в сон. Стоя спали и те, кому сидячих мест не досталось. Было несколько молодых людей в v-шлемах, но про них трудно было сказать, спят ли они здесь, или в своем виртуальном мире.

Поезд тронулся. Трансляция продолжалась, но слышал ее очевидно один только Павел. Видимо по этой причине разговор про вражескую журналистку вдруг оборвался и продолжился голосом Вовина, громким и отчетливым (гораздо чище предыдущей трансляции): «Все-то вы рыпаетесь, Павел, непоседа! Сказал же – ждите, мы сами вас отвезем куда следует, зачем вы сорвались, на такси деньги тратите. А то бы я вас проводил, поговорили бы за жизнь и за смерть, ведь в прошлый раз так и не поговорили как следует, все о делах...» Тут его речь прервалась оглушительным стуком колес, поезд въехал на мост. Когда мост проехали, голос Вовина вновь стал слышен отчетливо: «...на этом свете страшно по определению, да, это вы верно заметили, страшно жить если ты не в наших рядах. А еще страшнее не знать, какая тебя ждет смерть – настоящая, всерьез, или какая-нибудь такая.. (опять шум колес) ...или распыление в параллельном пространстве, где каждая частичка твоего сознания будет страдать, как не страдал ни один из грешников у Данте в его аду. Я знаю о чем говорю, потому что мы с нашим новым пси-фактор аппаратом и там уже побывали, перенимаем методы, работаем сейчас с графом Уголино. Не верите? А вот уви-

димся потом где-нибудь в Равенне, там я вам документально продемонстрирую наши методы. Но нужны средства, Павел, деньги нам нужны на все наши задумки (шум колес, неразборчиво) ... должны нам помочь. Не сопротивляйтесь, хуже...»

Его речь прервалась, поезд остановился на станции Ивантевка, где вышла большая часть пассажиров, проснувшихся ровно за минуту до остановки. Поезд проследовал дальше почти пустой, стук колес усилился, ехали видимо по старым рельсам, уже никаких слов понять было невозможно, Павел задремал и проснулся, когда сидящий рядом старик толкнул его в бок: «Фрязино-товарная! Тебе выходить, ты меня просил разбудить!»

Павел вышел на платформу и огляделся. Вместе с ним вышли два-три человека, и Павел попытался спросить у одного, где здесь лодочная станция? Тот не ответил, что-то недовольно буркнул, усилив недовольство междометием «блядь!» Более общительным оказался вышедшей вслед за ним старик, как раз тот самый, который его разбудил:

– Лодочная? Так ее уже лет пять как спалили, спор был хозяйствующих субъектов, одни тут вообще диснейленд хотели соорудить, а другие дачи понаставить, так до сих пор обгорелое вот там здание стоит, видишь. А тебе зачем, на лодке поплавать?

– Да встречу назначили, сказали у лодочной станции.

– Ну-ну, счастливо встретиться, хорошего дня!

– Спасибо и вам тоже.

– А это не тебя ли там внизу ждут, руками машут?

Подойдя к краю платформы, Павел увидел стоящую на дороге машину, огромный белый Мерседес-Люкс, выглядящий как НЛО в непритязательном пейзаже вокруг станции «Фрязино-Товарная». У машины стояла Мария Захаровна, в той же перелине, накинутой теперь на белую норковую шубку. Она и стоящие рядом Петрушка с Селифаном приветливо улыбались и настойчивыми жестами приглашали Павла спуститься к машине.

Машин телефон не отвечал, потом металлический голос это подтвердил: «абонент не отвечает, перезвоните позже». Остаться на платформе не имело смысла и он медленно спустился вниз.

– Поедем быстренько в аэропорт, там вас уже ждут, – сказала, продолжая улыбаться Мария, когда они с Павлом расположились на широченном заднем диване. Селифан – впереди, Петрушка за рулем, мотор тихонько и нежно заурчал. – Хорошо, что вы так рано подъехали, теперь мы в один миг по бетонке отсюда докатим. А то здесь позже даже на бетонке, хотя ее на картах нет, даже у гоголя-моголя не обозначена, все равно пробки теперь, словно на Тверской в часы пик. Как только эти пройдохи ухитряются все обходные пути разведать?

Павел молчал, в нем ныло гнетущее ощущение предательства. «Марья Захаровна, Собакевич-Сугробов, Манилов-Вовин – это, так сказать, нормально здесь теперь, но Юра Копейкин, и даже любимая Маша – это чересчур уже, это полный!.. И теперь все они веселой компанией сопровождали его в этом автомобиле, в новой мерседесовой птице-тройке. Места внутри не нашлось лишь Веревкину, но он тоже был рядом – парил эльфом в облачном рассветном небе.

– Не гони, Селифан, мы живым хотим нашего пассажира довести, умерь прыть. Значит так. Приедем в аэропорт, тут недалеко – рядом со Щелковым, новый совсем для vip-клиентов. Вас посадят в самолет, никого контроля, естественно, самолет частный, одной нашей всемирно известной компании, полетите со всеми удобствами! В Люксембурге вас встретят, там тоже без бюрократии. Вам для подписи потребуется российский паспорт с визой и штампом въезда в ЕС. Знаю, что у вас безвиз итальянский, но подписывать вы будите с российским. Поэтому вот – возьмите новый паспорт, там все визы и штампы уже проставлены. Так, что еще? Вас отвезут не в отель, а в апартамент, это, сейчас, минуточку, тут записано – Булевар Рояль, королевский бульвар, значит. Вас будут сопровождать, чтобы вы, так сказать, не заблудились, покажут город, погуляете, пообвыкните, сходите в музей какой-нибудь, там места красивые есть – огромный такой овраг прямо в центре, Грунд называется, там казематы, полюбуйте. Не были никогда в Люксембурге? Приятное место, но погода подкачала - дожди все время, хуже чем в Москве.

На взлетном поле аэропорта, куда без всяких формальностей въехал Мерседес, их уже ждали Манилов-Вовин и небольшая

группа элегантно одетых господ, среди которых военной выправкой выделялись знакомые уже Павлу правнуки Менжинского. Попрощаться подошел к Павлу один лишь Вовин, он даже попытался дружески его приобнять, но этого, как и в случае с Собакевичем, как-то не получилось. Но пожелал счастливого пути, кажется, искренне.

Двухмоторный Gulfstream бизнес-класса стоял на полосе, готовый к взлету. Селифан с Петрушкой с помощью подоспевших молодых правнуков под руки затащили Павла в самолет и усадили в вип-салоне в глубокое удобное кресло из натуральной кожи. Кроме него там сидели уже два солидных господина, не обративших на сцену водворения никакого внимания, поскольку были заняты – один читал Wall Street Journal, а другой рассматривал Business Week. Павел посмотрел в окно и увидел всю группу провожающих, которые сочувственно и, видимо, со слезами на глазах (издали не было видно) прощально махали ему платочками.

Нужно как-то заканчивать эту историю, – с тоской подумал Павел. – Может, как в одной старой итальянской комедии, когда двое сценаристов никак не могут придумать финальную сцену и обращаются за советом к Феллини. А тот предлагает собрать всех действующих лиц на большой лужайке, обязательно добавить к ним одетого в цирковой наряд клоуна с красным носом и заставить всех ходить хороводом. Сцена должна продолжаться минут пять и по ней уже пустить надпись «конец фильма» и заключительные титры. Музыка может быть любой, но лучше – какая-нибудь разухабистая, цирковая.

И как бы услышав эти его мысли, все провожающие на летном поле во главе с Вовиным, взялись за руки и повели веселый шутовской хоровод. Роль клоуна исполнял Парвус, одетый в белую распашонку в яблоках с накладным красным носом.

Самолет начал разбег, хоровод уменьшился и остался позади. Ускоряясь несясь назад унылый ноябрьский лес, голое распаханное поле, покрытая первой ледяной пленкой речка, разноцветное скопление все уменьшающихся дач. Потом все это скрылось за облачной ватой, облотившей самолет. Павел отвернулся от окна, достал взятый из дома Веревкина томик «Мертвых душ» и погрузился в чтение:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгоняемая тройка, несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади... Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

Евгений Терновский

Ливорно

Тосканских холмов пережат.
Легко просыпается Цельсий.
Как Шива, красив и рукаст,
на площади – полицейский.

Час утренний. Площадь – пустырь.
Газета, кафе, капучино.
И прошлое – ржавая пыль –
в советскую канет пучину.

У берега, наискосок,
богинями в синих матросках,
бегуньи – на белый песок –
толпой, в ожидании кросса!

Над ветхою крепостью – тишь
в начале уютного марта.
Страдальцев не сыщешь здесь.
(Лишь –
четыре закованных мавра)°.

Нет счастья доступнее, чем
под небом тосканским – взгляни ведь:
пришелец, бродяга, ничей...
Но всех захотят осчастливить!..

Вот паста, что рот обожжет,
лазанья, мучнисто-слоиста,
ризотто, как розовый шелк,
и пицца, творенье артиста.

На небо взгляни – се Нева
по небу прошла, растекаясь

на городом!
Но синева
тосканская – вечная радость.

1978

°Знаменитый памятник Фердинанду I Медичи, основателю Ливорно, воздвигнутый в 1599 скульптором Джованни Бандини и обновлённый в 1626 году Пьетро Такко, который поместил на постамент четыре скульптуры в виде закованных мавров.

Конец века

Ты покинул тот город, когда
почернели от холода лица,
и московских сугробов орда
достигала – почти! – провода.

Укрывалась от шпиков в метро
и белела от страха белица.
А снаружи – мело и мело,
и лицо её было мертво.

За пургою – блиццард, а за ним –
завершалось отечество вьюгами.
Чертовщины такой не узрим
до скончания века и зим!

Ледяная отчизна, что нас
заключала в снегах (но о юге мы
не мечтали), чтоб знали – не спас
зыбкий Запад. Ни ангел, ни Спас.

Или – эта дремучая стынь
нас гнала ледяными нагайками,
за поля, за вокзал, за мосты –

где лишь вёрсты, костры и кресты?

Бог с тобою!.. Чужая теплынь
нас согрела огнем, не огарками.
Я один к океану уплыл,
забывая родную полынь.

Но спустя двадцать лет, как вчера,
вьюга вновь сатанеет и злится,
и стареет наш век дочерна,
с прядью снежных волос у чела.

И одна, возле входа в метро,
ты, прелестница и белица,
потерявшая юность и кров,
но сказавшая другу: не тронь...

1994

После бури

*...n'aria serena doppo 'na tempesta.
Giovanni Capurro°*

...Но удалился шторм от берегов Бретании,
утихли и раденья, и рыдания.
Чуть отвердели берега в лазурной просини
и золотой песок на скалы бросили.

Устали бурные уста эоловы.
У неба цвет не серебра, но олова.
Все стихло. Даже в море нет дорог,
и волны навзничь, как юницы в обморок.

Восстал гранит, лиловый, синий, розовый.
Промчались тучи стайей альбатросовой
над доками и молом корабельными,
и замерли баркасы скарабеями.

И вечер, словно в первый день творения,
освободился от столпотворения
автомобилей и туристов, скрывшихся
в мотелях и отелях, что пониже сих

приморских сосен.

Скорбны и задумчивы,
надгробные слова тайком заучивали
на смерть твою – без муки и печали, но
нам предрекая вечное молчание.

°...ясный воздух после бури. Джованни Капулло

После войны

Лес и поляна в седых одуванчиках,
чаще полынь, иногда мать-и-мачеха,
где огольцы забавлялись без мячика.

В драных рубахах, что лихо навывпуск,
в рваных штанах – на века, не на вырост.
В бор – всем гуртом, словно стадо на выпас!

Ибо кормилец – не дома, но в чаще,
там и найдешь избыток чашу,
где костеники не сыщется слаще.

С другом Сережей, в заплатанном кителе,
с книгой, что в библиотеке похитили,
мы упивались стихами, и видели:

пальмы, залив, перешейки лазурные,
залы сапфирные, зори пурпурные,
афморы, мрамор, и белые урны, и...

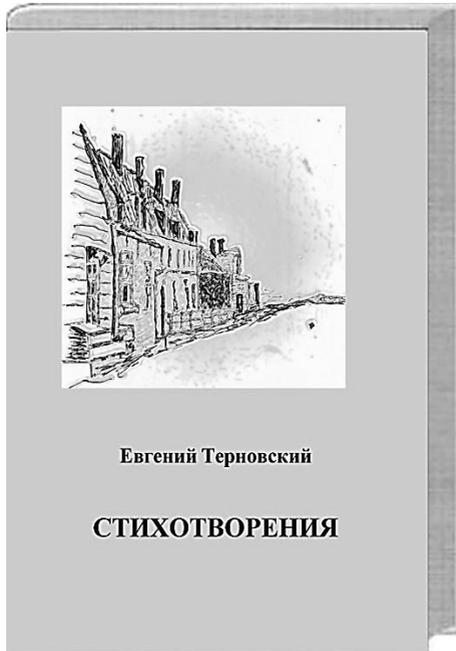
Жизнь проходила не розовой – разовой,
и бессловесной – лишь слышался разве вой,
что надрывался крестьянкой Некрасова.

Дрожь у соседей: кого еще сцапали?
Брёл инвалид утомленною цаплею,
и, кэгэбешники, гарцевали вы,

в ночь уводя от семьи и от города...
Скучно и страшно, к тому же и голодно.
Но веселили и пьяно, и молодо,

ежели к лесу – с прекрасною книгою,
с полной в ладони лесной земляникою,
музу, и зори, и музыку кликая.

1988



Евгений Любин

В Германии красивых женщин нет...

*В Германии красивых женщин нет.
За что она наказана Всевышним?
На это есть логический ответ,
Но нам с тобой, покажется он лишним.*

Марк попал в Германию случайно, потому что дал обет никогда туда не ездить. Ни только в Германию, но и в Польшу, на Украину, в Прибалтику. Он родился в Штатах и его родственники не пострадали в Холокосте, но с годами, он все сильнее ощущал тяжесть всемирной вины, всего человечества, своей личной ответственности. Ответственности за что? Ведь сам он не пострадал, но физическая боль свилась тугим клубком внутри сердца, и он только удивлялся тому, что до сих пор у него не было инфаркта, или мозг не ударил инсульт. И это чувство вины и ответственности росло и росло, и переполняло его так, что он и не жил, а только и думал о том, что произошло больше семидесяти лет назад. Представлял убийство миллионов в концлагерях или тысяч в ярах и массовых могилах, вырытых самими жертвами. То ли его воображение было столь ярким, то ли посмотрелся за многие годы документальных фильмов того времени, но стал жить только этими картинками, а все остальное отодвинулось на задний план.

Но пришел он к этому постепенно, накапливая с годами эту невыносимую информацию.

Сначала, как и многие американцы, он отказался от покупки немецких автомобилей, и других товаров сделанных в Германии или в Польше, или в Прибалтике, или на Украине. Не мог понять, как переваривают сами немцы уничтожение своих соседей. Не убедило его и признание немецким правительством маразма своего народа. Не нравилась ему и дружба Германии с новым еврейским государствам, а особенно деньги, которые она ему выплачивала. Разве могут даньги очистить совесть целого

народа? Но еще больше его потрясло молчание тех, кто подражая Германии, а иногда и опережая ее, доброхотно умерщвлял многие тысячи, и даже миллионы своих соседей с которыми веками жили бок о бок.

В Германию попал он с круизным кораблем по скандинавским странам, с заездами в Гамбург, Эстонию и Ст-Петербург. С туристской группой его привезли на автобусе в Берлин. Тут он впервые увидел большое количество немцев: прохожих на улицах, покупателей в магазинах. Ничего агрессивного в лицах, никакой аккуратности в одежде. Но он, по своей холостяцкой привычке, прежде всего, обратил внимание на молодых женщин. Были милые лица в Швеции, Дании, Финляндии, много меньше в России, но не встретил он ни единой симпатичной физиономии в Берлине. Он читал, что Германия после войны не сделала никакого заметного вклада в науку и в искусство. Но такого эффекта на генетический фонд нации он не ожидал. Все-таки, моральный ущерб нации передается через поколения, впрочем, как и ее идеология, всосанная с молоком нацистских фрау.

Германский Бундестаг после войны принял закон об увековечении памяти еврейских жертв нацизма. Наконец, после десятков лет проволочек, на площадке окруженной торговыми точками и базаром, недалеко от Рейхстага, но не в очевидной видимости от него, соорудили очень странный монумент, состоящий из десятков черных разновеликих мраморных плит, уложенных в аккуратные ряды.. Ни одной надписи или еврейского знака на них Яков не нашел. Только в незаметном углу сооружения, он увидел темную лестницу, ведущую в подземелье, куда поместили жалкий музей холокоста. Зачем тревожить души невинных немцев, они и так потеряли в войне больше трех миллионов своих граждан – это вдвое меньше, чем шесть миллионов евреев или в десять раз меньше тридцати миллионов россиян. Все-таки, немцы доказали, что они сверх человеки. Вот только гены подкачали... Но с этим уж ничего не поделать. А как же человеколюбивые прибалты и славяне?

Марк видел по телеку документальную передачу о поездке французского священника по селам и городкам Украины, в которых местные жители убивали своих соседей- евреев еще до

прихода немцев. Таких поселений священник насчитал тысячу восемьсот. Показали его беседы со стариками, которые были свидетелями этих убийств. Старики говорили не стесняясь, даже хвастаясь своей памятью: они ни за что не отвечали. Что им скрывать? В то время им было по семь-восемь лет, и ни по каким меркам их судить было нельзя. Эти свидетели водили ксенза на места массовых захоронений, где не стояли ни только памятники, но и распознать, что там покоятся тысячи жертв «добрососедской любви», казалось, невозможным. Это были заливные луга для выпаса скота, или молодые рощи, или курстарники, выросшие на еврейской кровик. Марк надеялся, что с объединением Европы, Польшу и Прибалтику примут в Союз только при условии, что подобно Германии, они всенародно признают вину за убийство многих тысяч своих соседей и покаются перед еврейским народом. Но ничего такого не произошло: будто никто не помнил этого ужаса сорок первого года. С невинными глазами, почти святых, забыв о всех религиозных заповедях, кстати, подаренных им иудеями, они вступили в новую жизнь, начисто перечеркнув свое прошлое, и даже не стесняясь его. Мэр одного польского городка на памятнике жертвам войны, оставил голой одну сторону мраморной плиты, чтобы написать там имена евреев, убитых самими жителями. Но поднялся такой вопль и крик, что он побоялся за свою жизнь. Вот в такой дружной самье живут святые европейцы. Правда, Украина еще не вошла в эту семью, но скоро войдет. Они начисто стерли из памяти Бабий Яр и названия тысяч кровавых сел и деревень. Но Марк все помнил – это стало его идеей-фикс.

Бабушка Марка уже год находилась в приюте для стариков «Дочери Израиля». Получилось так, что баба упала на ровном месте и сломала бедро, а было ей много за девяносто. Марк думал, что это конец, и на ее выздоровление не рассчитывал. Но в больнице ей сделали операцию: вставили новое железное, а точнее, титановое бедро и она через неделю стала понемногу двигаться. Его родители жили в другом штате, трудно работали, и навещать мать, а точнее, его бабушку, могли только по выходным. Они согласились с внуками, что поместят ее в «Дочери Израиля» - заведение вполне пристойное, управляемое евреями, хотя пациенты были всех кровей, даже немецких и польских.

Это Марк выяснил вскоре, навещая бабушку в обеденное время, чтобы проследить, как она ест или покормить ее.

К бабе Рае три раза в неделю приходила нянька, которая ухаживала за ней после падения, сначала в больнице и потом дома, пока бабушку не положили в этот приют. Продолжала она приходить в приют на три оплачиваемых часа, которые прописали социальные работники. Звали ее Олей - стройная шатенка лет тридцати, улыбчивая, но не разговорчивая. Как она попала в Штаты, он не знал, да и не интересовался. Ее редкие зубы, которые открывались в улыбке, да кривые нижние клыки не отпугивали Марка, а гладкая кожа, большая белая грудь, выпирающая из тесной кофты, и зеленые с проблесками глаза, делали ее довольно милой. Честно говоря, Марка, сорокалетнего холостого мужчину, привлекали любые молодые женщины. Он был одинок, не имел даже герл-френд, и жил с бабушкой. Хорошо работал, давно скопил денег на дом, но все время откладывал покупку: не хотелось съезжать от бабки, с которой было тепло уютно и сытно

Когда он после работы приходил в приют, его встречали уже у подъезда: Оля подкатывала подопечную в коляске к самому входу, Марк целовал бабушку в щеку, Оля подставляла свою и он чмокал ее тоже. Она стала делать это, помня, что они знакомы давно, еще с тех пор, как Оля приходила ухаживать за бабушкой к ним домой. Это вошло в привычку, и было так просто и естественно, что никто из персонала или больных, находившихся поблизости, и видевших эту сцену, не хихикал, и не отпускал пошлых шуток. Марк привык к этой процедуре, и перестал понимать, к кому он приходит: к бабушке или к ее няньке. В те дни, когда девушки не было - знал, что она учится в местном колледже, - он сильно огорчился, и весь вечер хмурился, объясняя бабушке, что устал на работе. Для Оли это было не только данью вежливости, к которой ее приучили в Америке, но она и на самом деле питала к Якову теплые чувства. Сравнивая Марка со своим отцом - человеком грубым и не ласковым, который никогда ее не целовал, она видела разницу между ними, и мечтала иметь такого, если ни мужа, то, хотя бы, бойфренда. В колледже вокруг нее вились студенты, но были они прямолинейны и назойливы. Иногда ее приглашали на вечерники,

но это заканчивалось тем, что после пары дринок ее ласково уговаривали зайти к кому-нибудь из парней в комнату общежития, посмотреть, как живут американские студенты. Тут же, соседи по комнате исчезали и она оказывалась вдвоем с парнем, вежливость которого мгновенно испарялась, и он полупьяно ей объяснял, чего ему от нее надо. Она слабо сопротивлялась, помня материнские уроки, когда та говорила, что «коль кобыла не захочет, то кобел и не наскочит». Мать не верила в рассказы об изнасилованиях, так распространенные в Штатах, потому что по собственному опыту знала, что парень ничего не добьется, если девушка хоть немного сопротивляется. Оля поверила матери и ни разу не испытала насилия, хотя попытки были. Постепенно она так привыкла к Марку, что считала себя почти членом его семьи, а к бабе Рае относилась с заботой и вниманием, как к своей собственной бабушке, которую она никогда не знала.

Обычно за столом сидело четверо старушек, и все довольно бойко разговаривали, особенно одна, моложе других – лет немного за восемьдесят. Эту старушку звали Клавдия, или просто, Клава. Она вспоминала свою молодость и с гордостью говорила о том, что в семь лет видела, как расстреливали евреев в ее деревне Нежино, недалеко от Киева. «Экзекуцию выполняли свои же, сельские парни, и мои дядьки и даже отец, в том числе. Я тогда ничего не понимала, - извинительным тоном поясняла Клава, – помню мою подружку Риву, она спряталась у нас в доме, а я закричала, что она еврейка, и ее вытащил из подвала мой старший брат и тут же ее застрелил. Это сейчас я знаю, что и среди евреев есть хорошие люди, вот возьмите, наш дом для престарелых, кто тут командует – они, евреи, добрые люди, правда, вся обслуга черная, но и среди них есть неплохие женщины».

Марк присутствовал при откровениях Клавы. Кровью наливалось его лицо, он готов был растерзать старуху, но только вскрикивал: «Ах ты, старая блядь, да я тебя!» - и подходил к ней сзади, готовый сжать руками ее морщинистую шею. Подбегали медсестры и Оля, и оттаскивали его, а Клава, будто ничего не замечала, и продолжала говорить и говорить... Старуха-американка ничего не понимала, и совершенно отключалась – она

берегла свою нервную систему... Только баба Рая все понимала и сидела, закрыв лицо руками и тихо причитала: «Какой ужас, какой ужас... и это в Америке. Как таких людей пускают в эту страну? Надо удирать отсюда куда угодно...»

Марк внимательно следил за действиями Оли. Она, казалось, не поняла, что произошло в столовой и успокаивала его, поглаживая по голове. Подошла она и к Клаве, и сказала ей несколько слов, которые Яков не разобрал. За все время, а бабушка провела в приюте больше двух лет, - он так и не смог поговорить с Олей. Когда он после службы появлялся в заведении, они встечали его при входе, затем, она отвозила бабушку в столовую, где одевала ей белый накрахмаленный слюнявчик на грудь, кормила ее, что занимало не меньше часа, потом они вместе везли бабушку в садик, где баба Рая радовалась каждому цветку и старалась дотянуться до них руками. Потом, они отвозили бабушку в ее комнату, и Марк включал телевизор с русской программой. Втроем она смотрели фильмы или последние известия. Бабушка оставалась в коляске, а Яков и Оля сидели в узком кресле для гостей, тесно прижавшись плечами и бедрами...

Вскоре Марк уходил, поцеловав бабушку на прощание, но Оля уже не чмокала его в щеку. Они оба были сильно возбуждены и старались не смотреть друг на друга. Понимала ли Оля русское телевидение, Яков не знал. Для него она была русской хоум аттендант, то есть приходящей няней, и все. Она перекидывалась несколькими словами с бабой Раей, говорила Марку «добрый день», когда встречала его и «до свидания», когда он прощался. Но вдруг он стал обращать внимание, что она говорит Клаве «добже, пани», а к медсестрам обращается по-английски. Русскую речь он редко от нее слышал.

Он не задумывался об этом, потому что теплая нить, которая связала их нечаянно, была слишком тонка и он опасался, что она может вот-вот оборваться.

Оля ничего не знала о прошлом своего деда, но понимала, что мать ее вовсе не еврейка и была рада, когда они переселились из Бэр-Шеды в Нью-Джерси, где процветал брат деда, которому стукнуло девяносто, и где он владел строительной фирмой. Она быстро освоила английский, который учила еще в школе и легко попала в местный колледж, за который не

надо было платить. По какому-то внутреннему голосу, она стеснялась говорить по-украински, хотя знала его хорошо, и старалась вставлять в английский не украинские, а русские слова. Но в приюте она расслабилась и говорила с Клавой по-украински, не ожидая от нее таких откровений. Все старухи в приюте были подростками во время войны, и часто вспоминали свое детство. Была среди них Гертруда, сухая женщина много за девяносто. Она рассказывала о себе мало, но со временем, сидя часами за обеденным столом, многое из ее удивительной жизни стало проясняться. Она родилась в Киеве, в семье отца инженера и матери врача. Была активной комсомолкой. До сих пор любит напевать советские песни, даже здесь в приюте, сидя с подружками за обеденным столом. Но баба Рая ее обычно прерывает: «Не тебе петь эти песни, немецкая овчарка». Когда Марк в столовой, он нежно поглаживает бабу Раю по голове, пытается ее упокоить, но он сам доведен до крайности. Ведь он слышит все эти разговоры и не может понять откуда появились в этом еврейском приюте такие старухи, как Клава или Гертруда. Будь его воля, он перестрелял бы этих мерзавок, но здравый смысл брал верх, и он уже десятый раз прятал в тумбочку у прикроватного столика своал Браунинг, приобретенный еще в начале службы на Читануге. Там иметь пистолет считалось престижным – все-таки военная организация. Он даже иногда стрелял в Читануговском тире, показывая очень приличные результаты – обычно, не менее сорока очков из пятидесяти. Коллеги удивлялись, такой точности...

Откуда его ненависть к этим старым бендеровкам? Но он читал, что к бендеравцам и к власовцам в КГБ относились вполне терпимо: отсидел свою десятку и живи, как хочешь. Да и служили ведь на советскую власть крупные ученый-нацисты – атомщики, ракетчики, химики. Их носили на руках и берегли, как зеницу ока. Нет, в нем играла еврейская кровь, которой была удобрена украинская земля. Эта ненависть пропитала его насквозь, и он поклялся никогда не посещать Украину или прибалтику. С трудом он переносил украинскую речь, и даже два слова, сказанные Олей старой Клаве выводили его из равновесия.

Баба Рая нежно относилась к внуку, называя его то деткой, то

моим мальчиком. Вскоре она озаботилась, как Яков обходится без нее, кто ему готовит, кто убирает в доме, кто стирает белье и стелет ему постель. Он отщучивался, говорил, что уже не маленький, что любит питаться в ресторанах, что сам убирает дома и стирает белье в машине. Единственно, что он ненавидит – это застилать огромную кровать – обегать вокруг нее несколько раз, но все равно она выглядит неряшливо. Баба Рая обратилась к Оле, но так, что бы и внук ее слышал: «Оленька, а ты не сможешь приходить ко мне сюда не три раза в неделю, а два, а третий день, например, в пятницу, к нам домой, сможешь Марику вести хозяйство? Ты ведь прекрасно готовишь». - «Добже, - согласилась Оля, - тоесть, конечно».

В следующую пятницу он ушел с работы пораньше, взав два часа отпускных. Он торопился домой, хотя не мог себе объяснить, что с ним происходит. Неужели дело было в Оле? Неужели он волнуется, что происходит дома? Но Оля уже несколько лет приходила к бабе Рае, и ее присутствие в доме не должно бы его беспокоить.... Оля была одета в свой легкий плащ, который облегал ее стройную фигуру – и уже собралась уходить, не дождавшись его. Он кисло улыбнулся и подставил ей щеку. Она не чмокнула его, как раньше и он совсем понурился. «Уот хеппенд?» - спросила она по-английски. «Ай ем джаст тайед». – «Окей, ай уилл гоу». – «Уэйт а момент?» Он не знал зачем попросил ее задержаться. А она сняла плащ и подошла к нему вплотную. Они осторожно обнялись. За многие годы впервые были одни – без бабы Раи, без любопытных глаз старух и медсестер в столовой. Долго стояли прижавшись друг к другу. Он вдыхал ее запах, но вовсе не духов, а жидкостей для уборки квартиры. Ему было очень хорошо, даже ее запах, но он резко оттолкнул ее. Она отпрянула и спросила со слезами на глазах: «Ю донт лайк ми?» «Ты можешь говорить по-русски?» - «Трошки». - «Значит, не можешь, а по украински бачишь?».- «Да-да, бачу, бачу». Так они продолжали тихо говорить на смеси русского и украинского, будто кто-то мог их подслушать. «Ты понимаешь, Оля, дело не в тебе, а во мне – ты мне давно нравишься, но я отторгаю всех, кто связан с бендеровцами, сташкевичами, с жутким прошлым той войны . Ты слышала, наверное о «Бамбьем яре» в Киеве?» - «Нет, не слухала, я же изо Львива,

да и родилась в восемьдесят седьмом, мало что знаю о той войне, расскажи мне». – «Ах, Оля, и рассказывать тяжело и молчать не могу. Хочу, чтоб ты знала, как поступали украинцы со своими соседями по селу, еще до прихода немцев, во Львове и в селах вокруг него. Может быть и твои предки были среди тех убийц». – «Нет, ничего такого не было». – «Да как ты знаешь?» - «Так мой батя родился в 55-том, как он мог кого-то убивать? Нет, ничего такого не было и быть не могло». – «Да, не могло, - будто с разочарованием в голосе, повторил Марк, - потом всколыхнулся: - а что делал твой дед во время войны? Он-то был молодым, наверное, года двадцатого рождения, как моя баба Рая». «Баба Рая твоя, хорошая женщина, я ее очень люблю, - неожиданно и не к месту, как показалось Марку, вставила Оля. Но тут же спохватилась. – Ты знаешь, мы по документам евреи, даже в Израили жили пол года, в Бер-Шеве». – «Ну этого не может быть, я же видел и твою мать и твоего батю» - «Да это есть правда, они документы подделали, чтобы уехать, ведь Россия стала с Украиной воевать, сам знаешь...» -«Я знаю и в душе радуюсь, пусть перегрызут друг другу глотки – им воздастся за прошлое. Один поэт написал: «Ни вверху не глядя, ни вперед, иду с друзьями-разгильдяями, и наплевать мне, чья возьмет в борьбе мерзавцев с негодьями». – « А кто же по-твоему, Марк, мерзавцы и кто негодья, я что-то не пойму, ведь русские напали на нас, а не мы на них?» - «Да я, Оля, не о том, трудно объяснить, если ты ничего не знаешь», - «Нет, Марк, не знаю. Знаю только, что ты хороший парень и ты мне дюже симпатичный, а что до тех далеких времен, то до нас они дела не имеют». Оля подошла к Марку вплотную, обняла его и поцеловала в губы. На этот раз он ее не оттолкнул ...

И все-таки им пришлось в этот день поговорить по-серьезному. «Понимаешь ли, Оля, я ненавижу все немецкое, украинское, польское. Я понимаю, что прошло четыре поколения с той войны, но «пепел Клааса стучит в мое сердце» - ты спрашиваешь меня, что это и откуда, ты не читала этой книги. Это из романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле», я помню ее с детства. И пепел миллионов людей сожженных в печах Освенцема, похоронил меня вместе с ними. Я не могу понять почему мир не встает и не кричит во все горло во

всю силу легких: «Люди, что вы делаете, почему молчите, где ваши святыни, где ваша совесть, или, хотя бы ее зачатки ???! А в ответ глухая тишина – нет, не равнодушия, а полного безразличия, полного отрицания того, что произошло 75 лет назад» - «Я разумию о чем ты, Марк бачишь, но разве ты и я хотим разрушить то, что между нами случилось?» - «А что случилось, Оля? Ничего не случилось». – «Ладно, ничего, так ничего, давай забудем этот разговор и то, как мы стояли прижавшись друг к другу и я чувствовала тебя, всего тебя...» - «И я тебя чувствовал, всю тебя...» - «Так это надо забыть? Помнить о том, что было давно-давно, но забыть то, что случилось с нами сию минуту?» - «Ты правильно говоришь, Оля. Но это правильно для тебя, а я на другой стороне баррикады». – «Я хочу быть рядом с тобой...» - «Расскажи мне, что делал твой дед на Украине в 1941 году». – «Он никогда ничего об этом не говорил, да я и не спрашивала». – «А ты поспрошай, может быть он и разоткровенничается на старости лет». – «Хорошо, я его попытаю, Марк».

«Марк, - сразу начала Оля, когда они встретились, - я ничего не узнала, да он в таком настроении, что и говорить не хочет, однако, нашла у него в бумагах вот эту книжку, – она протянула Марку толстый блокнот с пожелтевшей бумагой. «Похоже на дневник, - сказал Марк, - ты можешь оставить его мне на пару дней?» - «Конечно, вряд ли дед вспомнит о нем». Яков полистал блокнот: «Да тут же все по-украински». - «Я буду тебе толмачом, то есть, переводчиком. Хочешь, давай начнем сейчас, но ты с работы голодный, я тебя покормлю, добже?» - «Покорми, если найдешь, что-то в холодильнике, только прошу, не говори со мной по-украински, окей?» - «Добже, - она смутилась, - окей, но как же я буду переводить дневник деда?» - «Записывай, а я потом прочитаю», - «Но я не могу писать по-русски» - «Это проблема, - озаботился Яков, - что же нам делать? У тебя хорошая память? Может быть поступим так: ты читаешь, а потом рассказываешь мне, окей?» - «Нет, я думаю, что будет лучше, если я буду читать, и тут же, тебе переводить». Оля схитрила, ей просто хотелось побыть вдвоем, сидеть рядом, по возможности, прижимаясь к Марку и чувствуя его сильное, крепкое тело.

«Хорошо, - согласился Марк, - сегодня я занят, давай начнем

в следующую пятницу». Но ему не стало приятно от мысли, что они проведут вместе несколько часов, какое-то отторжение он, все-таки, почувствовал.

В следующую пятницу он немного задержался на работе – не специально, просто так получилось. Когда он пришел домой, на кухонном столе был накрыт ужин, или, по-американски, обед. Оля сварила борщ, поджарила котлеты и картофель – все по его вкусу, рядом стояла запотевшая бутылка пива Янглинг, которое он любил. Оля сидела с раскрытым дневником деда – глаза ее не понравились Якову, что-то в них было не так. Они не увлажнились, не потускнели, но пропала в них жизнь, игривое мерцание чистых блессток. Марк медленно поел, изредка бросая взгляд на соседку, спросил, обедала ли она. «Спасибо, я сыта», - неопределенно ответила девушка. - «У тебя усталый вид, - равнодушно сказал он, - может быть ты не будешь сегодня переводить?» - «Я уже много перевела, пока тебя ждала, но не знаю, захочешь ли ты слушать, то что я тебе перескажу», - «Так мы для этого и собрались, пожалуйста, начинай». – «Я не могу, я вдруг почувствовала себя еврейкой, той девочкой, которую убил мой дед». Яков внимательно посмотрел на девушку – надеялся и боялся увидеть слезы. Но она смотрела прямо перед собой, будто вдруг ослепла. «Я не могу это ни читать, ни переводить. Это так страшно. Не могу поверить, что мой дед, мой любимый дед Богдан в этом участвовал». Вдруг она страшно закричала: «Нет, нет!! Этого не могло быть!! А мы ведь жили пол года в Израиле, в той чудной стране, где нас приняли, хотя ни в ком из нас нет ни капли еврейской крови – да это же святые люди, - она истово перекрестилась, - это божеский народ, спаси и помилуй всех невинно убиенных». Марк ждал, но не увидел на лице Оли даже следа слез, хотя она покраснелась, а поджатые губы наоборот, побелели. «Да она же просто страшная, - спокойно подумал он, и это внесло успокоение в его душу, - как я мог допустить даже мысль о близости с ней? Все правильно, все течет, как и должно происходить... В Германии красивых женщин нет... Но она же ухаживала и до сих пор ухаживает за моей бабой Раей, а теперь приходит ко мне раз в неделю, - какой бес меня попутал? Этого не должно быть, это, как простить палачей, которые убили всю твою родню, нет-нет и нет, лучше самому удавиться». Но тут

внутри образовался другой голос, который хитро и плотоядно шептал, что девушка тут не при чем, что ни она, ни ее родители в этом не участвовали, что детей не судят за преступления предков. Но тут внутренний голос затих, а наружу вырвался не вскрик, а дикий вопль: дело не в том, что у ее деда руки в крови, а в том, что все они замараны этой кровью, которую ни смыть, ни очистить невозможно – она въелась намертво в память, в гены этих людей. Он вспомнил, как сказала жена его дядьки, когда они жили рядом на даче: « Мама, Лазарь не плохой мужик и детей любит, но от него сильно евреем пахнет». И от этого никуда не деться: они всегда будут чужой, непривычный запах, сколько бы детей вместе не нарожали, и сколько бы лет не прожили вместе.

Тут дело не в генах, а в истории и традициях народа, которые передаются через много поколений. Ведь не нужно обсуждать свое отношение к народу, говорить об этом за столом каждый день – достаточно мельком, мимоходом бросить презрительное слово или глупую шутку о жадности или чесночном запахе, исходящим от «этих» людей, и это врежется в память с детства и передастся через много много поколений. И вот вырастают молодые мужчины и женщины, которые ничего не знают о евреях, но каждое упоминание о них, ассоциируется с воспоминаниями детства, со словами, как бы мимоходом, брошенными родителями. Марк вполне мог поверить, что дед никогда не рассказывал при Оле о своих «подвигах» во время войны, но не сомневался, что презрительные слова о евреях ни раз вырывались из его шамкающего беззубого рта. Он будто видел, как старик, отхаркивая коричневую слюну, хрипло говорит, что это «они» хотят захватить весь мир, что это «они», убивают арабских детей, что это «они» правят Америкой. Бедная Оля – она отравлена с рождения, хотя и не понимает этого. Она привязалась к Марку и его бабушке, но пройдет немного лет, и почувствует, что от него и его бабы Раи пахнет чесноком.

Что делать Оле? До сих пор, она не понимала злобы и ненависти Якова к деду Богдану. То, что она успела узнать из записок деда, было страшно и выше ее понятий, понятий взрослых на христианской морали и библейских заповедях. Но вот она переводит:

«В селе возле города Нежин, где я жил до войны, образовался отряд полицаев-доброхотов. У нас не было формы и всего с десятков автоматов, но мы получили приказ немецкого командования, разосланного по всем селам и городам Украины, освободить украинскую землю от жидов, не дожидаясь прихода войск вермахта. Мы стали готовиться к операции: вывесили на столбах списки евреев, приготовленные местными жителями заранее, нашли в яру глубокую яму, велели всем жидам собраться перед сельсоветом вместе с документами и ценными вещами. Все справно собрались ровно в восемь рокив. Выстроились в десять рядов – по пятьдесят жидов в ряду. Я тут же подсчитал, что около пятисот душ. Я был, как бы, за старшего, хотя меня никто не назначал. Все шло хорошо и ладно – ни шума, ни криков. Думаю, никто из них не понимал, что происходит. Но вдруг увидел в толпе евреев Машу – девочку, с которой дружил в школе. Вернее, не дружил – это была любовь-ненависть. Мы сидели за партой, прижавшись тесно друг к другу, и я весь был в напряжении – это не было обычным общением – просто так получилось: готовились к сдаче «тысяч» - знаков немецкого текста. Маша переводила – ей помогало знание идиш, искаверканного еврейми немецкого языка. Я знал, что этого нельзя делать, но не удержался и кончил прямо в штаны – она чувствовала, что со мной происходит, но не отстранилась, а наоборот, прижималась ко мне все сильнее. Я никогда не мог простить этого унижения, и вот настал момент – я выстрелил в Машку-жидовку, и попал ей в лоб. Что тут началось! Мои хлопцы не дождались приказа – стреляли без разбора, забыли, что вырыта была яма накануне, куда жидов надо было пригнать. А теперь, что делать? Не возиться же нам самим с трупами. Собрали оставшихся в живых крепких парней и девиц и велели им стащить трупы к яру, где они их сами же и закопали. А пока хоронили убитых, сельяне толпой бросились в опустевшие хаты. Тащили оттуда, что можно, и что казалось ценнее. Не брезговали ни кухонной утварью, ни постельным бельем, ни мебелью...»

«Дед, дед, неужели это было, неужели ты убивал своих соседей, своих соучеников по школе? Не могу поверить...» - Оля вся дрожала, и не смотрела на деда, когда вернулась домой поздно, и дед еще не спал. «Что с тобой, Оленька, что с тобой? Я же ви-

жу, что ты не в себе. Каждый раз, как приходишь от этих людей – не в себе». Оля не отвечала – не было сил. «Послухай сюда, детка: все не так просто, как это изображают коммуняги... Я тебе правду скажу: евреи правили на Украине с двадцатого года. Каганович Лазарь – был самым главным. Хлеб у народа силой забирали, а если, кто прятал, в расход пускали – суд скорый, тройкой назывался. В них тоже евреи командовали. Что было делать? Пришла весна, а сеять нечего – земля вокруг богатая, чернозем, а ничего не ней не взростает. Так начался голодомор – миллионы умерали с голоду прямо на улицах городов – шли туда в надежде прокормиться: Харьков, Киев... А рабочим самим есть нечего...

Что же ты хочешь? Мстили мы, правда, не тем – среди сельчан большевиков почти не было, но злость затаилась, и уже не остановить хлопцев – убивали без разбора... Вот такие дела, Оленька, суди, как хочешь...». Оля в следующий раз перевела на русский речь деда Якову. Он ничего на это не ответил.

Якову не терпелось увидеть живого полиция, ведь сколько он читал, сколько наслышан о них, но напрямую попросить Олю об этом он не решался. Однако получилось так, что она сама позвонила ему. Дед обнаружил, пропажу дневника. Он хранил его в прикроватной тумбочке и всегда помнил о нем. Раз в год, обычно в день своего рождения, он доставал его из под груды пожелтевших газетных вырезок с некрологами своих боевых соратников, разглаживал утюгом смятые страницы, и помногу раз перечитывал, вспоминая с умилением свои и их подвиги. Делал это в одиночестве, печалась, что не с кем поделиться былыми заслугами.

После «боевой» осени 41-го, его взяли в армию, но не в регулярные войска, а в зондер команду. Там он провоеал до конца 44-го и ушел с отступающими немцами на Запад. По дороге он участвовал в расстреле раненных в госпитале, который русские не успели вывезти из-под Будапешта. Запомнился Зяма, еврей-врач с документами на имя лейтенанта Николая Петрова. Зяма был блондином, на еврея не похож, и его бы не тронули, но его выдала медсестра – хорошенькая кудрявая украинка. Его тут же раздели, проверили, и немедленно расстреляли. Как Богдан помнил, эта медсестра даже всплакнула. Что-то у нее с этим евреем

было. Он иногда перечитывал это место в своих записках и умилялся... Вспоминал медсестру, которая ему тогда понравилась.

Заметив пропажу дневника, он тут же подумал на внучку, и потребовал у нее ответа. Оля призналась, что из любопытства взяла записки деда почитать, но не смогла сказать, где дневник сейчас. Деду Богдану было много за девяносто, но силы и энергию он сохранил. Схватил девушку за руки, сжал своими клешнями, но бить не стал – знал, что синяки в полиции засчитают, как избиение. А она вырвалась – проворная девка, и тут же по селл-фону позвонила своему хахалю: мол так и так, дед меня из-за дневника хочет побить, выручай. Ну, парень этот через пять минут явился. Набросился на старика. Получилась драка, которую Богдан не хотел, но ничего не оставалось, как сопротивляться. Когда приехала полиция, на Якове ни одной царапины, а дед весь в крови: губа разбита, из носа сопли красные висят, да и Оля кричит, что деда убивают. Сама же, сучка, вызвала приятеля, а тут орет, как резаная. Ну, полицейские, видит такое дело, Марка забрали, Олю – в свидетели, а дед, конечно, пострадавший. Составили обвинение: Марк – бойфренд внучки пострадавшего, напал на последнего, причину полиция расследует. Семейная история, но все осложнялось тем, что Марк предъявил полиции старые дневники Богдана Невинного, в доказательство того, что тот во время войны служил в германской армии и принимал участие в уничтожении украинцев еврейского происхождения. Районный прокурор передал дневник в ФБР, но там решили, что этот случай, за давностью лет, не будут рассматривать. Нашли закон, по которому дела о военных преступлениях во время войны, юрисдикции американских судов не подчиняются. Единственная вина Богдана Невинного заключалась в том, что в документах на предоставление убежища от преследования коммунистами, он не указал, что служил в вермахте, касательно убийства евреев, в деле об этом даже не упоминалось. В ФБР с сожалением констатировали, что хотя мистер Невинный прожил в США более пятидесяти лет и давно получил американское гражданство, он подлежит депортации в Германию, из-за неправильно заполненных эмигрантских документов. «Дело это не срочное, - сказали ему, - живите спокойно. Может быть немцы откажутся вас принять».

Между тем, обвинение Якова в хулиганстве и нанесении побоев 94-х летнему больному старику, шло полным ходом. А Яков Болотов и не отпирался, что вступился за свою подругу, на которую напал ее дед. В полиции посчитали, что это семейная ссора между дедом и внучкой и дело против деда закрыли. Зато Марка судили за хулиганство, и тот признал себя виновным. Оля на суде выступила свидетелем против Якова, и это еще усложнило судьбу Болотова. Судья дал ему три года отсидки в районной тюрьме. Оля ни разу к Якову не пришла, и они никогда потом не виделись.

Прошло больше года, пока Германия согласилась принять Богдана, но предупредила, что его буду судить по немецким законам о военных преступлениях. Суд над Богданом Невинным прошел в Берлине тихо и без осложнений. Его приговорили к году тюрьмы, но, учитывая возраст и состояние здоровья, посчитали срок условным. В Америку его не пустили, но внучка прилетала в Германию несколько раз, где навещала деда в большой двухкомнатной квартире в Восточном Берлине. Там старик прожил еще много лет, обеспеченный немецкой пенсией, как бывший солдат вармахта, и бесплатным медицинским обслуживанием.

Борис Майнаев

Цыганское счастье

Оно было у него. Хотя, что называть счастьем?

Сытую жизнь? Мальчишка с рождения не доедал, как и все в таборе.

Любимую работу? Костя с детства мечтал о полетах, но понимал, что у человека нет крыльев.

Свободу? Она была у него от горизонта до горизонта, да мальчишка думал о другой свободе. Думал, грезил, но не понимал, какой свободы хочет его душа.

Цыган!? Нет! Он не был им. Точнее, он был неправильным цыганом. Костя, а так он назвал себя сам, не жил в таборе. Он любил вольницу. Но не жизнь под открытым небом. Как не любил ни телег, ни кибиток. Страшно сказать, но юноша без волнения смотрел и на горячих скакунов. Он не воровал, потому что это не будоражило его кровь ни азартом, ни риском. Одно осталось в нем от его народа: стать, черная, кольцами шевелюра, мелодичный голос и умение виртуозно играть на гитаре. Всему остальному на свете Костя предпочитал небо. Он хотел жить там. Жить и летать. В четырнадцать лет мальчик сбежал из табора и, пройдя, проехав и пробежав полстраны, добрался до знаменитого Качинского училища, чтобы стать летчиком.

Никто не знает как, но он смог добраться до самого начальника Качи и рассказать тому о своей мечте. Генерал, сам любивший небо всеми силами своей души, понял мальчишку и устроил того воспитанником в воздушно-десантный полк, которым командовал его старинный друг.

- Считай это курсом выживания. Окончишь там школу,- напутствовал генерал,- и придешь к нам. Если сдашь все экзамены успешно и врачи не найдут в тебе никакой дряни, то станешь курсантов, а там летчиком или космонавтом.

Больше Костя генерала не видел. Он считался воспитанником

музвзвода, но все свободное время проводил на полосе препятствий, огневом городке или спортзале. К шестнадцати годам юноша уже успешно отстаивал честь полка на состязаниях по воинскому многоборью.

Также легко он учился и в вечерней школе и, если бы захотел, то был бы круглым отличником. И тут его оглушило первое, юношеское чувство. Костя влюбился в своего педагога. Девушка только-только окончила пединститут и в их школе преподавала русский язык и литературу. Она хорошо играла на гитаре и, когда принесла на один из уроков семиструнку и спела под собственный аккомпанемент несколько романсов, юноша был окончательно сражен.

Это было счастьем, хотя, как на это посмотреть.

Потому что женщины и неослабевающая тяга к ним мешали ему не только жить, но и расти по карьерной лестнице.

Но в этот раз все было просто. Костя попросился провожать свою преподавательницу и, доведя ее до подъезда, принялся так страстно целовать учительницу, что она сама не заметила, как они оказались в ее постели. И тут шестнадцатилетний парнишка показал себя искусным и неутомимым любовником. Они оба заснули на рассвете и, тем не менее, юноша успел на утреннее построение и его ночное отсутствие заметил только старшина музвзвода. Но музыкант сам был известным в городе ходяком и, увидя осунувшегося, но счастливого воспитанника, хмыкнул:

- Смотри, чтобы они не заездили тебя до смерти.

Первый опыт общения с женщиной был так успешен, что юный любовник, не забывая своей преподавательницы, начал флиртовать со своими одноклассницами, за пару месяцев сменив почти десяток девушек. Потом он, не безуспешно, переключился на местных красавиц. При этом, оставляя одну из них и переключаясь на другую, он оставлял своим бывшим пассиям надежду. Девушки продолжали любить его даже тогда, когда он совершенно забывал о них.

Когда пришло время выбирать, где учиться дальше, Костя выбрал рязанское воздушно-десантное училище. Его он окончил с отличием и остался бы в родных пенатах преподавателем, если бы не любовные авантюры.

Это была случайность, но почти роковая. За пару месяцев до

выпуска юноша познакомился с прелестной, юной особой, оказавшейся женой секретаря обкома партии. Она была так шаловлива и хороша, что муж ей не доверял и, время от времени, неожиданно навещался домой. В один из таких налетов он и застал в собственной спальне молодого человека. Естественно, что рогоносец в таком сане, сделал все, чтобы молодой офицер отправился служить в один из самых дальних гарнизонов огромной страны.

Если бы на месте Кости был человек слабый, то он, наверное, спился бы от тоски и обиды, но молодой старший лейтенант был другим. К тому же при нем было небо и женщины. Совсем скоро юноша стал командовать ротой, очень скоро ставшей лучшей в дивизии. За что начинающий командир был не только награжден, но и досрочно повышен в звании. Не забыл о талантливом юноше и начальник училища, все еще мечтавший заполучить к себе толкового офицера. Костя даже не успел привыкнуть к капитанским погонам, как его перевели на майорскую должность в другой полк. И вот тут цыганское счастье показало ему свой новый лик.

Полк располагался в военном городке, построенном в сороковые годы прошлого столетия. От него до ближайшего населенного пункта было километров пятьдесят. Во все времена это местечко было таким захолустьем, что появление офицера на базаре или улицах города рассматривалось, чуть ли ни как пришествие мессии. Пара походов по местным культурным заведениям не принесла Константину ни связей, ни удовольствия. Ему даже показалось, что вокруг него появилась пустота, изолирующая его от остального мира. От непонимания происходящего офицер напился в местной столовой, гордо именовавшейся рестораном, и попал в постель единственной здешней проститутки. Когда утром хозяйка разбудила своего гостя, и он, увидя с кем провел ночь, в ужасе бежал из ее квартиры, поклявшись больше не приезжать в этот город.

Пыль. Желтая, лессовая пыль и непрерывный горячий ветер – делали жизнь полка однообразной до тошноты. Только небо оставалось голубым и прекрасным. И Костя прыгал, прыгал, используя любую возможность надеть парашют и подняться на борт транспортника. При этом молодой командир не забывал и

о своей службе и подчиненных. Его батальон был так вышколен, что им гордились даже в армии. Костя досрочно получил звание майора, а через неделю, десантируясь со сверхмалой высоты, сломал ногу. Перелом был таким, что кость собирали по осколкам, а молодой майор, вместо того, чтобы командовать своим подразделением, поднимал костылями пыль на тротуарах городка. И тут он забыл обо всех существующих правилах и традициях.

Жены офицеров!

Их жизнь была, по истине, адовой. Молодые женщины, не имея ни работы, ни достойного занятия, сатанели от безделья. И Костя принялся разнообразить серую повседневность гарнизонных дам. Первой в списке его побед была латышка Ирма, жена флегматичного начальника физподготовки полка. Она, по два часа в день, работала библиотекарем в Доме офицеров. Этого времени любовникам хватало за глаза. Через неделю он уже пел романсы Елене, супруге командира первой роты. И нельзя было сказать, что Ирма, высокая, спортивного телосложения женщина, надоела доморощенному Казанове. Он просто остыл к ней, как через десять-пятнадцать дней охладел к Леночке и влюбился в Анну. Да, да, влюбился. Это было странно, но в каждую женщину, которой молодой майор пел серенады, он влюблялся, даря ей всего себя без остатка. Может быть, поэтому, когда он уходил от очередной пассии, она не переставала носить его в своей душе и верно ждать возвращения.

Все военные городки похожи на громадные коммунальные квартиры. Тут все про всех все знают. Но Костины похождения оставались достоянием всех, но только не мужчин. Может быть, тому виною или счастьем было еще и то, что все офицеры гарнизона относились к нему по-особенному. Холостого майора, весельчака и балагура, все воспринимали, как нечто светлое и доброе, разнообразящее серую тоску полковых будней и, по большому счету, как ласкового ребенка. И все бы, наверное, так и шло, если бы не Катька Морозова.

Это был особый фактор, та самая арбузная корка, на которой сломал бы ноги даже самый искусный акробат. Морозова, которую жители городка называли «бой-бабой», была женой замполита командира полка. Все конфликты, все шероховатости

местной службы и быта, становились достоянием истории лишь, пройдя сквозь фильтр сознания этой женщины. Злые языки поговаривали, что Катька командует не только своим мужем, но и всем гарнизоном. Женщина, как и ее супруг, была урожденной украинкой и выросла в небольшом селе под Черновцами. Сложению Катьки мог бы позавидовать иной физкультурник. Высокая, мускулистая, с широкими плечами и громовым голосом, Морозова производила ошеломляющее впечатление даже на московские комиссии. И вот эта женщина первый раз в жизни влюбилась, хотя, если размышлять здраво, положила руку на сердце, она, не до конца сознавая этого, просто захотела изменить своему мужу. И с кем?! С этой «цыганской музыкальной игрушкой», как она называла Костю. Это желание жгло ее ночами и рассеивалось с приходом дня, не выдерживая солнечного света. Иногда, даже ночью, Морозовой удавалось взглянуть на себя со стороны, и тогда она понимала, что сосущая под горлом тяга к этому цыганскому щенку, была следствием бесконечной бабской болтовни. Кто-то не мог забыть его голоса. Кто-то бесконечно рассказывал о его ласковых, горячих руках, вытворявших черт-что. Кто-то вспоминал об изысканной фантазии любовных утех Кости. В любом случае, с приходом ночи Катька не могла дышать от страстного желания заполучить в свою кровать этого майора.

Но выбирал-то он, и, как это ни было горько сознавать, даже не замечал жены замполита! Тогда Морозова решила взять все в свои руки. И начала она с преследования майора. Катька, буквально, наступала ему на пятки, а он, по-прежнему, выбирал других женщин, словно ее не было рядом. Это заставило женщину пойти на крайние меры. «Бой-баба», смирив свой пыл, первой заговорила с майором. Было странно, потому что она даже не помнила, что говорила, и что отвечал он. Бездонные, как омуты глаза, с искорками смеха, помнила. Помнила и незнакомый, звонкий голос, и жар ладони, но ни темы, ни самой беседы – все это истаяло в пространстве между ними.

Дома, стоя под ледяным душем, она подумала о том, что это состояние могло быть следствием борьбы с собой, точнее, со страстным желанием броситься ему на шею и отдаться прямо там, на полковом плацу, где она встретила его и заговорила.

Подумала и испугалась, испугалась себя, потому что знала на что способна. Холодная вода немного отрезвила Морозову, и тут зазвонил телефон.

Слава Богу, это был не муж, а соседка с первого этажа. Она о чем-то тараторила, а Катька, слушала и не понимала ее. Только с третьего раза, используя ненормативную лексику, Морозовой удалось успокоить женщину и понять о чем та говорит.

- Он зашел к Варьке Никишиной, вы слышите меня?- То кричала, то шептала соседка.- Ну, к той самой из Питера, которая носит прозрачные платья. Жена старлея из барачков.

И тут Морозова поняла, что делать с этим непокорным цыганенком.

- А ну-ка все туда!

- Куда?! – Взвизгнула мембрана трубки.

- Обзвони всех. Пусть бабы немедленно бегут туда, к барачку.

- Зачем?!

- Не спрашивай, а звони,- Катька бросила трубку и кинулась к своему гардеробу. Сейчас она решила надеть свое лучшее платье, которое берегла к своему дню рождения и праздничные туфли на высоком каблуке. Обряд одевания женщина завершила макияжем, что не часто бывало в ее жизни.

Только после этого Морозова вышла из дома. Послеобеденная жара выжгла улицы военного городка, заставив все живое прятаться в тени. Лишь неутомонный бродяга-ветер гонял между домами случайный листок ученической тетради, уже пожелтевшей от солнечных лучей. Но на скуластом и решительном лице Катьки Морозовой, стремительно шагавшей судить свои желания, не было ни капли пота. Женщина была собрана и готова к самым решительным действиям.

Это был обычный щитовой барачок, поднятый на высокий, каменный фундамент. Похоже, что его строили еще до потопа, потому что дранка, которой было оббито здание, не только потеряла цвет, но и форму, топорщась во все стороны серыми занозами. Одна из двух торцевых дверей была окружена пестрой группой молодых женщин. К своему ужасу, Морозова увидела, что их больше десятка.

- Ну, сволочь,- прошептала она сквозь сжатые зубы,- сегодня ты за все ответишь!

- Кол! Нужен кол! – Крикнула Морозова, чтобы разом пресечь все расспросы и возражения.

Авдотья, жена капитана Сулова, сама, как и Морозова, деревенская, вскрикнула:

- Осиновый?! Убивать будем?!

- Дура,- Катька отмахнулась рукой от товарки,- дверь подопрем, чтобы не сбежал.

Женщины кинулись во все стороны, но Морозова придержала свою соседку:

- Беги, звони в штаб. Нам нужен командир полка, замполит и начальник особого отдела. Бегом!

Морозова вдруг осознала, что ставит крест не только на карьере майора Кости, но и ломает судьбы доброго десятка женщин, бывших сейчас рядом с ней. Ведь, по-всему, их мужья все еще не знают об изменах своих молодых жен. Да и обманутые супруги, которых учили одному: убивать врага, могут, узнав о случившемся, схватиться за оружие. Но тогда она наказывает и своего мужа, а значит саму себя и командира полка.

- Господи, что же я наделала?! – Прошептала Морозова, понимая, что дороги назад уже нет.

Она увидела, что женщины нашли кусок ржавой арматуры и ею подперли дверь, за которой находился изменивший им любовник. Хотя, как посмотреть на происходящее? Может быть, это они предают его, и не только его, но и себя. Осознав ситуацию, кто-то из женщин вскрикнул и кинулся, было, прочь, но Морозова громовым голосом скомандовала:

- Стоять! Мы скажем, что бросились защищать Варькину честь. А он, соблазнитель и насильник, должен быть наказан. Слово десятка женщин стоит больше того, что скажет этот цыганенок. Для нас главное – слезы и крик. Ясно?!

Она оглядела женщин и поняла, что у нее всего пара минут. Сейчас кто-то из них поймет, что отдавая командованию части майора, они предают самих себя.

В стороне послышался ноющий звук автомобильного мотора. Так выл и стонал старый «газик» командира полка. Автомобиль резко затормозил около них, и первым из машины выскочил Морозов.

- Что,- подполковник кинулся к своей жене,- что произо-

шло?! Ты ранена?! Что тут происходит?

Она опустила глаза и едва собралась ответить, как муж схватил ее за плечо:

- Это платье? Туфли? Почему? Что ты тут делаешь?

Командир полка, уже стоявший около двери барака, усмехнулся одной половинкой рта.

Начальник особого отдела стоял чуть в стороне и улыбался, глядя на женщин. Было понятно, что он знает что-то такое, чего не хотел бы знать.

Полковник, морщась, убрал ржавую арматуру и протянул руку к двери. Она распахнулась ему навстречу, и на пороге дома появился Костя. Майор был одет с иголочки и гладко выбрит. Он широко улыбнулся и чуть отступил в сторону. Из-за его плеча вышла прелестная, юная особа. Она была так хороша, что Морозова не сразу узнала жену старшего лейтенанта Никишина Варвару.

- И что тут происходит?- Голос замполита скрипел, как ржавое колесо.- За каким чертом нас сюда вызвали?!

Особист улыбнулся еще шире и с интересом посмотрел на Костю.

- Любовь,- голос майора звенел от счастья,- мы любим друг друга, но только сейчас Варюша согласилась выйти за меня замуж и переехать ко мне.

- Что?! – В голосе Катьки Морозовой было столько ярости и боли, что ее муж удивленно обернулся.- Какая любовь?..

Пальцы замполита сомкнулись на запястье жены, но она этого даже не заметила.

Женщина едва не кинулась на майора:

- Любовь?! Да он... Он... Какая любовь, к кому?!

Подполковник склонился к уху жены и витиевато выругался:

- А ну, в машину! Дома разберемся, что ты тут делаешь и почему так одета.

Через семь дней с ноги майора Константина Будницкого сняли гипс, а через две недели он получил новое назначение, с повышением и убыл с молодой супругой к своему месту службы.

Ара Мусаян

Однажды летом

Не знаю, имеет ли какой-либо смысл переводить *отрывок* – книга два года всего, как вышла во Франции – даже если мы его, за неимением под рукой карандаша, читая в сквере, под липами в цвету (и периодически начиная чихать, но это к нашему рассказу существенного отношения не имеет...) – поместили таки ногтем, по привычке отмечать все места в читаемом, где мы сходимся с автором, имея, конечно, в виду, что, в отличие от стихотворения – вещи, по определению, цельной (а то зачем ему все эти тропы, строфы, размеры), ни от чего предыдущего и последующего не зависящей, в романе эпизоды не просто чередуются, а вырастают один из другого, и что «отрывок» этот нами самими вовсе и не читался как «оторванный» от общей канвы, а наоборот, как некое ее органическое развитие:

Брат, по-видимому старший, пригласил брата с подружкой погостить у них с женой – Жанной, бывшей семь лет назад любовницей брата (о чем узнаем по издательской аннотации и чего, конечно, старший, возможно, не знал) – на яхте;

Неаполь, жарница, младший никогда на море не плавал, морская болезнь; отдает себе отчет в нестандартности ситуации, и уже в самом начале, опасается того, чем, очевидно, лишь может кончиться непродуманная встреча со своей бывшей любовью;

Капри – куда они вскоре придут – полон туристов, магазинов всякой всячины.., но я забегаю вперед, а пока парусник только держит к острову курс (час, два мореплавания от неаполитанского причала?); старший, явно еще покровительствует младшему, советует прикрыться от солнца, находит ему в кабине старую моряцкую фуражку и – продолжает рассказчик:

«Хотя я прекрасно понимал пользу от вещи, мне было как-то трудно с ней свыкнуться. Не переставая, я снимал ее, разглядывал и снова надевал. И опять снимал.

Кепка была фиолетово-синего цвета, слегка отцветшая на солнце. Несмотря на то, что год, указанный на передке, не был отдален во времени, никак не мог вспомнить, что я делал в 2011 году.

Мысль, что это может повториться года через два-три, когда захочется вспомнить что-нибудь о переживаемом сегодня, меня расстроила, Настолько, что заставила задуматься, переживается ли мною что-либо, в настоящую минуту. Во всяком случае, внешне, ничего не происходило».

Венсан Амендрос – автор «Однажды, летом»; согласно аннотации бывшие любовники кончают тем, что сближаются. 86 неплотных страниц, что больше говорит о собранности и эффективности слога, нежели о возможной скудости или надуманности сюжета. Остановился на 30 странице – дольше сидеть под липами было некуда – но, уверен, что, на фоне общей новизны романа, особенно запомнится именно этот мимолетный «отрывок».

*

Всегдашняя трудность с пониманием слова «субъект» – в отличие от «объекта», чему на русском есть аналог – «пред-мет»: то, что мы мечем (копье) или из себя выметаем, как мрачные мысли... или во что *метим* (мишень). Но если лат. «об-» – это «пред-», то «суб-» – «под-», и результат, который мы получаем, представляется несколько озадачивающим: «под-метка» или то, что остается после «подметания» – чистота пола, голый пол – *ничто*: то, на чем не осталось малейшей *пылинки* и которое само по себе ничего не представляет, кроме возможности размещения – на очищенном месте – всякой нужной и ненужной мебели, или где можно ходить, или куда можно ронять, бросать, *метать* – некоего рода «экран», на который *проектируются*, если не фильмы, что удобней на *стене* (которую редко «подметают»...), а как раз (ибо подметка – это и есть *подошва*, «подноготная» – *основание*, без которого полностью теряет смысл видимое обуви – *облицовка*) те самые «предметы», за или *под* которыми скрывается «субъект» и которые он от себя отторгает – *мечет*, чтоб видеть их *перед* собой, так что, в итоге, получается, что *мы-то* – *Я* – и есть *субъект*, что до Канта, например у Спи-

нозы, звучало «субстанция»: то, что «стоит под» – и так подтверждается наше отправное предположение о «предмете» как выметаемом из нас – как рыбой икра (или, как Адамом имена, классы, отряды, роды и виды животных, предметов, явлений – им самим, заметим, за- или под-меченные в своем непосредственном – райском, а затем, как мы знаем, поднебесном соседстве).

Так что *субъект* – это не тот, кто *свысока* наблюдает за предметом *у своих ног*: не только *голова*, но и то самое «подготовленное», служащее обоим основой, и все эти «вверх», «вниз», «вперед», «назад» – лишь проекции, проекты (движений, *действий*), и уясняется, наконец, смысл диалектического «единства объекта и субъекта»: нет ничего реального, действительного, *действующего* – кроме «духа» (Гегель), *внутри* которого *разыгрывается* театр бытия...

И вот момент перехода *про-екции* – к *инъ-екции*, или «внутреннему» (лат. *nutritio*), *питанию*, где предмет перестает быть *пред-метом*, и вбирается внутрь, поглощается. Снятие расстояния между объектом и субъектом: предмет *субъективируется*, тем самым *питая* духовную основу в момент, когда последней надо обеспечить самой себя продление (дыхание, еда, совокупление).

И только искусство и его произведения не подлежат никакому употреблению, использованию, эксплуатации (несмотря ни на какой одноименный «рынок») – чистые *продукты* (лат. *dis, duct*) духа.

Д о б а в л е н и е: «Женщина как *субъект* вожделения, а не только предмет» – профессор Барбара Финкен по франко-немецкому ТВ-каналу ARTE... Наконец, выясняется, благодаря женскому вмешательству в наши, преимущественно-таки мужицкие философские дела, что субъект, это не только то, что «метается под», а и «выметается из-под»: центр откуда, желание, вожделение, похоть зарождается и устремляется на «предмет» (мужчину или что другое).

«Vögeln ist schön» = *Baiser, est beau* = «Fucking is beautiful» – заглавие книги Ulrike Heider – участницы событий 1968 г. в (Западном) Берлине.

Какая связь и есть ли она – между Vögel et Vögel?

Самые первые «наглядные» случаи случки – если не для библейского, то для лесного тевтонского Адама – были птицы?

*

Патетическая фигура французского философа, профессора Сорбонны – Алена (Эмиль Шартье). Малоизвестного за пределами Франции и полузабытого в самой стране. На старости лет застигнутого Второй мировой войной, которая для французов была Третьей, навязанной им со стороны Германии. В 72 года можно было проклинать судьбу, продлившую ему жизнь до такого скорбного дня. Алена, чей «Неизданный дневник» – несмотря, тут и там, на антисемитские выходки, «не обеленные», как могло бы быть сделано самоцензурой издателя, на днях издали, в отличие от «памфлетов» Селина, которые собирались, но к счастью, передумали,,.

«Трагедия» пожилого человека, родину которого (хоть и «философа» – но можно ли у кого-либо отнять любовь к родине!..) после короткой схватки, повергла оземь «голая сила» Немца, и остается лишь сделать последнее усилие: смириться с «праведностью» Силы, и – философски – искать спасения в одной «экономической жизни» (что напоминает вольтеровское «надо возделывать свой сад», но и, *a contrario*, рабство евреев в Вавилоне, Египте...).

Болезнь ли продлила ему жизнь – иногда и такое бывает – как бы то ни было, Алена переживает конец войны, и умирает в 1951. Но «голая сила» лишь перешла к другому, теперь она принадлежит изобретателю атомной бомбы, и для остальных наций, французов, в первую очередь, от этого коренным образом ничего не меняется: вся «свобода» и «права человека» отныне призваны ограничиваться сферой «экономической жизни».

Интересна эта борьба философа с самим собой, постыдным чувством «антисемитизма» – и, в итоге, поражение.

Два момента, с которыми он связывает в своем сознании понятие «еврея»: Библия и «миллиарды» (Вторую мировую он определяет как «Иудейскую войну» – ср. Флавий Иосиф – и намекает на «миллиарды», которыми ее финансируют). Но сколь бы ни был он «философ» (в его активе свыше 5000 «Раз-

говоров» на всевозможные философские и политические темы) – очевидно, что роль Библии, которую он признает на словах как первостепенную в судьбах человечества, он так до конца и не постиг умом, и потому не мог решиться между Св. Писанием и пресловутыми «миллиардами»...

А не ясно ли сегодня каждому, что такое принесла Библия «старому миру» – прекрасному для редких (тогдашних «олигархов»), но адскому для большинства поверженных в рабство: единый бог делает из каждого из нас – *индивидуумами*, а не «пушечным мясом» в войне всех против всех. Свобода приобретается не иначе, как послушанием Одному – всевышнему Господу богу: нет свободы без *подчинения* – Единому, то бишь, самому себе.

Посмотрим, что нам принесет китайский мессианиззм, если только ему, как пророчествуют газеты и журналы, уступит мессианизм янки.

*

Вера *перерастает* (сама по себе, без постороннего вмешательства) в *знание*: таков смысл *монотеизма*, когда он отказывается от олицетворения (Адонай, Элогим, Яхве) – и переходит к идее безымянного и непознаваемого *метафизического* принципа.

Иудаизм – религия в какой-то момент уже не веры, а знания, причем самого высшего, спекулятивного, к которому одновременно пришли разве что философы Греции: *бытие* – Парменида, *единое* – Платона; но у иудеев, как позже у Магомета, это знание сразу воспринимается как общее достояние, не *факультативное*, как у греческой элиты, и преподается всем «прихожанам» Иерусалимского храма-университета, призванных приобщиться (будущее христианское «причастие») к знанию об Едином – *объединиться* в этом знании; отметим такую же организацию храм-университет у магометан, последовавших и здесь примеру старших – иудеев.

Получается, в отличие от греков, целый философ-народ, что, конечно, менее «классно», более равноправно – и могло лишь вызвать опасения у более иерархично настроенных соседей.

И тогда как, в итоге, сознание Единого вылилось у иудеев в

некую «философию для всех», мусульман оно завело в тупик фанатизма: «нет ничего, кроме Бога», что, естественно, идет вразрез с *христианским* исповедованием, где Бог – *ничто*, пока человек не произнесет его имени.

*

Принято противопоставлять Афины и Иерусалим, *разум* и *веру*, а есть этажом выше и *расчетливый* разум (лат. *ratio*), альфа и омега которого – *учет* всего, что сознание может выделить в своем окружении или на что это «окружение» *разделить*, и переживающей себя в *вере* – нерасчетливой, расточительной и отчаянной жизни, а именно: *живая мысль*, где человек уже не выступает как противостоящий миру и его бесконечному многообразию – *наблюдатель*, а *сопроводитель*, и философия, вместо очередной попытки *построения*, как в игре «конструктор», находит, наконец, свое окончательное выражение в гегелевской *феноменологии*, заодно поглощая в себе теологию с центральной в ней – *эпифанией*;

и – так же, как понятие Единого *открылось* сначала Аврааму, а затем к нему *пришли* греки (Парменид, Платон...),

так и «живое мышление» первоначально обнаруживает себя у «изобретателя» *Троицы* (конкретная фигура *жизни*, ее самополагания и самопознания) – Филона Александрийского, и дождалось Гегеля для понятного – *понятийного* философского изложения.

*

Теофраст – ученик Аристотеля – о евреях (из последних двух минут телепередачи) – как о народе, мы уже говорили – *рожденном философом*...

Но – Бог философов не тот же, что боги наций: один – мира, другие – войны.

*

Афины (греки, философия) смотрят мир внешне, со стороны, как на предмет вожделения, обладания, завоевания –

Иерусалим – изнутри, как на нечто уже свое, а потому, в перспективе могущее лишь быть отчужденным.

Земля «обетованная», то-бишь, даренная, чудом выпавшая на нашу долю, за которую не проливалось крови и потому – нелюбая.

Еврейское самонеприятие, вылившееся в *общечеловеческую* христианскую «любовь».

*

В вере содержится большая доля *хотения*: хочется кому-то довериться, чему-то себя посвятить-пожертвовать, с чего и начинается вера – в Христа, Магомета, в английский фунт-стерлинг или американский доллар...

Или — в философскую доктрину, научную гипотезу, певца, футболиста, марку кроссовок...

*

Религии света – везде на земле при себе,
религии *земли* – у себя только на кочке.

*

Почему-то удалось *засудить* Сократа, но не Демокрита, тоже судимого, но лишь за разбазаривание (*собственных*, заметьте) средств на будто бы никому не нужные поездки в дальние экзотические страны – Индию, Египет...

Сократ «растлевал молодежь» – в чем никто не мог упрекнуть атомиста Демокрита (благо, не успевшего изобрести «бомбу»...), политическая философия которого призывала к искоренению вредных – растений, насекомых, животных, но и внутренних и внешних врагов.

*

Есть момент «фашизма» в религии – «сплочение», по Цицерону, откуда и самопротиворечие понятия «универсальной» религии.

*

Мир, как большой кусок масла ножом делится надвое, и каждый кусок, как дождевой червь, продолжает жить своей жизнью: один сразу плавится на сковородке, другой в упаковке хранится какое-то время в холодильнике.

Одним из таких отделившихся «кусков» жизни является не что иное, как «замороженный мир» искусства, и уже все, что касается «куска-материка» и его возможных мучений на сковородке прямого отношения к нему не имеют.

*

Как – у Гегеля – историей человечества движут на разных этапах отдельные нации (Армения в свое время сыграла немаловажную роль, сегодня почти полностью забытую, в распространении «доброй вести» своим исключительным контингентом мучеников, первой провозгласив христианство государственной религией, разработав каноны церковной архитектуры и донеся их во все христианские земли, вплоть до Ирландии и Владимирской Руси),

так и в философии, музыке – немцы; литературе, живописи – французы; скульптуре и архитектуре – итальянцы...

В религиях, особенно монотеизмах – семиты, на фоне преобладающего пустынно-полупустынного ландшафта Ближнего Востока.

Роль наций: либо участвовать в игре «История», либо дольствоваться местом экспоната – более или менее видным, более или менее неприметным – в исторических *музеях*.

*

Почему никто не предложит новую, пусть не «науку», предмет – *религиологию*?

*

Читая «Человек ли это?», сравниваю испытываемое по ходу дела чувство удрученности с аналогичным от недавнего прочтения «Первой любви» Беккета, и в памяти, последнее было сильнее, казался безысходнее – если только можно представить себе что-либо более обезнадеживающее описываемого в книге итальянца.

«Абсурд», или *литература* – убийственной «фотографической» картины лагеря смерти?..

И вспоминается пассаж у Леви (что такое было и у Толстого): «Рано или поздно всем становится понятно, что абсолютного счастья в жизни не бывает, но лишь немногие открывают для себя эту истину с противоположного конца: не бывает и абсолютного несчастья».

*

Есть в народе понятие «природы-мачехи», и не исключено, что небесный «отче» отсюда и ведет свое происхождение, как некий против фурии – оплот.

Но вот, со временем, из-под небесных туманностей не совсем надежный «оплот» переключивается, наконец, на твердь – под новым именем Капитала, и новая раздвоенность разделяет отныне не человека с природой, а безличные деньги с телесными людьми.

*

Приходит в голову формула: «глубоко *разумное* подражание» – Камю Кафке в «Чуме».

*

После «Чумы», случайно попавшейся на даче и наконец, прочтенной, вновь вспоминается высказывание Фрейда – по пути в Америку – о психоанализе как чуме, которую он им туда везет.

Чума, или «полноценное сознание» смерти – *без прикрас...*

Маркс заменяет религию практикой: построение рая *здесь и сейчас* собственными руками.

Фрейд... не заменяет ничем.

Для философа, после личной жизни продолжается жизнь родовая; для теоретика душевных переживаний, со смертью индивидуума кончается *все*.

*

Вариация на тему: страшнее всех – не насильственная, ни даже естественная, а та, что приходит неслучайно – беспри-

чинно — когда, со временем, исчезают жизненные заботы, заодно и щедроты, и остаемся лицом к лицу — ни с чем...

На пляже, лицом к морю (и заходящему солнцу), где только что волной унесло очки...

Небытие как страх абсолютного отчуждения — уже не от близких, родни, а от самого что ни на есть материального — как эта бессмысленная песчаная протяженность, омываемая таким же напрасным океаном.

*

Глаз — для видения мирских красот, слух — для сигнализации тревоги, язык, руки — для разного (иногда одного и того же) наслаждения, получаемого от наличествующих благ, либо силой добываемого от окружения; нос — раздвоенный — наполовину для приятных, наполовину для дурных запахов...

Потому и так тяжело расставаться со зрением, гораздо легче — со слухом (откуда и центральное место музыки в наших жизнях: пока не оглохли полностью, музыкой маскировать ужас существования) и — почти равнодушно с обонянием...

*

Как Фрейд открыл нам глаза на детскую половую озабоченность, а до него Св. Августин — на смертельную зависть еще грудных детей к соперникам по материнским соскам, так и отвлечение к престарелым, всем своим видом возвевающим о неминуемости их скорой кончины, порой выливается в открытую агрессию...

И вот, вместо невинных капризов — издевки, заговоры, удары (кулаком в спину сгорбленной) — и даже годовалая малышка, хоть и не избегает прабабушкиных колен, а таки отвергает ласки, увертывается от лобзаний — каким-то скрытым наитием чуя в них дуновение смерти.

*

Онанизм: забирать из общего достояния свою долю, не оставаясь при этом ни перед кем в долгу...

Старуха вполне еще мобильная, но никому из присутствующих на даче не выказавшая и тени намека о своей еще не угас-

шей чувственности — застигнутая за полночь перед экраном телевизора с опущенной пижамой, обеими руками — Вальпургиева ночь! — ласкающей себе промежности.

*

Столь глубоко впиталась в нас *мораль*, что *все нутро выворачивает*, когда, наконец, решаемся, и нам «везет» — выйти на страницу «паутины» со сценами *реального*, не разыгрываемого сексуального насилия...

Тут-то и постигается специфика *эстетического* переживания: нам «рисуют» — не снимают отгиск с действительности: искусство поднимает проблему зла, не вовлекая в него — откуда и возможность романов Сада и их литературного восприятия, несмотря ни на какие описываемые в них ужасы...

*

Не «привыкание» (к наркотикам, алкоголю, сексу...), а компульсивная склонность, непреодолимое стремление взять что-то в рот, *поглотить*, потребить — со временем перерастающее в привычку, от которой уже не будет «отвычки».

Желание чем-то заполнить — не только и не *столько* ротовую или еще какую полость, а самое существование — безбожную его пустоту... Скука — но уже без никого вокруг: «Мама, а что нарисовать?»

Заняться, обмануть ребенка в нас — отвести минуту метафизической жути существования.

*

Наука — искусство... Первая находит законы в природе: вооружается телескопом, микроскопом, аппаратами, препаратами и, в итоге до чего-то таки докапывается; одного-двух открытий хватает на голову ученого. Другое дело — художники: не ищут, не «находят», а создают — выдвывают руками, ногами, мускулами лица, мозгами — фигуры, формы, фокусы, выкрутасы...

Все это, однако, справедливо и в отношении изобретателей, промышленников, предпринимателей... И хотя вначале ими движет самый обыкновенный корыстный *интерес*, в итоге, их нововведения идут всё-таки на пользу всему человечеству: само-

лет, телефон, патефон... а сегодня, и интернетом обнародованная – «демократизированная» – *порнография*, избавившая, наконец, новые поколения от пут Амура и Психеи... А кого еще – кроме библиотечных крыс – может волновать судьба Дафниса и Хлои, Гомер, Дон Кихот, «Идиот»!..

*

Делать и – делить (и вспоминается «разделение труда»).

«Делать любовь», на первый взгляд, не звучит, а так – *учит*: любить, это с кем-то делиться – *чем*, в этом и весь вопрос.

*

Возраст, в какой-то момент, это – когда мир вокруг нас постепенно начинает ограничиваться стенами квартиры, общество – соседкой по лестничной клетке, семья – женой:

от 70 до 90 лет?

А потом – одной лестничной клеткой, одними нами – если бог накажет жить до и после ста лет.

*

Чем больше у нас времени, тем быстрее оно *течет*.

А вскоре, глядь, и вовсе истечет...

Чем больше «свободного», незанятого, *пустого* времени – уикенды, отпуска, пенсия – тем стремительней оно у нас в п у с т у ю и тратится.

*

Каждый вечер, перед отходом к сну, знать, наверняка, что ничего нас завтра утром не ожидает другого, как повторный день, который так же, как сегодняшний, закончится, примерно в этот же час, очередным отходом к сну.

*

Ситуация (связанная с возрастом?), когда – не обязательно посередине ночи – ничто уже (ни по радио, ни из собственной дискотеки, ни в окне...) нам ничего не говорит, не питает нашу одревеневшую внутреннюю губку...

«Маразм»? Смотрю этимологию: изнурение, испепеление, и уже – никакой способности поглощения.

*

В супермаркете, среди *встречных сверстниц* (ах, как интересно!..) – послеобеденное время, все еще на работе – пытаюсь изобразить себе, секунда дури, одну-другую – с раздвинутыми напроочь коленями и – о, ужас! – лоном... Ничего, как ни крути, не получается – отказ воображения.

*

Глубокой ночью, слушать по радио объяснения сексолога (в культурной передаче о месте порнографии на современном этапе мировой цивилизации...), что женщины в порно-роликах жаждут сцен, не то что унижительных, а где таки 1) им обязательно связывают руки (невозможность сопротивляться) и, 2) они окружены – не одним, не двумя-тремя, а бесчисленным количеством пенисов, своим множеством знаменующих ее сексапильный капитал. Естественно, как и противоположные фантазии мужчин, этот интерес не выходит за рамки фильма и не проявляется в нормальной жизни... Сложность женской сексуальности: не прослыть шлюхой, ибо обществом ей назначается быть либо «мадонной», сказала психолог, либо блядью. Откуда невозможность расслабленного сексуального удовольствия иначе, как с мужем, любовником, другом с которыми установилось атмосфера доверия, а не со случайным встречным, тем более, насильником. Интересно было услышать это лишний раз со слов специалиста...

*

«Любительские» – дешевые порно-ролики, *дешевые* стандартностью их усталости повторяющихся сценариев, но где, все же, моментами проглядывает нечто «из жизни»: закулисная хроника съемки...

Объявление в местной газете о найме ладненькой средних лет блондинки и парня с выше среднего физическими показателями и маломальским опытом применения;

моложавая «мадам Бовари из Мценска» или кассирша из со-

седнего супермаркета отвечает на анонс,

и, вот, *она* – свободная от предрассудков тридцатилетняя, уже чуточку отцветающая, перед вами на экране в соответствующей позе, время от времени оглядывающаяся на напарника (которого впервые видит в глаза) – и, в момент ключевой «ненормативной» концовки, давно, видимо, девицей не практикующей, а может, только в первой, невольно про себя ухмыляющаяся,

внося живительную нотку в эти трогательные образчики творческой самодеятельности.

Порнография – театр, где от актера (актрисы) не требуется никакого особого – художественного – дара.

*

Насилия, надругательства над женщинами (маркиз де Сад и др.), и, вообще, убийства:

мечь жизни (*дат. п.*), за то, что она, вообще, *есть*.

*

Женственность нигде так не проявляется *чисто*, в своей «нагоде» – как в кистях рук, волнистости запястий – органистки, исполняющей – божественно – что-то божественное из репертуара, да еще и, когда камера меняет свой прицел – с азиатским профилем.

П

Доселе оставшаяся незамеченной диалектика Свободы – Равенства – Братства, обнаруживающаяся, лишь если мы поменяем последовательность членов, а именно:

1 – Равенство, откуда, 2 – Свобода (всех от всех), 3) Братство, или любовь всех ко всем.

Переставив члены «троицы» – не она ли навеяла псевдоним наркомму (захотевшему ее восстановить в первоначальном виде), Свободу поставив на первое место, буржуазия лишила смысла, выхолостила два других члена уравнения.

Братство, или любовь всех ко всем, а раз уж Свобода, то – Власть (волесть, воля), и уже – нелюбовь.

*

«Свобода» – антиобщественный лозунг: антиколлективистский, антисоциальный, антифашистский, антирелигиозный, антикорпоративный и т.д. Эксплуатация человека, это – низведение ближнего на уровень нечеловека, или существа, с которым нас ничего святого не связывает: абсолютный разрыв, а не относительный, как в Индии между низами и верхами. И лишь революция или, в индивидуальном плане – преступление, может преодолеть этот невидимый «железный занавес»... Потому и «братство» – которое у революционеров поначалу мыслилось впереди триады, своевременно заменили «свободой» – эксплуатации людей, животных, ископаемых...

Но – не забывать, что у буржуазии один непобедимый союзник – свобода мысли, ум, если не сердце.

*

У Исаяи Берлина: 1903, Лондонский съезд большевиков. Плеханов, вслед за ним Ленин проповедует курс на применение силы, отказ от долгих разговоров: не нянчиться с отсталыми, испорченными буржуазией массами, а лепить из них «нового человека».

Но, ни Берлин, ни Ленин, не знали о заметке (в «Немецкой идеологии», тогда еще не опубликованной), что победа пролетариата возможна лишь в масштабе всего мира; ленинский курс был бы логичен в таком, и лишь в таком всемирном контексте, а получилось, что пока советский народ силился верить лозунгам партии о светлом будущем, «свободная» половина мира плясала у Москвы под носом рок-н-ролл: чувственное всегда побеждает разумное.

Вот и получился социализм в одной (такой) – Стране Советов.

*

Когда-то философия одолевалась, страница за страницей, как долгий путь альпиниста от вершины к вершине, сейчас доста-

точно оказалось одной газетной статьи, чтоб весь Хабермас представился нам, как на ладони (коль скоро конечная цель любой философии – п о л и т и ч е с к а я, как начальная цель религии – з е м л я, для каждого «своя», «святая», а иногда, как в Палестине – одна на целых три:

федеральная Европа (по схеме Федеральной Германии?), а в перспективе, «Федеративная всемирная республика» (я бы предложил модель Союза Советских, где, с грехом пополам, царил мир между великими и малыми народами).

Что могло быть, за всю тысячелетнюю историю философии, глубже и жизненней этой простейшей, состоящей из всего трех слов – идеи: сосуществования под одним планетарным небом всего исторически унаследованного разнообразия народов и культур без обязательного соперничества и, в перспективе – распрей и кровопролитий...

Мне возражат: а как быть с «дубинкой», везде по сей день выполняющей главную роль во всех миротворных процессах, ведь одной «морковки» не достаточно: люди, известное дело, зачастую жаждут крови больше, чем морковного сока;

что делать с «жизненным пространством», и можно ли безропотно подчиняться постановлениям анонимных чиновников «всемирной администрации» и так, до конца времен?

*

Читаешь интервью художника, скульптора – гений; смотришь на «продукцию» – о, убожество, о, безнаказанность!..

*

За двадцать, двадцать пять веков Европа выдвинула двадцать, двадцать пять великих имен в разных областях искусства; так и *джаз*, за свой единственный двадцатый – одного Эрrola Гарнера.

*

Боги тоже смертны, но только если кто-то отважится столкнуть их с пьедестала...

*

Гений – не от родителей, а *места*: не в Гамбурге, не в Берлине, а в захолустном Тюбингене два товарища по гимназии схватывают одновременно «дух времени» – как схватывается грипп или холера... и недаром Фрейд уподоблял свое открытие чуме.

Но есть в нас *гены*, более или менее «иммунные» к тому или иному микробу, вирусу, бацилле...

*

Лишь тот возвысится до *истины*, не попадет впросак в минуту смерти (а что, собственно, значила вся эта, вокруг нас – суета?..), кому посчастливится понять и *смириться* с мыслью, что *мир человеческий* все глубже и всесторонне вытесняет, заменяет и вскоре окончательно отменит *мир природный*.

Уже греемся и освещаемся не солнцем и не пламенем, едим и пьем сами не знаем что, но не фруктовый сок, и даже не воду, и не за горами изобретение, которое избавит род человеческий от рабской необходимости *дышать*, тогда-то человек и обретет Свободу и все свои силы сможет сосредоточить на единственном человеческом в жизни – *славе*, примерно, как сегодняшние спортсмены, принимающие всякую химикалию, лишь бы завоевать титул, побить мировой рекорд.

*

В Библии первым выступает «познание», о «вере» разговор зайдет гораздо позже...

Библия – книга мудрости (первое упоминание *веры* – в Новом Завете).

Вера – не обязательно ли в идола?

*

Атеизм, или четвертый «монотеизм»: отрицание Бога, но через его же, хоть и «голословное» – *утверждение*.

*

«Религия – опиум»..?

Тогда искусство – кокаин?

*

Странное, скорее всего *случайное* совпадение между арм. *арев* (солнце) и рус. *зарев*о.

*

Что произошло, в промежутке между XVI веком Эразма и уже XVIII (не говоря о сегодняшнем), чтоб «великие мира сего» так пренебрежительно и демонстративно отвернулись от философов, художников и чтоб дошло до того, как позволили умереть Моцарту, всеми забытому и брошенному, или как Вольтера дозволено было пороть розгами как представителя третьего сословия...

«Немецкое свинство», позволила себе о «Милосердии Тита» только что возведенная в ранг императрицы Мария-Луиза – к презрению к композитору примешав презрение к народу. И это – накануне отмены Наполеоном в Европе всяких сословий и привилегий.

*

Вера в ангела-хранителя, специально о нас пекущегося (дабы избежать нам *пекла* в аду) — чуть ли не у каждого бывшего жителя «Одной шестой»...

Одни тайно продолжают веровать в избрание древнего племени иудейского, в гений его генов, а у кого нет ничего наперед заготовленного (от слова *Gott*), сами себе создают — делясь с читателем в романах полу-плутовских, полу-набожных.

*

Умопомрачительный успех (у авторов толстых и «худых» литературных журналов) – античного ручейка Леты: когда-то (в детстве) замеченное и навсегда укоренившееся в памяти парадоксальное *созвучие* с «летом»: сезоном *жизни*, любви...

И этот до невозможного простой, незамысловатый механизм продолжает у них работать до самого «респектабельного» – как говорят французы – преклонного возраста.

*

Вопрос: что страшней — расстрелы в подвалах НКВД по не-

гласной, но официальной методике (ГОСт?), геноциды (армянский, еврейский... с их миллионными контингентами жертв) или использование японцами в холодильных камерах советских пленных как *подопытных животных* — всего, порядка трех тысяч — в Манчжурии, в ходе все той же — отныне без начала и конца — *войны?*..

*

Художник живет в настоящем — сиюминутность его прозрений, вдохновений, философа же интересуют начальные и конечные «цели» — творения, существования (все то, что выходит за поле зрения «детской» чувствительности и любознательности художника).

*

Есть люди, писатели, литераторы, для которых малейшее «литературное» в вещи делает из нее «уже литературу», а есть — которые беспощадно бракуют все, при малейшем чем-то «нелитературном».

*

Дух протестантизма и связанного с ним (Вебер) капитализма: создавать условия (достойной) жизни, но — как Моисей — не переходить порог «земли обетованной».

Откуда и (долго-)вечность капитализма, которого не могут «свергнуть» никакие революции: работает на общее благо, не тратит деньги на роскошь, а лишь вкладывает во все новые предприятия по улучшению средней доли человеческой.

*

«Жизнь» — это когда нам светит, кроме вечных ежедневных упражнений, одеваний, умываний, разного рода приготовлений одно-два солидных, достойных слова — *удовольствия*, как: сие-ста после слегка утомительной утренней прогулки и обеда, а вообще, надо бы полностью поменять образ жизни, бросить оседлость и переезжать каждый день в новое место, новый регион, а то и новую страну или континент — Африку, Австралию, Японию...

*

«Чрезвычайно одаренная личность», да – но одаренность *от природы*, и, стало быть, вместо «личности» я бы применил более подобающее... «личинка».

*

Хотение: предположение, *воображение* некоей для нас не совсем закрытой «перспективы».

В абсолюте, нет ничего, что не *могло бы быть нашим*: так рождаются Донжуаны, Ловеласы, Рокфеллеры, Наполеоны...

*

Джаз – потомки рабов, подражающие хозяйскому «образу жизни», разыгрывающие «героев нового времени».

Поистине кафкианская *трагикомедия джаза*.

*

Замешанность рабства одних – в свободе других.

*

Кроме как в школе, везде существует потребность в *новизне*, – и *мода* ни о чем другом не говорит: не предписание, а обновление или воскрешение забытой конфигурации – одежды, обуви, головного убора... Прическа как головная архитектура!..

Сто раз читали об одних и тех же переживаниях, в одних и тех же бесконечно повторяющихся размерах, ямбах, бог весть каких «тропах» – ни у кого, кроме самого писака, не выжав и слезы.

*

Один мой современник, особенно скупой на слова, начинает свой веховой «пунктирный» опус с «К. Леонтьев был прав» – точка.

Леонтьев – легендарный автор одного высказывания: «Без этих Толстых можно и великому народу долго жить, а без Бронских мы не проживем и полувека», чем и заслуживает, в моих глазах, всемирного признания. Нет противостояния более

острого, как между поэтами и политиками, нет числа поэтам – жертвам того или иного тирана, органа госбезопасности, но – поэты, как философы, принимают и идут на смерть, не ропща, зная, что не будь того государства, где они родились, не было бы и их – поэтов, философов...

У французов есть выражение *tremper ses mains dans le cambouis*, дословно – запачкать руки дегтем. Что и делают политики, не отступая, когда надо отстоять толику территории ни перед какими – осквернениями.

*

Невозможно – чудовищно «неблагодарно» было бы отказывать в хвале тому (в смысле, «то», не – «тот»), что так щедро и безвозмездно с каждым рассветом удостаивает нас радостью существования и участия в общей суете...

Но незазорно, иной раз, придать этому *неопределенному* некий «моральный» – *человеческий* облик, олицетворить «это самое» (которое обычно называют «природой») в некоей фигуре – доброго деда-мороза (зимой), прекрасной девы-Венеры (весной, летом), а осенью, уже готовиться к мысли, что все «это», рано или поздно, призвано безвозвратно убыть.

**СОНЕТЫ НЕМЕЦКИХ
И АВСТРИЙСКИХ ПОЭТОВ**

Йоханн Вольфганг Гётэ* (1749 — 1832)

Радости юного Вэртэра

От ипохондрии, уж и не знаю как,
Скончался юный человек, и как и всяк
Был похоронен после пересуда.

И вот проходит мимо милый Дух,
Который от большой нужды притух,
Как то случится и у люда.

И прям могильный холмик где
Дух, кучку наложив в нужде
И оглядев её, в дороге снова
Не удержался, радостен, от слова:

«Как постиженья бытия
Тут извела тебя морока,
О юный человек, опорожнись б как я,
Тогда б не помер ты до срока!»

**Написание имён и фамилий приближено к их звучанию на немецком языке.*

Альфрэд Лихтэнштайн (1889 — 1914)

Нечто для бледного неоклассика

Ты — прежде Август — чувствуешь себя теперь Еленой.
Дотоль: и прелесть шлюх и спекуляций пляс,
Поэзия армад берлинских с их призывной пеной

В лазури греческой весны исчезла в тот же час.

Иные времена. Зрелый муж станет ныне:
Светлей, приятней, мягче — скисшая душа.
Щебечешь с властью ты и пылом трелей при камине
Из смазки глотки песнь свою, что негой хороша.

Красиво ты за классики фасады,
Перенимая, переносишь журналистский гам,
И на раздутых парусах под веткою награды
Пристанешь вскоре к самым тучным берегам.

И кто ж на имитаций флейте трелит как кумир:
Заёмный Гётэ и Лжешекспир.

Якоб ван Ходдис (1887 — 1942)

Город

Как этот гордый Град алчбы красив среди разрухи!
И нищетою своей, чья изобильна брань,
И кривизною улиц, что в лепнине глУхи.

Откроет контуры его нахальный день как повитухи.
Дома заляпала уж пылью с гарью рань,
Рябит в глазах от спешки, фур, куда ни глянь —
Робея, жёны, и мужи, и, всё бледнея, шлюхи...

Впериться взглядом в эту роскошь, что есть мочи,
Под ней провидя затхлость давок толп под гам
Тех, кто, до строгости тупого дня охочи,
Его господство славить будут тут и там.

(Их тянет только в тесноту, к пристроенным углам.)

Но дай дожждаться всё ж недужной ночи,
Грозящей проблесками мысли нам.

Рудольф Леонхард (1889 — 1953)

От города к городу

Пройди через Берлин! Где муть огней ночами
к асфальту мокрой грязью липнет, и в распаде
подводы стыннут, и в строений смраде
вдрызг измождённые, работы выжаты часами,

бледнея, падают, меж тем как за дворами,
в проулках, примостясь по выступам в ограде,
ублюдков шайки ждут в своей засаде...
Все жить хотят, любить, как судьи сами

себе, другого ненавидя. И над Града ржавью
призывы к революции в грохочущем вулкане:
О братьях вспомни, что не спят в Милане,

в Нью-Йорке, в Лондоне, в трущоб тумане,
и о Москве, где лишь отвагой масс зажжён уж ране
Огнь революции в борьбе, всем ставший явью.

Эльза Ласкер-Шюлер (1869 — 1945)

Осень

Я на пути последнюю срываю маргаритку ...
Мне саван Ангел сшил для лучшей доли —
В миры иные без него мне смочь войти едва ли.

Тому Жизнь Вечная, кого слова любви звучали.
Воскреснет только человек Любви от Божьей Воли!
В склеп ненависть! Огни б её как ни вздымались с пали!

Столь много я хочу сказать в любви, коль стали
Ветра позёмку возметать, вздымая вихрем соли
Вокруг деревьев и сердец, что средь неволи

По колыбелям прежде здесь лежали.

Мне столько выпало в подлунном мире боли...
На все вопросы даст ответ тебе луна — из дали
Она, завешеной, взирала на меня во дни печали,
Что я на цыпочках прошла, боясь земной юдоли.

Георг Тракль (1887 — 1914)

Распад

Под вечер, лишь в колокола звонить в округе стали,
Я за полётом птиц слежу, что дивно уносимы,
Собравшись в стаи, точно пилигримы,
В осенней исчезая ясной дали.

Бредя им следом сумеречным садом,
Я светлых судеб их желаю воплощенья,
Совсем забыв в мечтах о часе возвращенья,
По лёгким облакам блуждая взглядом.

Но вдруг очнусь в дыханьи тленья яви.
На облетевшей ветви плачет дрозд над лугом,
Дрожат листья лозы ограды, рдяные на ржави,

Меж тем, как бледными детьми, томимыми недугом,
Вокруг колодца на ветру, точно в его оправе,
Синея, индевеют астры, сникнув друг пред другом.

Йоханнэс Бэхэр (1891 — 1958)

Осеннее песнопение 5

Я только разложение и вопрос,
ЛоскУт, что вкруг балкона ветер метёт.
Протест в горящем споре, где разнос,
Груз, что гнетёт Высокий Ваш Полёт.

Как дряхл и холоден, противен, неуклюж!
О чтобы в хлев ты вполз поглубже, скот,

Чтоб робкого тебя в углу, где ночи гуж,
Кинжал свалил бы вскоре на помёт.

Запутай в мгле себя, пакуя как отброс!
Козёл из носа зелен на концах волос.
Лишай луны на стоках глаз твоих что плот.

Струп — голова. И уши — стужи фронт,
И каждое из них — в парше бумажный зонт.
А из твоей вонючей пасти бурый клык растёт.

Готтфрид Бэнн (1886 — 1956)

Song мебельных грузчиков
(при судебной описи имущества)

мы тащим как облапаем,
на лестницах царапаем,
затем то можно ставить только в коридор —
то видеть должен каждый этот мародёр.

мы все обходим закоулки,
там опрокинув шнапс на булки,
шкафы звенят, и крик над дамами:
Поосторожней с рамами,

О, осторожней с рамами!
Глоток —
толчок под потолок!
кров отчуждённый теми самыми
из Club(a), кой пишет шрамами —
за миг-разок!

Георг Хайм (1887 — 1912)

Ноябрь

Дерьмо от диких обезьян как избыльа слитки

Легло по миру в ноябрь картины.
Луна тупа. По улицам, скрыв мины,
Зонты шагают. Ну а те, кто прятки,

Давно укутали себя в исподнего перины.
Лишь Хэссэ в мусоре стихов творит его избытки.
Бралась б мазня. Зад подтирать, и мнутся свитки,
Служили б только сзаду проникать в глубины.

Гусь МАртина сияет тёмной медью шкварок.
Стоит *зэоргэ штэфан* в осени наряде:
И с носа виснут жемчуга, чей свет неярк.

Сопливо-жёлт платок — автО приблизилось к ограде,
От Высочайшего в нём Места взгляд орла из арок.
Трубит фанфара: Сельдерей-Салат—в браваде.

Франц Вэрфэль (1890 — 1945)

Дирижёр

Как поднося цветок, он, лишь затихнут вздохи,
На танец скрипок приглашает лестью взгляда.
Отчаявшись, о блеске молит «медь» в пылу парада,
И флейт затрелить призывает, сыпля счастья крохи.

Пред *pianissimo* святыней после суматохи
Он на колени пасть готов, но, тишь прервав обряда,
Лохматит шторм ласточки хвост его наряда,
Когда он хлещет Tutti под грозы всполохи.

Вот заключительный аккорд сжат в кулаках пред залом,
И он, прикован к месту трат, за стихшим звуков шквалом,
Без сил, беззвучью предаётся в полной мере.

И напоследок, под оваций гром, он ряд за рядом
Спасителя усталым всех нас награждает взглядом,
Им БОльшее суля нам в обретённой Вере.

Иван Голль (1891 — 1950)

* * *

Прозелень Птицы Чернь Цветы
Языкокости Светометалл
Перобукет пернат
Рыдая из землекладки

Колокола пылают Колокола кровокипят
Красно Железо Нежны Розы
ВзбОлив обезбОлив
В таюшей скамье

Решёткокорень держит Землю
Подло обхваченной ещё
Ещё в полёте возрождаются Фазаны

Блаженство каменеющего Бунта
Музыки Бомба
Ломает Солнца твёрдое Яйцо

Йоахим Рингэльтатц (1883 — 1934)

Об одном, кому всё побоку

Я шёл, плача, проулком в ночи.
Я шёл, плача, отпущен с войны.
Я шёл, плача, под запах мочи,
Потому что наделал в штаны,
Потому что Одна та, где мгла,
Тут очистить меня бы могла
Или высмеять на полстраны.

Но я прежде был с ней на ножах.
И блуждал всё у дома впотьмах,
Весь в заботах, себя лишь вина.
И, быть может, затем бы меня

Без крыши над головой в ночи
Влюблённые у стола...

Вспоминанье, молчи,
Не буди же того кошмара,
Коим ночь без крыши над головой
для меня когда-то была.

Дорогой домой

До времени надежд других особ
Бабэттэ отдала концы, но ране куплен гроб
Племянницей. И сю при муже с телом вот,
Не опоздать с захороненьем чтоб,
ТрупоавтО на высшей скорости везёт.

Но что в Берлине не обманет взор:
У Брандэнбургских прям Ворот шофёр,
Витрину магазина повстречал в упор.

Затем племянницу он с мужем тянет — скор,
Из груд стекла, корсетов мёртвыми во двор.

Лишь труп (мы о Бабэттэ снова) труп
Спасает сам себя — отчёт в газете скуп:
Ведь, к счастью, смерть её была
лишь летаргии сном.
И вот она идёт домой! С улыбкою при всём.

Моей одежной щётке

Теперь нежней волос твоя щетина,
А прядь моя грозит сойти последним рядом.
Два раза лишь за тридцать лет была причина,
Тебя окинуть восхищённым взглядом.

И первый раз, когда ты новизной прельстила,
И вот сейчас, когда при взгляде стало ясно,

Что времени лишь чувство неподвластно,
Раз три десятка лет ты верность мне хранила.

Коль дастся верность нам удобством всё же
Иль, по обыкновенью, тем, что с ним так схоже,
Тогда она приестся — пусть и кротка.

Стыжусь ли бороде воздать я поцелуем
За то, что дрек мой должен быть
ей столько лет целуем?

Прими ж, хоть и стара ты, поцелуй мой, щётка!

Христиан Моргэнштэрн (1871 — 1914)

Жрица

Уж дремлет пагода в сапфире небосвода...
Из храмовых ворот выходит для моления
Танг-ки-ай-и — хранительница поселения
от зыби в жизни и её ужасного исхода.

Слышна из уст её лунному свету ода
Танг-Ванга — императора, цветами умиления
пирог в руках её сияет восхваления
с короной в форме крохотки-комода.

Она идёт от храма, миновав дорожку,
семью из тростника для флейт мостами
к могиле пса, забит был койи месяцу в угоду,

И крошит медленно пирог свой
в жертвенную плошку,
и месяц манит к ней согнуться
тонкими перстами,
и, губы вытянув, ему в уста влагает оду...

Фритц Узингэр (1895 — 1982)

Фавн

Крик нимф, коль в зелени они его узрят,
В прыжке уже готового напасть:
Глаза под крохотными рожками горят,
Неся кроваво пышущую страсть.

Копытами разбрызгана вода,
Сквозь ветви дичь как ураган понёс,
Но в изумрудном сумраке пруда
Одну он держит за концы волос.

И та под шерстью зверя, издавая крик,
Сначала вьётся, серебрясь, но тихнет вдруг,
И вот свечением недвижимый тронут лик,

И не противится уж воле взмокших рук
И губ в испарине, чей норов дик.
И начинает лес кружить под песнь вокруг.

Клабунд (1890 — 1928)

Гражданская рождественская идиллия

Что Дед Мороз несёт Эмили?
Букет, в котором розмарин и лилии.
Она прилежно ходит на панель, поверь!
Возрадуйся ж, Сиона дщерь!

Чего ж она бледнеет, как сирень,
Когда с небес схожу я в этот день.
Мать бродит как во сне и не идёт в постель.
О Рождества Ель! О Рождества Ель!

О что ж ты сделала, родная дочь?
Тиха так ночь, свята так ночь.
В ответ ей тихо в ухо с песнью голосок:
МамА, я от Святаго Духа понесла росток!

Папа бьёт в зубы, услышав про то едва.
Как радостно ты, Время Рождества.

Комичная элегия

Сегодня небо бело как
Мешок муки иль отрубей, и при обзоре
На воздухе бьёт в ноздри аммиак,
Всё выглядит, как снег пошёл бы вскоре.

Я спозаранку
Вспоминаю вместе с тем
День тот же, прошлому принадлежащий году:
Велосипедный двух торговков рыночных тандем,
И господина, что в такую же погоду
Одет был в нанку.

И, в утешенье при карбункуле, средь рож
Я покупаю шнапс в различных склянках,
дабы лично
Его мешать. Но где упьюсь?
Как тронуть небо всё ж
Душой, которой нынче всё и грустно, и комично?

Артур Кронфэльд (1886 — 1941)

Весна

Стоят две жёлтые и тучные коровы
На зеленеющем лугу как два пятна.
За бело-розовой оградой слышна
Шарманка, бодро рассыпая зовы.

Слепец-солдат, пожитки чьи не новы,
И обезьянка в пёстрых клочьях полотна,
Играть, что в салки с публикой должна,
Хоть вся в морщинах, презирая эти ловы.

И вот, немывты даже, все стоят вокруг,
Глазезя, дуются, как жабы, прыгнув в ряску.
И тут решается один, забыв про свой досуг,

Ловить мартышку под шарманки свистопляску.
И томный господин, в кармане шаря, вдруг
Без интереса смотрит, вогнан в краску.

Пауль Майэр (1889 — 1970)

Летняя свежесть

Двадцать четыре градуса в тени —
Как колесо нас перемалывает жар.
Повисли дамы в гамаках, но видят и они
В томах Улльштайна пошлости навар.

Мужчины, дуясь в скат, свой выпускают пар
И без болевельщиков — о, Боже, сохрани!..
Что прежде меньше всё ж налоги были за товар,
Херр в ризе егеря толкует, погрузясь в те дни.

ДолбИт рыбуля за роялем простенький этюд,
Покуда пальцы не раздует тяжкий труд,
А в думах: к флирту бы партнёр,
да в нём бы пыл!..

ЗевкА доносит шорох со двора —
Карузо-кочету вступать уж с арией пора,
Закон природы чтоб исполнен дале кем-то был.

Хуго Балль (1886 — 1927)

Любовная песня для Эуфемии

Луна, о Фемя, нам клумба жёлтая тюльпанов.
(Лучи Голландии в повальных девственниц угарах).

Мусс мозга с пылом сердца смешан: Эрос планов
Был слишком поздно —
лучше быть нам в перпендикулярах.

Пестры киоски в иллюстрациях обзоров.
Мы наживаемся на киноленте пактов!
Где километры мы в любви! По воле режиссёров!
И чьи находки нам залог для новых актов.

И, Эуфемия, коль сантиментов цепь не актуальна...
Сбежим мы в Монте —
три системы у меня от «пэров»,
Тебе одно лишь: доводить до смерти кавалеров!

Тогда наследуешь вдвойне ты, так как сексуальна:
АвТО в цвету и дом в Аббации!
Имей лишь ксиву для дальнейшей акции!

Эпитафия

Сей славный муж, несём кого к могиле ныне,
Хотя и выглядит застыло-восковым,
Но, так как каждый луч был прежде им любим,
Остережёмся с объявлением о кончине.

Он так любил внезапно — лёгок на помине —
Быть слухом Неуслышанным другим.
Из сотни рассказней, что уносились им,
Лишь медля можно бы рискнуть
поверить половине.

Поэтому, хотя его столь узкий маски рот
Закрыт, как если б не желая говорить нам боле,
Возможно, сам он, слушая, лишь ждёт...

И встанет снова, как в любой из дней дотоле.
Пускай потешится игрою в труп в пути.
Он улыбается уже, а нам так далеко ещё нести.

Владимир Батшев

20 лет журналу «Литературный европеец» и русская зарубежная литература сегодня

*Выступление на встрече русских зарубежных писателей в Ганновере
13 мая 2018*

Проф Н.Е.Андреев когда-то дал точное определение нашей литературы: ««Зарубежная русская литература естественно включает в себя все то, что претендует быть литературой и что появляется на русском языке вне границ страны. Эта зарубежная литература проникнута пафосом авторской свободы, ибо независимость авторского мнения и выбора любой формы при его воплощении в слове есть сущность литературных произведений за рубежом».

Нас здесь меньше, чем на встрече 2008 года. Это не мудрено – четверых с той фотографии уже нет на белом свете, кто-то ушел от нас, а значит, из литературы.

Просто многие не смогли приехать. Хотел приехать и не смог наш старейшина, которому мы недавно отметили 95летие, и чью книгу выпустили – Раздольский. Не смогли - из-за болезней – Порудоминский, Пруслин, Кисель.

Нас меньше сегодня, но это не значит, что нас стало меньше.

Трудно писать о событии, которое для всех нас является особой вехой, реальным осуществленным фактом, юбилеем – 20 лет назад вышел первый номер нашего журнала «Литературный европеец». А сегодня уже 243 номера – многолетний труд авторов из всех уголков Европы и Америки (и даже России). Доказательство, что журнал имеет успех, и его читают. Журнал, объединивший на своих страницах знаменитых писателей и тех, кто только делает первые шаги в литературе.

«Литературный европеец» – свободное издание, независимое ни от каких официальных структур, которым мы пытались, но безуспешно, объяснить миссию, возложенную на журнал, о его необходимости для всех нас.

Но, может это и лучше, что немецкие «инстанции» нас не восприняли, посчитав, что для интеграции мы не годимся? Мы сохранили свою независимость. Независимость от всех, кроме подписчиков.

Казалось, что начиналось все просто. Желание иметь литературный журнал возрастало с каждым днем, наперекор растущим, как грибы, во многих уголках Германии таблоидам, рекламным листкам, дайджестам и псевдолитературным журналам.

После публикации в феврале 1998 в газете «Контакт» информации о создании Союза русских писателей в Германии и грядущем журнале, пришли первые письма и телефонные звонки – появились первые авторы – Игорь Гергенрёдер и Николай Дубовицкий...

Вскоре в журнал позвонил и написал о нем статью в «Ост-Европе» знаменитый немецкий славист – Царство ему небесное – Вольфганг Казак, который на многие годы стал другом и критиком журнала. Потом таким же критиком стал и бывший редактор журнала «Грани» – одного из лучших журналов эмиграции 40-80х годов прошлого века – Евгений Романович Романов.

Судьба «Литературного европейца» похожа на судьбу журналов, вышедших когда-то в Европе, и в то же время стала судьбой фантастической, как сказал когда-то редактор дружеского журнала «Время и мы» Виктор Перельман – «судьбой из театра абсурда судеб».

Всем нам, делающим журнал, хотелось встречаться с нашими авторами и говорить, говорить о том, что можно сделать для журнала. Эти встречи проходили в Германии, Австрии, Чехии и во Франции.

С каждым днем расширялся круга авторов, со страниц журнала стали слышаться все новые и новые голоса – Маргарита Кучукова, Василий Бетаки, Кира Сапгир, Борис Носик, из Франции. Лариса Ковалева и Джин Вронская – из Великобритании, Левицкий и из Чехии, Евсей Цейтлин, Юрий Дружников, Семен ИцковичСША.

Сегодня журнал читают и в Европе, и в Америке, и даже в России. И вот удивительные встречи. На одной из презентаций в Париже к нам подошла заведующая отделом эмигрантский литературы Российской Государственной библиотеки – бывшей «ленинки», и поблагодарила нашу редакцию за комплект «Литературного европейца». Она рассказала, что журнал пользуется большим спросом и вызывает интерес у многих читателей библиотеки.

Не хотелось, чтобы то, о чем я пишу, выглядело идилически.

Мы живем нормальной литературной жизнью, которая имеет свою правду – правду людей, живущих в разных странах, много сделавших в своей жизни, но, увы, не всегда расставшихся с комплексами, которые лихорадят нашу литературу здесь, на Западе.

Как порой бывает трудно принять решение, кого печатать, а кого не печатать, что будет в журнале главным, а что второстепенным, какой

автор нужен журналу, а какой нет, – естественный и гармонический баланс плюсов и минусов, которые являются жизнью журнала, моей и вашей, дорогие авторы и читатели, жизнью.

Каждый вышедший номер «Литературного европейца» – это страницы, включающие факты нашей жизни, документы истории, литературы, публикации, имена.

Сегодня этих номеров – 243. Это итог нашей общей работы. Это наш общий праздник.

Я не назвал имена тех, кто бескорыстно служит делу русской литературы в нашем журнале, делу огромной важности, их много. Но нельзя не вспомнить тех, кто начинал со мной журнал – Галину Чистякову (которая вычитала все 243 номера журнала) Беллу Йордан, Владимира Брюханова, Юрия Диденко, Серафиму Бронштейн, Виталия Скуратовского.

А наши старейшие авторы – Виталий Раздольский, Галина Кисель, Семен Ицкович, Владимир Порудоминский, Леонид Борич, Григорий Пруслин, Михаил Румер-Зараев, Роберт Лейнонен...

А как не назвать нашего старейшего (по возрасту) подписчика Семена Михайловича Уринова из Штутгарта?

Он узнал о журнале из московской «Литературной газеты». Позволил в Москву, нашел автора статьи, выпытал мой телефон. И несколько лет каждый месяц получал журнал.

И пусть злобные выкормыши советских литературных консультаций шипят: «У вас в авторах одни старики!» Пусть шипят, старый конь борозды не портит, а делает ее глубже.

Я уже не говорю об авторах – нашей гвардии, тех, кто пришел в журнал, отягощенный советскими книгами и регалиями, но и тех, кто только в эмиграции серьезно стал заниматься творчеством.

Берта Фраш, которая стала обозревателем литературы, издающейся на всех континентах, и ее сын – наш веб-мастер и автор Интернет-версии журналов ЛЕВ и «Мосты» Мартин Фраш; покойный Генрих Кац, который организовал «Клуб друзей «Литературного европейца» в Кельне; Михаил Румер – единственный, кто-регулярно освещает путь журнала на страницах берлинских газет.

Не могу я всех перечислить, потому что придется перечислять ВСЕХ.

Простите. Всем вам – хвала и слава, друзья мои и коллеги.

Нельзя не вспомнить тех, кто ушел от нас туда, откуда нет возврата – Револьт Банчуков, Игорь Гуревич, Юрий Дружников, Андрей Кучаев, Генрих Кац, Василий Бетаки, Вадим Нечаев, Муза Извекова, Борис Носик, Александр Зимин – всех не перечислишь. Мир праху.

Спасибо!

О нашем журнале сегодня пишут не только в Германии, но и в других странах, и это отрадно. Оттуда приходят к нам новые авторы и подписчики.

Хотелось, чтобы авторы журнала рассказывали о своих литературных работах, публикуемых в ЛЕ, о своих коллегах-авторах и в других изданиях, выходящих в Германии, организовывали встречи в культурных центрах.

Ведь мы вместе делали и делаем большое нужное дело – сохранение русского языка и литературы в изгнании. Это не только публикации в журнале, но и книги, и авторские издания. Этим нужно гордиться, об этом нужно говорить.

За 20 лет в журнале опубликованы произведения около 400 авторов. Не все из них были профессиональными авторами в бывшем СССР. Но многие из них стали опорой журнала. Как и те талантливые люди, что смогли себя реализовать только в эмиграции.

Большинство из них являются постоянными сотрудниками «Литературного Европейца».

Мы понимаем и тех, кто ушел из журнала. Не для всех людей творчество является главным в жизни. У каждого своя дорога в эмиграции.

Перечитывая публикации в журнале многих из них, хочется думать, что это не так.

Жаль, что талантливые люди пишут мало.

Писать вообще трудно. Обидно, когда писатель ничего не может делать, кроме того, как писать свои литературные произведения.

А не стоять у станка в придачу и или работать в конторе.

Но и я принадлежу именно к таким писателям.

Не могу не обратить внимание на необходимость более тщательной работы над произведениями, предлагаемыми для публикации. Очень часто редактору, корректору, техреду приходится переписывать за авторов куски, фрагменты, а подчас и целые страницы. Утверждение, что «самое первое – самое лучшее» - ошибочно. Произведение должно отлежаться, быть отточенным, я же часто достаю из конверта рассказ, стихи и др. еще «дымящимися от дрюкера» (принтера, если поихнему). А автор уже и телефон надрывает: «Когда напечатаете?»

– Не напечатаю, пока не перепишите.

Редакционный портфель, к счастью, полон. В нем достаточно авторских работ. Но заполнен не означает, что только отличными произведениями.

Редактору же хочется только отличных произведений, а не просто хороших.

И потому, когда появляется отличное произведение неизвестного автора, то оно просится на страницы в первую очередь.

Хочется сказать: любите свой труд, доведите его до совершенства.

«Землю попашет, попишет стихи» – это сказка для простаков. Если ты пишешь и не можешь не писать, то отдай этому душу. Либо пиши для своих близких, а не для публикаций.

И, пожалуйста, дорогие коллеги, не забывайте, что “Литературный европеец” не журнал доброго (или злого) дяди Батшева.

Он – ваш журнал.

2

Я хочу процитировать Шкловского.

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе. (...)»

3

Теперь некоторые общие мировоззренческие соображения

По мнению Г. Струве, период наиболее ожесточенных споров о зарубежной литературе, «о самом ее бытии и смысле, сомнений в возможности и нужности ее существования» совпал с периодом ее расцвета».

Спор этот растянулся на 100 лет. Предметом его были:

а) возможность существования литературы в изгнании, в отрыве от русских тем, русской почвы и живого (развивающегося в повседневности) русского языка;

б) возможность появления в «безвоздушном пространстве» эмиграции литературной смены. По сути дела, речь шла о природе художественного творчества и о законах художественной (литературной) эволюции.

За 100 лет история доказала, что эти споры – глупость.,

И литература существует уже 100 лет в эмиграции, и смена литературная есть.

А кто думает о русских темах?

Без российских (а не русских) тем не могут существовать писатели типа Калинина, Пруслина, Порудоминского.

Остальные находят достаточно тем в окружающем их мире.

Столкновение русского языка с чужим - в эмиграции – порождает более внимательный и более придирчивый взгляд на собственное творчество.

В России писатель живет в плену собственного языка. В эмиграции перед ним языковой мир, из которого он черпает свежую воду нового для своего творчества. Жаль тех, кто этого не понимает, не видит, не делает. Это не значит вставлять между делом или по делу иностранные слова на латинице в кириллическую вязь собственного слово извержения.

Химически чистой литературы нет – на нее влияют и происходящие события – как в жизни самого автора, так и в жизни страны проживания. А для многих и события в метрополии (для тех, кто живет российским ТВ и тамошним интернетом).

Писатели старшего поколения по преимуществу творят «вне времени и пространств» (Порудоминский, Кисель), и лишь кое-кто из новой поросли (Шестков, Урусов, Штеле, Доттай) пишут о сегодняшнем дне.

Во Франции я могу назвать Евгения Терновского, Бокова, Мусаяна – они пережили прошлое и свободны в своем творчестве от России. Это замечательно.

Но почему этого не происходит у других? Почему большинство живёт в прошлом?

Русская зарубежная литература свободна от идеологического давления метрополии.

Она свободна. Но свободна от чего? Свободна для чего? От цензурных, идеологических и эстетических канонов советчины и путинщины.

Свободна для чего? Для всестороннего развития литературы эмиграции.

Но на самом деле получается, что наша литература не свободна от сложившихся прежних эстетических установок и стереотипов, она проросла соцреализмом, бытовщиной и психоложеством.

То есть, вместе со старыми одеждами привезли в эмиграцию и старое отношение к литературе и к собственному литературному творче-

ству. Но если старые одежды скоро сменили на одежонку из Красного Креста, а позднее на товар магазинов СундА и Клоппенбург, то стереотипы остались. И от давления этих стереотипов происходят разговоры, что «*читатель там, а не здесь*», и происходит «нестыковка» писателей старшего поколения с более молодыми. Ибо у более молодых (относительно) отсутствуют прежние эстетические догмы. Многие писатели остаются внутренне НЕСВОБОДНЫ, несмотря на то, что много лет живут в Европе. А пока они не станут свободными, они не смогут выполнить миссию русского писателя в эмиграции.

Глядя на этих людей, читая их произведения, меня одолевает стыд. Ведь мы и есть современная русская литература. Ведь именно ее представители стали нобелевскими лауреатами – Бунин и Бродский, родина русской зарубежной литературы не Россия, не СССР, а – Германия, Франция, Западная Европа.

Но с другой стороны – что есть нынешняя эмиграция?

Что такое нынешняя эмиграция?

Вопрос не в том какая она — экономическая или политическая. Подобный вопрос заранее обречен, ибо разделять нынешнюю эмиграцию по принципу кошелька — дело тех, кто не может ее остановить. Отсутствие колбасы в магазинах или невозможность ее купить — причина политическая, как и неплатежи заработной платы много месяцев.

В эмиграцию не едут за чем-то. В нее уезжают от чего-то. В основном, от плохой жизни. Ненависть к стране, где тебя обманывали десятилетиями, настолько велика, что любыми путями жители Страны Недоразвитого Социализма стремятся вырваться за ее пределы. Тут и фиктивные браки, и фальшивые документы, и несуществующие родственники. Любым способом в эмиграцию!

Но стали ли новые жители страны приема ее гражданами? Нет. Статистика показывает, что только 32% эмигрантов из бывшего СССР смогли интегрироваться в Германии. Но дело не в статистике.

А остальные 68% - что же они? Остальные живут странной неральной жизнью «*русскокоговорящего*» населения (Кстати, термин «*русскоговорящие*» придумали российские черносотенцы и употребление термина в эмиграции по меньшей мере — бестактно)

Я о духовной жизни говорю. Они смотрят российское ТВ, читают газеты из России ходят на концерты артистов из России, смотрят фильмы из России. Жизни вне российского опыта и российских стереотипов для них нет.

Господи, да стоило ли уезжать?

Но что можем предложить новому эмигранту мы, русские писатели Зарубежья?

Почти ничего.

Да, трудно. Средства наших журналов и издательства мизерны.

Сегодня нет духовных центров, которыми долгие годы были журнал «Континент» в Париже и издательство «Посев» во Франкфурте. Нет Толстовского Фонда. Нет всевозможных печатных органов эмиграции, которые «гремели» еще двадцать лет назад. «Русская мысль» в Париже и «Новое русское слово» - ведущие эмигрантские газеты многих лет, были уничтожены путинской властью. Их купили у владельцев и закрыли «за ненадобностью».

Остаемся мы, 2-3 издания в США («Шалом», «Времена», частично «Новый журнал») и – все. То, что существует кроме – издается на московские деньги и не скрывает своих пропутинских симпатий.

Нет уж, господа хорошие, если вы желаете что-то говорить своим бывшим русскоговорящим соотечественникам, то придется создавать свою литературу, свое новое искусство, свою новую эстетику.

А поскольку все мы распрощались со старой жизнью, то и жизнь, как эстетическую категорию, придется придумывать заново.

Ибо — опять тот же сакраментальный вопрос — зачем было уезжать, если снова — оглядка на авторитеты, если снова — заплесневелые истины, если снова — угодная Москве полуправда?

Мало того, что выдавливать «по капле из себя раба», но создавать нового человека — вот труднейшая задача сегодняшнего интеллигента в эмиграции. Разве Бунину и Мережковскому легче было? «Мы не в изгнании, мы — в послании», говорили люди первой эмиграции.

Они не читали советских газет не потому что не имели к ним доступа. Они не читали их потому, что расставшись с ТОЙ жизнью, не хотели даже вспоминать ее в жизни ЭТОЙ.

Я не говорю о героях второй эмиграции, которым, в отличии от первой эмиграции, грозила выдача сталинским палачам.

Пока и нам не грозит выдача лубянским молодчикам. Но кто знает, что будет завтра. Все читали повесть Шесткова «Вторжение».

Но что мы смогли сделать за прошедшие 20 лет?

Создали нового человека? Создали новое искусство? Новую эстетику?

Нет, мы не создали ни того, ни другого, ни третьего.

Но мы – сохранили журнал, создали второй журнал, издаем книги. Таким образом мы сохраняем русскую зарубежную литературу.

Я часто слышу странные возгласы: «Наш читатель ТАМ»

Нет, любезный, вашего читателя **там** нет. А если **там** есть ваш читатель, значит, вы должны быть вместе с ним, там, а не ЗДЕСЬ. Не правда ли? Где читатель – там и писатель. Прощайте, милейший, отправляйтесь в страну родных погромщиков. Скатертью дорога и перо в зад.

Как-то я получил письмо одной из коллег, она писала: *здесь мы никому не нужны, наш читатель – ТАМ.*

Я отвечал, не знаю, как ваш читатель, а моего читателя ТАМ нет. Если он и есть, и вы его знаете, то как к нему пробиться? Издавать книги ТАМ? Попробуйте. Может, вы удачливей меня. Мои книги ТАМ издавать не хотят. Даже боевики.

Вы забываете, что для тамошних издателей мы - предатели, в лучшем случае – миллионеры, способные заплатить тысячи долларов или евро за издание своей книги.

Все зависит от идеологом, которым подвержен тот или иной издатель.

В Петрограде создано специальное издательство для завлечения эмигрантов – «Алетей». Это откровенно жульническая контора берет с писателя деньги, печатает ему десяток экземпляров книги в копи-шопе, а потом врет, что его книги продаются на «просторах родины чудесной». Только почему НИКТО из авторов не нашел этих книг на полках магазинов. Несколько наших авторов купились на приманки «Алетей». И что? «Помогли тебе твои ляхи?» – спросил Тарас Бульба. – Стал ты знаменитым? Один наш автор даже издает собрание сочинений в этом издательстве, отказавшись от издания у нас. Наверно верит, что «читатель ТАМ».

Но это отступление.

Вернемся к теме.

Писательница спрашивает – кому мы там нужны?

Не знаю. Наверно, никому.

Я, вообще, не понимаю вопроса.

И сколько этих читателей вашей мечты?

Времена, когда поэты собирали стадионы слушателей – не повторяется.

Подобное бывает в редкие социальные катаклизмы.

Статистика безжалостна: газеты читает 1% населения, журналы – 1

% от читающих газеты. А сколько процентов от этих процентов читают стихи и прозу?

Подсчитайте на досуге - в Германии живет 2 миллиона, говорящих по-русски.

Погрустите, если верите статистике.

Дело не в стране обитания, а в среде.

Здесь нет читателя, писала она, *я работала социальным педагогом и знаю уровень этих аузидлеров и азылянтов.*

Так дорогая коллега, это же и есть ваш читатель ОТТУДА! Вы же о нем мечтаете! Неудобно получается – пишете о читателе ТАМ и тут же его отвергаете.

Дело не в читателе, а в том узком круге, который окружал вас (нас) ТАМ. Этот круг был из понимающих, думающих, сочувствующих слушателей, читателей, зрителей.

Здесь его нет. Точнее он есть, но он не рядом, он тонок, как целлофан, и собрать этот круг вокруг себя, чтобы оказаться в центре – не внимания, нет! – круга, чрезвычайно трудно.

Для кого тогда мы пишем? – вопрошает писатель.

Отвечу словами Пастернака: для лучших.

И задача поэта, писателя, творца в эмиграции – собрать лучших в круг.

В свой круг.

Понимаете?

Лучшие уехали «за бугор» раньше нас, они оказались смелее и удачливее. В России остались не лучшие, а просто люди разорванного круга.

Переживать бесполезно – разорванный временем круг не восстановить, как не вернуть молодость.

Каждому времени – свое. Каждая женщина прекрасна в любом возрасте.

Жалкое существование литераторов и литературы в России – показатель, кому нужна литература в стране, из которой бегут всеми возможными способами. Л.Борич рассказывал мне как-то, что его приятель ленинградский писатель получил за опубликованный роман столько денег, сколько хватило, чтобы угостить редактора в ресторане. Это – сегодняшние дни тамошней литературы.

От хорошей жизни читатели не убегают.

Так, где же читатель, дорогие коллеги? Может, мы не хотим его замечать?

Не тот ли, кто матерится в немецких электричках, не умолкает с неистребимым местечковым акцентом в очереди за бесплатной мацой,

вздыхает на концертах гастролирующей попсы, зачитывается криминальными дешевками и демонстрирует «за девочку Лизу»?

Он, он это, узнавайте, не смущайтесь его, не гоните, не брезгуйте им.

Дайте ему свои произведения.

Научите его читать хорошую литературу.

Воспитайте его.

Подтяните до своего уровня понимания метафор и гипербол.

Это - ваш читатель.

Это – наш читатель.

5

Да здесь имеется серьезная опасность.

Опасность идти на поводу читателя – серьезная опасность. Даже для тех, кто говорит: «Мой читатель – там». Имеется в виду, страна Путина. Но автор цитаты продолжает жить в Европе и не очень-то стремится в Россию.

Нельзя опускаться до уровня читателя, надо его подтягивать до своего.

Кич всесилен – он вторгается и в сюжет, и в язык подобного произведения.

Сразу же мы упираемся в проблему языка произведения.

Писатель и его язык неразделимы.

Язык писателя не столько разговорный язык, сколько язык его произведений. Они отличаются друг от друга, и тот писатель, который не понимает, что язык улицы – это одно, а язык книги – другое, - плохой писатель.

Когда я читаю *«она была в прикиде»*, я не понимаю о чем это и что это «прикид». Мне нужно открывать словарь, и находить в «Словаре языка хиппи», что «прикид» – это одежда.

Но причем здесь героиня рассказа? Ведь она не хиппи, а интеллигентная дама. И ее собеседник – тоже, и автор – вроде бы тоже. При чем здесь слово из языка хиппи?

Притом – это слово улицы.

Как и «пиар». И «харизма». Эти слова с улицы Штампов.

Любой язык оправдан только характером языком персонажа. Если он неоправдан – звучит фальшиво, не профессионально.

Но, когда я говорю об этом автору, он защищается беспомощной фразой:

– А людям нравится.

На это я не отвечаю автору – значит люди, которым нужны подобные произведения и которым о нравится - соответствующие люди.

Соответствующие чему, может спросить меня читатель.

Соответствующие Улице Штампов.

И не защищайтесь такой отговоркой. Защищаясь, вы показываете, что не правы.

И, пожалуйста, не пишите “Вы” с большой буквы. Это принято в частных письмах, но не в художественной литературе. Если автор считает, что этим он подчеркивает свою “культурность”, то ошибается – подчеркивается мещанство.

Кстати, подчас, употребляющий некоторые слова и выражения не знает что они означает.

Как в анекдоте про Чапаева – *«звучит красиво»*.

Редактор московского «толстого» литературного журнала рассказывает на книжной ярмарке:

– Он ее отпиарил...

– Хм...Простите, он ее, что – вы...

– Да нет. Отпиарил – опубликовал против нее организованные статьи...

И редактор известного литературного журнала не видит в этом ничего особенного. Тогда я его спрашиваю про «пиар», дескать, с чем его едят или куда засовывают. Он бекает и мекает, пытается изобразить нечто мычащее.

Так вот, вниманию авторов и редакторов.

Пресловутый «пиар». – есть PR – всем известные *паблик релейшин*, то есть, говоря по-русски, средства массовой информации. Так что никто никого не может отпиарить или пиарить и сотворить пиарство и т.п.

Не получится. Если по-русски.

И «харизмы» нет.

А «маргиналы» тоже из придуманных штампов.

В принципе, маргинальные, означают «с обочины», то есть, подорожник или одуванчики.

Но дело в том, что из нынешней путинской России к нам *прет* – другого глагола и подобрать трудно – вал, тайфун, цунами – нынешнего уголовно-казенного канцелярита. Эта волна идет со страниц газет и журналов, издающихся не только там, но и здесь, в Германии.

Кто не противостоит этой волне, того она поглощает.

В основном, слабых.

А писатель, если он всерьез занимается этой профессией должен быть сильным.

Вот слова, значение которых газета не расшифровывает, а дает просто, как обыденность. «Продюсер», «реалити-шоу канала», «представители гламурной молодежи», «вы заболели этим форматом», «проект», «акция современного искусства», «уходит в такой серьез», «мы делали много вариаций при монтаже». «нащупать свой язык», «картинка будет очень бедная», «фильм европейского уровня», «я, как продюсер, не отличаю фестиваль от рынка», «потратил немало лет на самопознание, чтобы самому ощутить свой язык», «говорят дистрибьюторы», «вот в чем фишка», «грамотно работать со следующим проектом», «я пришла на кастинг», «российское арт-хаусное кино», «у нее потрясающая энергетика».

Это взято из одной только статьи в берлинской газете. Статья, по всей видимости, перепечатана из российской газеты или взята из российского интернета. Могу поспорить на что угодно, что авторы этих фраз не понимают о чем говорят и не знают значение слов, которые употребляют.

Писатель – носитель языка в эмиграции. И если он пишет не на русском языке, а на постсоветском, со всеми этими «упасть на голову соседу», «русскоязычный», «мандраж не испытывал», «перекантоваться», «мужик свободный от постоя» (цитирую только одного автора), то мне кажется, что Бунина, Ремизова, Зайцева, да что далеко ходить! – Булгакова и Пастернака для автора не существовало.

Таких авторов много.

Обычно утро принято полоскать горло и чистить зубы. Кто-то из поэтов говорил:

- Прочитать Пастернака как горло прополоскать.

Цитированные выше авторы не «полоскают горло» хорошей литературой.

Иногда возникает ощущение, что, кроме себя, они никого не читают.

Если Галина Корнеевна вычитала 243 номера «Европейца», то Серафима Бронштейн, известная всем, как автор многочисленных эпиграмм в журнале, была корректором в «Мостах». Она стала сообщать сколько ошибок в произведениях того или иного из наших авторов. У одного – 724 ошибок, опечаток, неточностей. У другого – 2000 из ко-

торых 1500 – неправильно поставленные запятыя.

Во-первых, это неуважение к журналу – присылать не вычитанные рукописи. Пусть и на дискете или по интернету.

Во-вторых, у меня, как у редактора, сразу возникает сомнение в серьезности занятий автора – если столько ошибок, то как же он относится к своему произведению?

Когда я спросил одного из вас – почему? – он был удивлен.

- А мой компьютер ничего не показывает! Никаких ошибок!

И у другой компьютер не показывает, и у третьего...

Какой нехороший компьютер – не показывает своему владельцу его собственных ошибок! Не учит его правильно писать и ставить знаки препинания!

А компьютер и не обязан этого делать – он для другого создан.

Он, как и авторучка, не научат писателя грамотности.

6

Мне хочется сказать и о мастерстве писателя.

Даже у тех, кто пишет о советских и российских временах, происходит переосмысление прожитого. Даже персонажи смотрят иначе, чем смотрели бы 20-30 лет назад.

Это временные рамки – скажет кто-то. Нет, не времени, а места – ибо человек пишет в эмиграции, а не в России. Вот ту уж поистине бытие определяет сознание. Возьмем Штеле – от его «Дурнины» (рассказ) 20 лет назад, до одноименной главы в романе «Аэроплан» - д-станция 20 лет. Другое восприятие, другой акцент, интонация.

Или Турьянский, который начинал бытовыми рассказами из жизни новых эмигрантов, а через десять лет выступил совсем в ином качестве вспомните его повесть о марках, пьесу «КаДеВе» и необычный рассказ «Тетрадь».

Подобных примеров много.

В чем суть нашего творчества?

Осознать свою миссию.

Вот на это определение и надо равняться нам всем.

Потому что, как сказал Г.П.Федотов: «Среди литературной продукции эмиграции соберется с десятков ниг, на которых будут воспитываться поколения в России. Эти книги там не могут быть написаны. Они выражают коренной, временно прерванный поток русской мысли. Они способны утолить духовную жажду России, когда эта жажда проснется или получит возможность своего удовлетворения» (Гяжба о России, Имка, Париж, 1982 с. 211).

Владимир Порудоминский

Странности жизнеописания

Глава первая

1.

" ...Вдруг за обедом - я один обедал, опоздал - читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом ясно стало, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу".

Это Лев Толстой - Страхову: о смерти Достоевского

В том же письме: "Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек".

И следом - совсем откровенно: " ...Литераторы все тщеславны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним - никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость..."

2.

Знакомство Толстого с Николаем Николаевичем Страховым, литературным критиком, философом, публицистом, началось десятью годами раньше, - вскоре после знакомства Толстой назвал их встречу *одним из счастлих*, за которое он благодарен судьбе.

Опять же о Страхове: "дорогой и единственный духовный друг".

Похоже, что преувеличивал, но - искренно.

Знакомство с *самым* дорогим и *самым* единственным - *одноцентренным* - Чертковым еще впереди, как и окончательный духовный перелом в жизни Толстого.

3.

Почта тогда была быстрая. Письмо из Петербурга в Ясную Поляну шло сутки. Письмо Страхова о смерти Достоевского, на которое отвечал Толстой, отправлено 3 февраля 1881-го.

Письмо начиналось с высокой трагической ноты: "Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы".

Примечательно сближение: пол-Петербурга провалилось - опора отскочила.

Но дальше у Страхова всё какие-то недомолвки, намеки, - тут уместнее *достоевское* слово: *обиняки*.

"Хоть мы не ладили всё последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел... и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые раз-молвки, было для меня... бесконечно дорого".

И после чувства на пол-Петербурга как-то незначаче: "Ах, как грустно!.. Всё суета, всё суета!.."

Страхов рассказывал: в одно из последних свиданий он говорил Достоевскому, что удивляется и радуется его *деятельности* - он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Но следом - любопытное замечание (хотя имел право, конечно): Достоевский "был проповедник, публицист еще больше (!), чем художник".

И тут же - снова: "Но, кажется, именно эта *деятельность* стубила его. Ему показался очень сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении, и в последнее время не проходило недели, чтобы он не появлялся перед публикою".

Похоже, ответные слова Толстого о тщеславии и завистливости литераторов и о том, что дело (деятельность) сердца не может вызывать зависти - только радовать, не о себе одном.

4.

Всё в том же письме, о котором речь, не слишком обширном, но ёмком, Страхов сообщает, что намерен выступить ("*вынудили, взяли слово!*") на посвященном Достоевскому заседании Славянского комитета (14 февраля), и просит разрешения сослаться на высказывание Толстого о "Записках из Мертвого до-

ма". (Страхов прибавляет: "Я стал перечитывать эту книгу и удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить".)

5.

Речь о не слишком, казалось бы, приметном, но впечатляющем для всех его участников событии, происшедшем минувшей осенью, за четыре месяца до смерти Достоевского.

Толстой в письме к Страхову рассказывал: "На днях нездоровилось, и я читал "Мертвый дом". Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю".

Страхов, конечно же, поспешил увидеть Достоевского. Тот был очень обрадован, попросил оставить ему листок с письмом; вот только это "*включая Пушкина*" его взволновало. "Как - включая?" - спросил он. Страхов ему объяснил, что Толстой и прежде был и теперь особенно стал "большим вольнодумцем".

6.

Толстой к творчеству Достоевского относился неоднозначно. Многие в его сочинениях - и то, *что* сказано, и то, *как* это сказано, - было Толстому чуждо, но любовь к "Запискам из Мертвого дома" - у него на всю жизнь.

До поздней старости он подходил к полке, чтобы взять эту книгу и прочитать несколько страниц вслух.

7.

В торжественном заседании Славянского Благотворительного общества 14 февраля 1881-го, как и предполагалось, Страхов выступил с воспоминаниями о Достоевском.

Взяли слово, вынудили, - но говорил непринужденно, охотно, горячо, видно было, что от всей души, и с того именно и начал, что объяснил, почему решил говорить, и, того более, дал понять, что именно он, не кто иной, говорить и был должен.

В последние двадцать лет (особенно же в начале этого времени), - объяснял Страхов, - ему досталось счастье быть очень близким к покойному Федору Михайловичу. Достоевский (по слову Страхова) говорил ему: "Да, половина моих взглядов - ваши взгляды": "Когда мы жили в нескольких шагах друг от друга, ...мы виделись каждый день и даже не раз в день; мы разговаривали без конца и так сговаривались, что и до последнего времени ни с кем другим я не мог вести таких живых и разнообразных разговоров, какие у нас неудержимо начинались при каждой встрече. Мне нельзя не гордиться бывшим расположением такого человека..."

Достоевскому, - утверждал Страхов, - был открыт высокий идеал святости. Были минуты, когда он и выражением лица, и речью походил на кроткого и ясного отшельника...

8.

Надо ли удивляться?.. Конечно, его, Страхова, просила Анна Григорьевна стать первым биографом оставившего наш мир Федора Михайловича.

Страхов взялся за работу охотно, даже с увлечением: "Не ожидал я, что это так меня увлечет..."

И перед заново открывшимся космосом жизни и творчества Достоевского многого ли стоят мелкие нелады и глупые размолвки последних лет?

В сентябре 1883 года Страхов докладывал Толстому: "Началось печатание моих *Воспоминаний* о Достоевском. Я всё еще в этой работе..."

Глава вторая

1.

Гром грянул тридцать лет спустя.

В 1913-м.

(Некоторые полагают, что именно в 1913-м - не в 1901-м - начался новый, XX-й век и с ним новая эпоха в истории человечества.)

Никого из главных героев события, встревожившего в тот переломный год литературный небосклон, уже не было в живых. Страхов пережил Достоевского на пятнадцать лет (умер почти день в день с ним - 24 января); Толстой ушел (*ушел!*) еще четырнадцатью годами позже.

2.

После смерти Толстого стали издавать его письма и письма к нему.

Писем он написал много - десять с лишним тысяч (а ведь и не все найдены), получил еще больше.

С некоторыми близкими ему людьми Толстой переписывался многие годы, счет сохранившимся письмам идет на сотни.

В письмах Толстой и его адресат-корреспондент рассказывают друг другу о себе, о происходящем в мире, делятся мыслями, впечатлениями, суждениями о прочитанном, соглашаются один с другим и не соглашаются, вместе ищут истину.

Обмен письмами образует своего рода биографические повествования, в которых по-своему открывается взятая в каждой переписке своим, особым объективом внешняя и внутренняя жизнь каждого из адресатов-корреспондентов.

Самая долгая переписка (46 лет!) у Толстого с его двоюродной теткой (он, шутя, именовал ее "бабушкой"), сердечным другом, подчас решительным оппонентом Александрой Андреевной, тоже - Толстой, Самая обширная (под тысячу писем) - с дорогим другом, единомышленником, ревностным помощником Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Переписка Толстого со Страховым - одна из самых объемных и серьезных книг взаимной эпистолярной биографии.

Четверть века регулярного обмена письмами.

466 писем.

3.

Переписку со Страховым начали публиковать в 1913-м.

И в одном из первых опубликованных (но по хронологии - поздних) страховских писем - сенсация.

Из-за сенсации, должно быть, с него и начали.

Речь в письме о Достоевском, о завершении работы над его "Биографией".

4.

Н.Н.Страхов - Л.Н.Толстому. 28 ноября 1883 года:

"...Всё время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти из него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо считал себя лучшим из людей, и самым счастливым.....

...Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... При животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие - это герои *Записок из подполья*, Свидригайлов в *Преступлении и наказании* и Ставрогин в *Бесах*.....

...Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злось? Завидую? Желая ему зла? Нисколько; я только готов плакать, что это воспоминание, которое *могло бы быть* светлым, - только давит меня...

Вот маленький комментарий к моей *Биографии*... Но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!"

5.

"Много случаев рисуются мне..."

Но приводит в письме только два.

Как Достоевский, когда вместе были в Швейцарии, помыкал слугою, - так, что тот даже "выговорил" ему: "Я ведь тоже человек!"

(Это должно было особенно тронуть Толстого, автора "Люцерна", где тоже - Швейцария, гостиница, презрение господ к "маленькому человеку".)

Другой "случай" - страшный.

Ссылаясь на рассказ третьего лица (имя названо), Страхов сообщает, что Достоевский "соблудил" с маленькой девочкой, с ребенком, - *ставрогинский грех*: о нем была заготовлена для "Бесов" отдельная глава, но в роман не вошла.

После публикации письма вдоволь наспорились, отягощена ли совесть Достоевского этим ставрогинским грехом. Не привожу *pro* и *contra*. Тут для нас иное важно: если - Страхов - Толстому - убежденно, без оговорок (обиняков) - считал возможным такое поведать, - значит верил, что могло быть, что - *было*.

Значит такое входило в состав *его* Достоевского.

6.

Анна Григорьевна, вдова Достоевского, в 1913-м еще здравствовала.

Она сама ответила на обвинения (лучше бы сказать - на характеристики) *лицемера* Страхова, пристроила к защите доброго имени Федора Михайловича кое-кого из уцелевших пока в живых его знакомых.

Слабость оправдательных вердиктов в том, что Страхов, когда писал, думал о - Достоевском, а отвечавшие ему спорили с тем, что писал - Страхов.

Страхов написал о Достоевском: зол, завистлив, развратен.

Ему отвечают: не злой, а - добрый, не завистливый, а - благожелательный, не развратный, а - образец нравственности.

Достоевский в письме Страхова - человек страстей.

Каким он и был.

Эта страсть у него, у Достоевского, - на каждой странице: в каждом образе, в каждой фразе, в каждом слове.

Достоевский - "кроткий и ясный отшельник" - это тоже Страхов. Но это: "бывали минуты, когда он и выражением лица и речью походил..."

Страхов. обличая Достоевского в письме к Толстому, ничуть не отказывался от того доброго, что о нем в "Биографии" написал. Страдал только, что не написал всего, что мог. что хотел. Что *должен был*, если бы писал как мог, как хотел. Если бы за руку себя не держал. Если бы не считал нужным предъявить, по слову его, одну лицевую (говорили еще - *казовую*) сторону жизни.

Письмо Страхова к Толстому - "комментарий" (опять же его

слово) к написанной им книге и вместе горестная исповедь писателя, заведомо ограничившего себя полуправдой, отказавшего себе в возможности сообщить людям истину, которой владел. К которой пришел, обдумывая то, что желал сообщить.

7.

В "Братьях Карамазовых" Грушенька поднесла было ручку Катерины Ивановны, к губам, но у самых губ *вдруг* ручку задержала. "А знаете что, ангел барышня, - *вдруг* протянула она... - знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую..."

У Достоевского, у героев его, то и дело это - *вдруг*.

И тогда тоже, когда само это слово не сказано.

8.

"Человек *текуч*", - говорил Толстой.

Не однозначен.

Подчас как бы не равен самому себе.

Достоевский это хорошо понимал, всю жизнь об этом думал.

"Человек есть тайна. Ее надо разгадывать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком".

9.

В "Братьях Карамазовых" находим:

"У живописца Крамского есть одна замечательная картина, под названием "Созерцатель": изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и в лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужиченко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то *созерцает*"...

Картина - не "замечательная". Не из лучших работ художника. Но Достоевский цепко и навсегда схватил ее памятью.

Зрители и критики отмечали некоторую неопределенность типа, неточность характеристики: в "созерцателе" обнаруживали искателя правды и юродивого, отрешенного от мира странника и немудреного, даже и нерадивого, мужичка.

Но Достоевскому того и надо. Эта неопределенность, недосказанность ему и дорога, его и привлекает. В ней угадывает он

возможность совершающихся - *вдруг!* - поворотов в мыслях и поступках.

Созерцатель этот "вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит всё и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе".

10.

Работа над биографией - всегда постижение героя.

Всё большее проникновение в личность героя.

Всё большее уяснение ее.

Чем дальше работал Страхов над биографией Достоевского, чем больше убирал из нее всё то, что не мог, не хотел, не должен был разместить *на лицевой стороне жизни*, тем тяжелее это исключенное из повествования давило его (он так и пишет Толстому, что отброшенные воспоминания *давят* его), тем нестерпимее была мысль, что под его пером *погибает правда*. То, что он не писал (не мог, не хотел, не должен был), представлялась ему едва ли не главным - скрываема боль мучительнее, неотвязнее. Запретный плод не всегда сладок, но непременно обладает большим удельным весом.

11.

Толстой чутко понял суть терзавшей Страхова боли.

К обвинениям и обличениям, которыми попотчевал Страхов своего героя и давнего друга, он, отвечая, даже не притронулся.

Он писал о тяготе "преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого - человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла": "поставить на памятник в почтение потомству нельзя человека, который весь борьба".

12.

Анна Григорьевна заклеяла Страхова - *лицемером*.

Посмертно заклеяла, тридцать лет спустя,- прочитав его письмо к Толстому.

Но лицемером Страхов не был.

Принимаясь за работу, он, как помним, писал Толстому про

глубокое их с Достоевским уважение друг к другу, про дорогое чувство, которое они, несмотря на "глупые" размолвки, друг к другу питали.

Ему, Страхову, казалось, что взаимно.

И о работе над книгой Страхов писал как о борьбе, о борьбе с собой, с материалом, - писал, что плакать был готов, оттого что материал оборачивался не тем, чем казался вначале и что невозможно рассказать о том, к чему пришел, что понял, что - *уяснил* (говоря толстовским словом).

13.

Нет, Страхов - не лицемер.

Просто он двинулся непростыми путями-перепутьями писателя-биографа, заново обдумывал то, что полагал обдуманым, уяснял то, что полагал уясненным, и - совершал открытия от которых ему самому становилось страшно.

Как тому мастеру в давнем анекдоте, который подошел к верстаку, чтобы собрать швейную машинку, а у него вдруг получился - пулемет.

Часто кажется, что биограф, в отличие от сочинителя романа или повести, заранее знает всё, что скажет (может сказать) о своем герое, поскольку вышивает по размеченной жизнью канве.

Но отбор слов и нанесение их на бумагу - великое таинство. Отобранное и записанное слово пресуществляется, как хлеб в плоть, как вино в кровь.

Биография - не зеркало и (вопреки принятому противопоставлению) не увеличительное стекло.

В нанесенном на канву орнаменте событий пронизательный биограф угадывает подчас такое, что не под силу разглядеть даже самому сильному оптическому прибору.

Некоторые черты личности Достоевского, привычки, мнения, поступки, при жизни его вызывавшие осуждение *друга* Страхова и размолвки между *друзьями*, в ходе работы над биографией обретали для *автора* Страхова иное очертание, иной вес. (Может быть - непременно даже! - другой биограф увидел бы многое из того, что лишало покоя Страхова, совсем иначе.)

Страхов написал биографию, которую от него ждали, оставил на бумаге *светлое воспоминание*, которое надеялся оставить,

принимаясь за работу, и которое было для него вконец омрачено предпринятым обдумыванием личности героя - пресуществилось в *отращение*.

Он исповедался дорогому Льву Николаевичу, вряд ли предвидя (в самом начале 1880-х), что частные письма Толстого, а тем более - к Толстому, будут когда-либо преданы гласности.

Через две недели он сообщал Толстому, что ждет от него "что-нибудь с глубокою подкладкою": "А то наши писания - какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других".

Глава третья

1.

Но и Достоевский, не посмертных воспоминаний ради, *при жизни*, - приятельствуя, беседуя, сотрудничая, - непрестанно обдумывал, разгадывал Страхова.

Как всякий раз обдумывал, разгадывал встреченную на жизненном пути тайну, именуемую - *человек*.

Разгадка оказалась - для Страхова - самая неутешительная.

То же - *отращение*.

Но, в отличие от страховаского, прижизненное, утаиваемое (лицемерно) в повседневных общениях и прорывающееся в этих (по Страхову) неладах и размолвках.

Достоевский, не дожидаясь кончины приятеля, сам готовился создать и - того более - предать гласности портрет Страхова (которого в письме к Анне Григорьевне назвал однажды "скверным семинаристом").

Доживи они оба, Достоевский и Страхов, до этого портрета, разрыв был бы неминуем.

Если бы Страхов даже не пожелал себя узнать (а поди не узнай, когда там не *обиняки*, а прямые указания), если бы даже Страхов тем не менее узнать себя не захотел, после такого портрета отношениям уже не за что было бы уцепиться.

Не берусь судить, насколько портрет соответствует оригиналу, но портрет получился пронизательный.

Не просто портрет - *образ*.

Достоевский, его обдумывая, так себя и настраивает, чтобы в

одном взятом лице - открыть, выставить миру напоказ - образ, *явление*.

Увы, в жизни Страхова, задушевного приятеля ("Половина моих взглядов - ваши взгляды"), он лицевой стороны не находит. Всё - изнанка.

И с какого боку к сказанному Достоевским ни подступишь, в какое слово ни вдумайся, иного чувства, кроме *отвращения*, не вычитаешь.

2.

Приведу страничку Достоевского о Страхове почти целиком.

Публиковалась она редко, и всё - в специальных изданиях.

Между тем это текст - *Достоевского*.

Всякий же стоящий внимания текст не только тем интересен, *о чем* он, но и тем, что в нем непременно являет себя автор.

Театральный деятель и писатель Николай Николаевич Евреинов издал когда-то книжку "Оригинал о портретистах". Он привел в ней свои портреты, исполненные разными художниками, и показал, как каждый из портретистов, рисуя одного и того же *его*, Евреинова, непременно передает - выдает - в портрете черты собственной личности.

В одном и том же оригинале каждый из них видит свое и по своему рассказывает о том, *что* видит.

Черновая заготовка Достоевского не только тем интересна, что это портрет - Страхова, но и тем, что написан - Достоевским.

3.

"Н.Н.С. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе "Жених", об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пирог жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать

любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков <...> Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубострастную гадость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно".

4.

"Недурно пущено!.."

(Так принято было отмечать в одном художественном кружке начала минувшего столетия умело исполненные работы товарищей.)

5.

Страхов скорей всего познакомился с уничтожающим его рукописным листком.

Анна Григорьевна, вдова, передала ему (полагают) этот черновой набросок вместе с другими рукописными материалами для работы над биографией Достоевского.

Ненароком, конечно. Несмотря на размолвки Достоевского со Страховым она, конечно, не предполагала всю меру неприязни мужа к давнему приятелю. Иначе после кончины Федора Михайловича не послала бы тотчас за Страховым. Иначе не просила бы именно его составить первую биографию Достоевского.

Если Страхов прочитал запись, этот "посмертный привет", наверно, подправил, не мог не подправить объективы, наведенные на прожитую героем "Биографии" жизнь, не мог не поспособствовать вызреванию *отвращения* к личности его.

Но тогда тем более отдадим должное благородной выдержке Страхова, тайна которого, по слову считавшего его своим учителем В.В.Розанова, "вся - в мудрой жизни и мудрости созерцания".

Отвращение Страхова, кроме того, что вырвалось в единственном письме к Толстому, нигде и ни в чем более себя не явило.

6.

Из переписки Страхова с Толстым имя Достоевского почти исчезло. Лишь десять лет спустя Страхов вновь посвятил личности его несколько строк своего письма. (Речь, однако, о литературе *вообще*, о необходимой объективности ее.)

Страхов писал, что не считает своих мнений и волнений за норму, за пример и закон.

Достоевский же, "создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человеческая".

Толстой ему возразил. "Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее".

7.

В октябре 1910-го, перед уходом из Ясной Поляны, Лев Николаевич читал "Братьев Карамазовых", первый том. Уже с догадки просил привезти ему в Оптину пустынь второй.

8.

Страница жизни Страхова, Достоевского, отчасти и Льва Толстого, таит в себе (или открывает) некоторые сокровенности работы над жизнеописанием вообще.

Глава четвертая

1.

Запоздалый эпитафия:

"Хорошо описанная жизнь такая же редкость, как хорошо прожитая".

Томас Карлейль

Граф Шампанский

ЯГОДКИ

(начало в № 57)

Кто правит бал?

– Мы правим бал! – всё тех же ртов орава...
Идёт литературная халява.
И чем их угощает Сатана там,
определит патологоанатом.

Блогеру – по скуле

Что ты виляешь хвостом, как и всем?
Кошечка–Гарфильд, я сам тебя съем.

Несуществующие персонажи

Подпоручик Кижее и...
поэт Кенжеев.

Просто ради рифмы

Есть много симпатичных девушек.
А в нашем возрасте...
Да где уж их!

Позднее признание

Стихли стихи...
Но к таким–то годам
и у Осляби
силы б ослабли.
Цитру кому передам?
Дамам, вестимо...

Какой-то из пишущих дам!

У райских врат

Спросил у нижних Пётр:

– В чём грех его?

– Увёл у Бродского Марину!

– А сами! Кто по мелочи не спёр?

Добыча у него –
по чину.

Эмили или Елена?

Была девицей. Хлоп. И померла.

А выяснилось – гений!

Жила средь нас такая же герла
с тетрадкой своих стихотворений.

Ордынец

Отец и сын (без третьего лица)

не слишком ли в журналах разбалован?

Туда-сюда таскают молодца:

он в цирке протопоп, а в церкви клоун.

Сердце красавицы

Разбила сердце мне, что было – факт:

глаза, фигура, волосы, как смоль...

А красота ушла, и вот – инфаркт.

Разбилось сердце у самой.

Тюремный приговор

Садись, садист!

Оправдание любви

Пишка и попка,
папка и мамка –

просто, как пробка:
глупо и крепко.

Лимерик

Дочь полковника Галя,
если мне не солгали,
дисциплине верна,
потому что она
всё же дочка полковника – Галя.

Переложение с английского

Ты крут, и я ведь крут.
Но кто кому надгробный дал салют?

Памятник

В Москву, в Москву!
Приехал он,
задрав главу,
считать ворон:
– Пошли вы нах,
плюю на всех,
держу в штанах
свой детский грех.

Кто есть кто?

Вы думаете – там Бродский? Нет!
Это его ваятеля автопортрет.

Колыбельная

Видно, верному –
медленным быть велено:
сквозь жизнь доехало только сейчас...
Вот и не спрашивайте, по ком колыбельная.
Она ведь – по любому из нас.

Муму

Один Герасим (по уму)
стал поучать, как жить:
крепить мораль, любить куму...
Её б и утопить!

Поросёнок Нах–Нах

Полуболтун, полусовец–
стал полным наконец.
А коли нехватает «кий»,
он для таких на кой?

Блюз

Жил в Нью–Йорке неясный талант, мой сосед.
Жёнка, вроде, гуляла, – он, кажется, нет.
В ус, однако, не дул, рисовал измочаленных кляч...
Отруби ему бошку хотя бы за это, палач!

Шарада

*«Крив был Гнедич поэт...»
Пушкин*

Здесь первый слог орёт матрос,
которого унёс
коварный шторм.
Второй – кротом
копает ухо, но притом,
как 1000 слепых старух,
увы, Соснора глух.

В зале ожидания

Гостей у Танатоса
позабавить хотят:
минуты тянутся,
а годы летят.

Херсонский вопрос

Сколько можно жевать всё то же:
все ли уже поэты — еврей?
Или ещё кое-кто, похоже,
затесался туда, где гои и геи?

Весна

Погода педофилится,
как лядвии Лолит:
попала под влияние
Владимира Набокова,
виляет юбок около
и в брюках шевелит.

Часы Патриарха

Брежет:
есть? Нет!
Ах, эх...
Врать — грех.

Ударим:

Позитивом по объективу,
объективом по негативу,
а объектом — по морде!

Речь поэта о Евро–2012

Поэт в России меньше, чем игрок:
когда стишки не вышли, он меж ног
хватает граждан прямо за футбол,
в свои ворота забивая гол.

Ильич на броневичке

Нобеля бы дать
(и — взять!)
бандиту,

кто Ленину в зад
всадил динамиту.

Совет долгожителя

Пешеходы! Живите подольше,
для чего не жалейте подошвы.
Ни за что не вдыхайте бензин
и держитесь, держитесь подальше
от машинных и шинных резин.

Жизненный путь

Ползу по злу...
Узрю ли пользу,
или всё зря?

Культяпки

Культ Лысого, Усатого и – ах! –
Картавого, Хрипатого и Цоя
сумел бы прекратить лишь Патриарх,
когда бы сам – копеечку, да стоя.

Бунт усмирённый

Курочиться, корячиться и корчиться
не только ты, но все осуждены:
за то, что, мол, поел того, что хочется,
за то, что, мол, поял не той жены...
Но усмиряют наш поход за – ны:
часовня, крест, берёзовая рощица.

Домашний адрес

«Мононин двор» – и клёник, и калитка.
а сзади яшень осеняет дом,
где двое нас плюс золотая рыбка
с Матиссовой афиши под стеклом.
К обеду – стопка водки, а потом...

Потом, потом... Кто знает? Счастье зыбко.

Счёт 1 : 2

Ермолов, брось! Не покоряй Кавказ.
Теперь они – и в хвост и в гриву – нас.

Кремлёвский лауреат

Ты получил «по праву и по чести»,
свой лавр, но – от кого?
И с кем же вместе?
Награждены вы Иродом царём
вдвоём с литературным упырём.

Путин и Распутин

Он из Парижа мордой вышел
и – к Путину на randevу,
но не в Москву – в мордву...
Увы, не выше!

Рецензенту книги "Зима"

Под советскими обоями –
то ли критик, то ли клоп
из кровавых алкоголиков
по фамилии Угольников...
Башмаком его бы – хлоп! –
и разделаться с обоими.

Как малолеткам – памперсы

Антилопам пампасы,
генералам лампасы,
актёрам аплодисменты,
а поэтам нужны комплименты.

За белых или за красных?

Когда тебя, Иртеньев, блажь
погонит за рубеж,
решай скорей: ты клоун Бланш
иль Руж с оттенком Беж?

77

Вот и к нам приходят Оры
и несут 2 топора,
5 минут дают на сборы,
брык и мык *et cetera...*
Как изменишь ход вещей?
А никак. И – вообще!

Почти по Гончарову

Когда–то был он битником... Постой!
Зачем теперь о нём гуторю я?
Да незачем, конечно же... Отстой.
«Обыкновенная история».

Мера

Поэты ценятся по росту и по весу,
а я по русскому судил бы языку.
И если пустит кто «кукареку»
на лэнгвиче заморском, тех – по фейсу!

Эхо

– Надо водку пить!
– Надо, вот, купить...

Привет Франсуазе

Bonjour, старость!
Adieu, страсти...
К чему стараться?
Вы — смерть?
Здрасьте.

Молодёжные журналы

Есть «Юность»,
где поэты начинают,
и «Дети РА»,
где дробчат и кончают.

Нежелание писать

Не хочешь писать? Не пиши.
Привал возьми для души.
Просто побудь в тиши.

На свержение Ленина в Киеве

С крещения Руси протЕкли
тысячелетия ли, век ли,
пока вконец Перуна свергли.

Майдан

Имея атаманшу Юлю
и двух богатырей Кличко,
вы Крым чудовищно продули,
играя с Дьяволом в очко.

Суть сериала

«Я думала это весна, а это оттепель...»
Я беременна не от тебя. Вот тебе!

Конечный пункт

Будь ты заика иль зазнайка,
хоть забияка — всё одно:
вот и платформа "Вылезайка".
Сойди, ступив ногой — в ОНО,
где смрадно, *стрёмно* и темно.

Теодицея

Физиологически — больно, кромешно...
Психологически — страшно, конечно.
Эстетически — ни в какие ворота,
А этически — бред бегемота.
Метафизически — тупиково.
А по-Божески — что ж тут такого?

P. S. Вянут цветы, гибнут скоты, коты, киты,
Так же, примерно, как ты.

Переводчик

Скажу вам для забавы, не со зла:
один чудак переводил осла,
орущего франкоязыко.
Но кроме крика,
что испускает сей заика,
он ничего не произвёл.
Осёл.

Глобальное потепление

Экологи кричат о смене климата,
и выгодно, должно быть, им это:
учёных степеней преумножение
и в тропиках каникулы блаженные.
Что же касается до населения,
ямщицкий пляс для них увеселения,
простуды, сквозняки и холода,

и дома с отоплением беда.
А плюнет Солнышко протуберанцем, —
конец и тем, и этим танцам.

Ориентации

Свелось на грех: пед, педофил,
к тому же педагог...
А я — велосипЕдо-фил,
и, если б не затормозил,
я тоже пасть бы мог.

Звонок небожителям

Мне на мобильник добавили Оры минуты.
Боги Олимпа! Убавили б лучше года.

Сквернословие

Мат отправим к чорту на хер,
запихнём обратно в рот
тем, кто Мазох или Захер,
или хуже — доктор Фройд.

Сторублёвка

Уберите Аполлона с денег,
или пусть он трусики наденет
хоть какие, кроме кружевных,
потому что порно хуже в них.

Разность потенциалов

Один у всех рубильник на меху,
что жизнь включает и сидит в паху.
Зато и выключателей без счёта
Во всех местах, где заболит что-то.

Происхождение

Украинец по матери, русский в отца,
кто я — по частям ли, вкупе ли —
петербуржец в Америке, хохло-кацап,
когда-то родившийся в Мариуполе?

Такие вот дела

От стариков какая польза?
Они бы ого-го! Да только поздно.
А так они бы хоть кого — за пояс!
Но к терминалу их подвозит поезд...

Ночной диалог

— Гоги, у меня невралгия...
— Да не врала бы ты, Гия!

Февраль на Таврической улице

Братец-чайник строит лодку
на четвёртом этаже.
А стукач кропает сводку
на меня ещё уже...

В ресторане

Где еда, на бедность рифм не жалуйся.
Взял меню, «легко разжал уста»
и на выбор заказал с листа:
— Сделайте поджаристо, пожалуйста...

Где жить хорошо?

Хорошо, брат, в Америке, дома:
всё удобно, доступно, знакомо.
А на родине трата и убыль, —
под угрозой «своих» Мариуполь,
у «своих» же иных мой Петрополь,

бейся лбом хоть о стены, хоть об пол!
Но достиг я, что долго искомо:
хорошо, брат, в Америке, дома.

Голос из ямы (оркестровой)

Отдайте *cantabile!*

Халлоуинские маски

— "Димка" Бобышев у "Женьки" Рейна,
вероятно, чего-то отнял...
Неужель — у жены ожерелья
или средства от ожиренья?
— Он от "ОСЬКИ" отъял идеал!

Прогулка

Рука об руку, нога за ногу,
туда-сюда, взад-вперёд...
То ли мордой в блюдо,
то ли рыбой об лёд.

Географическая новость

Попокатепетль встретил Лимпопо,
и они похлопали друг друга по по.

В Книге лиц

Фамилии должны быть незакатны,
а не в крапиве где-нибудь за баней:
вот, например, какой-то Музыкантов
взял, нахамил и тут же был забанен.

Тоже технология

Раньше писали стихи-паровозы
(что-нибудь про партию и про колхозы),
сквозь цензуру тянувшие поезда,
где везлась вольная белиберда.

А нынче лирические бегемоты
переключились на автопилоты,
тиражирующие без конца
пережёвы вчерашнего образца.

Хрюшка и трюфель

Как хрю найти сумела трю?
А по созвучью, — так я зрю.

Лозунг

Авангардъ — это арьергард сегодня!

Вдвоём

Два весёлых старика:
у неё болит рука,
у него — все жилы.
Счастливы, что живы.

Что слаще

Вам пахлаву или халву?
Мне лучше похвалу.

Метеорологическое

Натюрморт это термометр
по Реомюру!
И — рюмочка на юру.

Версия Наймана

Повесил Чехов дробовик на стену,
а тот возьми и выстрели, да в сцену,
где драматург пургу актёрам нёс...
А говорят — туберкулёз!

Эллин

Кто в кудрях у Феогида
свил гнездо? Конечно, гнида.
Да поэт и сам пригож:
чуть не Путин, тоже вошь.

Достижение

Нет, не классическую розу...
Но всё же удалось Нобеляку
модифицированную кукурузу
привить к советскому дичку.

Народные чаяния

Уберите Ленина с денег,
но верните Сталина взад.
Чёрта в Ад куда-нибудь деньте,
а потом опять на фасад!

Оттуда не возвращаются

Вернул бы Сталина Хрущёв
обратно в мавзолей,
тот стал тогда ещё б
коварнее и злей.

Конец лета

Цветы, цветы, цветы, цветы,
цветы... И — ты!

Лосев о Бродском

*“Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет...”*

Доносчик и о ком он — оба —
два шовиниста-руссофоба.

Быть знаменитым некрасиво

Наказание поэтам —
это памятники им.
Мы вот именно поэто-
му в неизвестности сидим.

Тыковка графа Шампанского

Я — Халлоуин. А ты кто?
А я сластей мешок.
И — тыква
страшная, как заворот кишок.
Как этот вот стишок!

У Адских врат

Оглянулся иль нет — не казни ты себя, корифей!
Боги так или эдак тебя обманули б, Орфей.

Король стёба

Сумев очаровать и Пугина, и прессу,
сумел оклеветать он даже Мать Терезу.
Да, он хорош и в шарфике, и без...
Но — бес.

Миру мир

Рукопожатные! Пожмите руки не-,
поскольку сами не вполне...

Долголетие

Мафусаилу Вечный Жид
«Ты слишком молод,— говорит,—
не вечность ты, сырьё её.
Сначала поживи с моё».

Пара фраз

Я и мой комп остались вдвоём.
Так чем же мы не компания?

Иконография идола

Он сын фотографа,
НЕМНОЖЕЧКО Нарцисс...
Но столько карточек его,
что обос... цысь!

Антиамериканизм

Среди драчливого семейства
как образец Америка имеется —
питательная, хлебная страна.
Ей хорошо завидовать, она
козла античного заместо...
Ей мстят студенты, лузеры семестра...
И, кроме прочих, левая шпана.

Формула литературы

$a + b = c$
Это как пуля дум—дум и муха це—це:
гениальность в моём понимании —
талант плюс поток графомании.

Другое мнение о Вселенной

Эм Цэ квадрат равняется... Однако,
кто б мне исчислил скорость мрака?

Поздние мифотворцы

1.
Поскрипываем пером
в постскриптуме.

2.
Не написать ли в автобиографии,
что был я всех умнее и первой?
Что мне учёной степенью потрафили,
ну, скажем, в Стэнфорде?
Поди проверь!

Ахматовские сироты

Бают, каждый третий был сексот.
Было нас четыре.
Значит, что из нас один был тот...
Толенька, не ты ли?

Ай да Бунин!

«Затоплю я камин, буду пить...»
Хорошо бы кукушку купить.

Гарику

Ты бы не трогал мой народ:
его кто только не марали,
а он, как твой, туда же прёт,
утёршись листиком морали.

Старая история

«Я обнял эти плечи и...» вздремнул.
А Бобышев Марину умыкнул.

Домашние отношения

«О, Русь моя! Жена моя! До боли...»

В уме теперь иное просвистит:
мы поменяли гендерные роли,
и ты уже, Россия, трансвестит.

Не зажигают

Не выходи из гроба,
не совершай ошибки:
спички твоего стёба
шипят, издавая пшики.

Нобель 2017

Бродский, с плешки сняв венок,
положи его у ног
шведской, как и ты, фигуры:
англо-япо-Ишигуры.

Попытка пошлости

Однажды некая... звезда
(о возрасте — ни слова, как всегда)
от счастья частого взяла и облысела...
— Не правда ли, Катюша, Эва, Элла?

Harrasment

Коварно подписуясь «Аноним»,
как много дам вчинили иск дедам,
когда-то их склонивших на интим!
— Зачем же не сказали вы «не дам»,
прелестницы, когда склонялись к ним?

Сила в слабости

От политики, Родины, телека
отвернусь, проклянув сгоряча...
А девичьему слову «бретелька»
присягну, если слезет с плеча.

Парадигма

Не я тебя породил,
но я тебя пародирую.

Только предположение

То, что NN приставлен был к Ахматовой,
по виду — шанс один из пятисот.
Но как ты вид за видом ни разматывай,
получится сексот.

Вот она где

Где русская идея? Ради оной
сто книг я перечёл, и все — долой!
А вот она — в петле у Родиона
Раскольников под полой.

Публикация *Дмитрия Бобышева*

Семен Резник

Последний император: жизнь, смерть, посмертная судьба

Главы из новой книги

От автора

К теме царствования Николая II мне приходилось, по различным поводам, обращаться в моих прежних историко-документальных произведениях. В новой книге они собраны вместе, дополнены и пересмотрены с единой точки зрения. Многие страницы написаны заново.

В книге прослеживается тысячелетняя история российского самодержавия с ее постоянной борьбой за верховную власть, убийствами самодержцев, их наследников, претендентов на престол.

В центре повествования – личность и правление Николая II. Показано, как он упорно подтачивал фундамент здания российской государственности, пока оно ни рухнуло и ни погребло под обломками его самого и его семью. В книге четыре части, из них предлагаю вниманию читателей «Мостов» части вторую и третью.

*С.Р.
Май 2018 г.*

Часть II

Коронованный революционер

*Властитель слабый и лукавый...
Над нами царствовал тогда.*
А.С. Пушкин

Воцарение

Николай Александрович Романов как частное лицо был вполне симпатичен. Он был невысок, но хорошо сложен, строен, с офицерской выправкой, приятным лицом и чарующим взглядом больших печальных глаз. Он любил наряжаться в мундиры самых разных полков, и некоторые ему очень шли. Он был хорошо воспитан, мягок, предельно выдержан, немногословен. Он не был умен, но обладал цепкой памятью. Умел вести неторопливую светскую беседу о пустяках — дружески, но держа дистанцию, не впуская собеседника себе в душу. Он никогда не повышал голоса, в его манере держаться не было ничего самодержавного или хотя бы барского. Он был любящим мужем, нежным, заботливым отцом, образцовым семьянином. Будь он, допустим, помещиком средней руки, он мог бы прожить спокойную, счастливую жизнь в кругу своих родных и близких. Он любил простые, здоровые развлечения и, вероятно, много времени уделял бы рыбалке, охоте, пилке и колке дров, верховой езде и особенно пешим прогулкам. Он мог бы стать хорошим метеорологом: мало кто с такой любовной пунктуальностью отмечал в дневнике малейшие колебания погоды.

Его природное здоровье и здоровый образ жизни давали ему хороший шанс дожить до глубокой старости, выдать замуж всех четырех дочерей и с наслаждением возиться с озорующим выводов внучат. Вот с единственным сыном Николаю Александровичу не повезло. Унаследованная болезнь оказалась роковой. Она причиняла мальчику много страданий, доводила родителей до отчаяния, и — вопреки их героическим усилиям — в сравнительно раннем возрасте свела бы его в могилу. Мысль об этом

причиняла отцу и матери много горя. Но можно не сомневаться, что при своей глубокой религиозности Николай Александрович сумел бы со скорбным достоинством пережить это несчастье. Тем больше отцовской заботы и нежности он отдавал бы дочерям и внукам и почил бы в окружении многочисленного семейства, обливающегося искренними слезами.

Закадычных друзей, в силу некоторых особенностей характера, у Николая Александровича, вероятно, не было бы; но среди знакомых он пользовался бы уважением и любовью. Правда, те, кому довелось бы узнать его ближе, вероятно, перешептывались бы о том, что-де человек он хороший, но неустойчивый; серьезных дел с ним лучше не затевать, так как слова своего он не держит, обещанного может не исполнить; судачили бы о том, что он скуповат, на чужую беду неотзывчив и что он был бы много приятнее, общительнее и интересней, если бы не находился под каблуком своей властной супруги — единственного в семье «человека в штанах», как она сама говорила.

Словом, Николай Романов был обычным средним человеком, со своими достоинствами и недостатками. Но этому среднему человеку выпала далеко не средняя роль на подмостках исторической сцены, и все его качества — положительные и отрицательные, полезные и вредные соединились роковым образом для того, чтобы привести к гибели его империю, его самого и столь любимое им семейство.

Оглядываясь на его жизнь, нельзя не увидеть в ней мистической заданности, словно с рождения неумолимый рок вел его к гибели в подвале Ипатьевского дома.

Николай Александрович, старший сын Александра III, родился в день праведного Иова, чему впоследствии придавал сакральный смысл.

В тяжелые минуты, когда надо было принимать судьбоносные для страны и для него самого решения, а у него опускались руки, он любил сравнивать себя с многострадальным Иовом, говоря, что изменить ничего нельзя, так как все зависит от воли Божией. Отговорка слабого, растерянного человека, пытающегося оправдать Божьим промыслом свою беспомощность. Фундаментальное различие между ним и библейским персонажем состояло в том, что праведный Иов стал жертвой жестокого экс-

перимента; сыпавшиеся на него несчастья были предначертаны свыше и никак не зависели от него самого. Тогда как самодержавный российский государь Николай II многие несчастья накликал на себя сам.

По-видимому, его воля была сломлена еще в детстве – вероятнее всего, слишком строгим и жестким отцом. Однако излишний родительский нажим может вызвать разную реакцию: одних он делает податливыми, робкими, мягкими, как воск; других ожесточает и заставляет противодействовать. Николай Александрович с готовностью покорился, подчинился отцу, которого боготворил, чьи заветы свято хранил и кому потом пытался подражать. Но отцовская палица оказалась ему не по плечу. Слишком они были разными – император Александр III и будущий император Николай II.

Александр III был высокого роста и могучего телосложения. Тучный, малоподвижный гигант, чья поступь была весома и значима, как и каждое слово. Он был ограничен и деспотичен – коронованный мужлан. Но он отличался большой цельностью, уверенностью в себе, отсутствием комплексов. Он охотно пользовался услугами людей, превосходивших его знаниями, культурой, умом, не чувствуя себя ущемленным.

Николай II был намного образованнее, воспитаннее, утонченнее своего отца, но он не обладал его уверенностью и прямоотой. Снедаемый мелким честолюбием, он испытывал скрытую ревность и зависть к более умным, знающим и сильным. Ему все чудилось, что его держат за несмышлениша, что насмеются над ним за его спиной. Это развило в нем крайнюю недоверчивость и скрытность. Ему было комфортнее с людьми мелкими, подобострастными, готовыми восхищаться каждым его словом и жестом – в таком окружении он ощущал себя полноценной личностью. Искреннее ли было восхищение или лицемерное – в это он подчеркнуто не вникал: внешнюю форму в отношениях ценил больше, чем суть. Он не умел говорить людям неприятное и еще меньше умел выслушивать. Двуличие и лицемерие были для него нормой. Высказанную ему неприятную правду он считал дерзостью. С возражениями он не спорил, но молча их отвергал, как посягательство на неограниченные права самодержавного властелина.

«Спорить было противно самой природе царя, — отмечал близкий к нему свитский генерал В. Н. Воейков. — Не следует упускать из вида, что он воспринял от отца, которого почитал и которому старался подражать даже в житейских мелочах, незыблемую веру в судьбоносность царской власти... Он склонялся лишь пред стихийным, иррациональным, а иногда и противным разуму, пред невесомым, пред своим все возрастающим мистицизмом. Министры же основывались на одних доводах разума. Они говорили о цифрах, процентах, сметах, исчислениях, докладах с мест, примерах других стран и т. д. Царь и не делал [попыток], и не мог оспаривать таких оснований. Он предпочитал увольнять в отставку лиц, переставших преследовать одну с ним цель»¹.

В этом отрывке почти все точно, но одна оговорка необходима. Как было бы все просто и объяснимо, если бы царь преследовал ясные цели и удалял тех сотрудников, которые в эти цели не верили! Но в том-то и дело, что никакой стратегии у него не было, а тактику он менял постоянно, уступая нашептываниям или нахрапу тех или иных царедворцев, и, с роковой последовательностью, проявлял неожиданное упрямство именно тогда, когда жизненно необходимо было уступить разумным доводам. Податливость, готовность изменить свои мнения, отказаться от намеченного плана, чтобы кого-то не обидеть или избежать истерической сцены с женой, сочетались в нем с упорством и неподатливостью по отношению к аргументам людей ответственных, принципиальных, т. е. имеющих свое мнение и готовых его отстаивать. Создается впечатление, что чем неотразимее были доводы, тем упорнее он их игнорировал. При этом был злопамятен и рано или поздно несогласных отправлял в отставку.

«По недостатку гражданского мужества, царю претило принимать окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось».²

Одним из самых больших, почти непостижимых парадоксов личности Николая II было отсутствие властолюбия. Возмож-

¹ Воейков Н.В. С царем и без царя. Цит. по: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 234.

² Там же.

ность повелевать, играть судьбами людей его не тешила, а тяготила. Власть была для него бременем, это был крест, возложенный на него судьбой многострадального Иова. Отчего же не облегчить себе ношу?

Самодержцы или монархи, получившие власть по праву рождения, не всегда наделены талантами государственных деятелей. На то и состоят при них герцоги Ришелье, Меттернихи, Бисмарки. Отчего же венценосному Иову было не избавиться от своих мучений, вручив бразды правления какому-нибудь российскому Бисмарку? Но Николай II хотел *сам* играть ведущую роль. Над свежей могилой погибшего ради него П. А. Столыпина (впрочем, не над могилой: на похоронах царь *блистал своим отсутствием*), предлагая возглавить правительство В. Н. Коковцову, Николай не преминул предупредить: «Надеюсь, что вы меня не будете заслонять, как Столыпин?» Это был, может быть, наиболее выразительный по циничной неуместности пример, когда государь так ярко обнаружил уязвленность мелкого себялюбца, но далеко не единственный. «Таковыми примерами полно его царствование», — свидетельствовал А. Ф. Кони.³

Будучи наследником престола, Николай старался всячески угождать родителю. Из послушания он был прилежен в учебе. Он старательно нес тяготы военной службы, не манкируя, не злоупотребляя положением цесаревича. Больше всего времени он проводил в среде гвардейских офицеров — прямых, примитивных парней. С ними ему было хорошо. Даже в его речи до конца жизни улавливался гвардейский акцент.

Когда Николай повзрослел, но еще рано было его женить, отец велел ему завести любовницу (дабы отучить от некой вредной привычки). Он и это исполнил с готовностью. Так появилась в его жизни обольстительная балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, которую он потом передал с рук на руки своему двоюродному дяде, великому князю Сергею Михайловичу (от которого она ушла к другому великому князю Владимиру Александровичу и имела от него сына). Ее воспоминания о «Никки» дышат сердечностью женщины, бережно хранящей память о первой любви и недолгом счастье. Но, даже будучи еще

³ Кони А.Ф. Николай II. См.: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 165.

очень неопытной молоденькой девушкой, без ума влюбленной в будущего императора, Матильда сознавала, что «он не сделан для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть».⁴ Он с ней соглашался не только по своему органическому неумению спорить.

Преждевременная кончина Александра III ошеломила Николая. Горе его было искренним и глубоким – не только потому, что он потерял обожаемого отца, но еще больше из страха перед собственной неспособностью его заменить. Он чувствовал, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. И, хуже того, это понимали окружающие.

«Каждый... сознавал, что наша страна потеряла в лице государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть, — вспоминал великий князь Александр Михайлович (Сандро). — Никто не понимал этого лучше самого Никки. В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог справиться с мыслями. Он сознавал, что сделался императором, и это страшное бремя власти давило его.

— Сандро, что я буду делать! — патетически воскликнул он. — Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помогите мне, Сандро!

... Я старался успокоить его и перечислял имена людей, на которых Николай II мог положиться, хотя и сознавал в глубине души, что его отчаяние имело полное основание, и что все мы стояли перед неизбежной катастрофой».⁵

Итак, уже в день кончины Александра III *предчувствие катастрофы* было у всех, кто хорошо знал их обоих — почившего государя и его наследника. Правда, совсем иное ощущение господствовало в широких общественных кругах.

Александр III оставил сыну наследство в отменном порядке. За 13 лет своего царствования он последовательно избегал войн,

⁴ Кшесинская М.Ф. Из «Воспоминаний». Цит. по: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 33.

⁵ Вел. кн. Александр Михайлович. УК. соч. В кн.: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 304.

поддерживал инициативы министра финансов И.А. Вышнеградского, а затем С.Ю. Витте, энергично проводивших политику укрепления рубля и привлечения иностранного капитала для развития промышленности и транспорта — особенно железнодорожного. Экономика развивалась рекордными темпами, с фантастической быстротой возникали акционерные общества, банки, различные предприятия. Страна крепла, рос объем внутренней и внешней торговли, рос ее международный престиж.

Правда, подавляющее большинство населения прозябало в бедности, бесправии и невежестве, периодические неурожаи приводили к массовому голоду, что мало заботило власти. В 1891 году государь отметил десятилетие своего царствования заявлением, что, «слава Богу, все благополучно». Имелось в виду то, что он сам и высшие чины администрации вне опасности: террор задавлен, вооруженная борьба против режима заглохла, оппозиции заткнут рот. А в это время в Поволжье от голода пухли дети, вымирали целые деревни. В.Г. Короленко, «работавший на голоде» (как тогда говорили), то есть участвовавший в усилиях общественности организовать помощь голодающим, на государево «благополучие» отозвался статьей, проникнутой болью и сарказмом. Опубликовать ее в России никакой возможности не было, статья появилась за границей без имени автора.

Но в самой империи царили спокойствие и тишина. Массовая кампания по высылке десятков тысяч евреев из Москвы, проведенная генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем (1891–1892), прошла при полном молчании печати.

В книге А.И. Солженицына «Двести лет вместе» этому акту бесчеловечного произвола посвящено несколько скупых строк. Отмечена реакция на него в Европе и Америке. Солженицын с издевкой пишет о «крыловских порядках», позволивших американской правительственной комиссии приехать в Москву и своими глазами наблюдать творимые там ужасы. Члены делегации даже смогли, в тайне от полиции, посетить Бутырскую тюрьму, где томились евреи, виноватые только в том, что из-за крайней бедности не могли выехать из первопрестольной за собственный счет. Их вылавливали и сажали в тюрьму, чтобы затем выслать по этапу. Американцам удалось заполучить фото-

графии высылаемых, образцы наручников, в которые их заковывали, и затем опубликовать свой отчет в материалах Конгресса США — «к вящему посрамлению России», как сокрушается Солженицын⁶. О реакции на это варварство российской обществу писатель ничего сказать не мог, ибо никакой реакции не было. То есть власти не позволили ей себя обнаружить.

Еще за год до этой карательной акции они запретили публиковать протест против травли евреев в печати, подготовленный Владимиром Соловьевым и подписанный пятидесятью крупнейшими деятелями русской культуры, в их числе Л.Н. Толстым и В.Г. Короленко. Мне приходилось упоминать об этом в исторической повести о Короленко,⁷ причастность к этой акции Толстого подробно исследована В.И. Порудоминским.⁸

Этот эпизод говорит о многом.

Невозможность публично критиковать власти и высказывать взгляды, им неугодные, создавала иллюзию полного благополучия. Иллюзия приводила к тому, что проблемы, вызывавшие общественное недовольство, не решались, накапливались, молчаливое недовольство усиливалось. В тогдашнем «образованном обществе» кончина слоноподобного императора не вызвала печали, а породила надежды на благотворные перемены в ближайшем будущем. Такое уже было в недавней российской истории. Николай I заморозил страну на тридцать лет, но, как только власть перешла к его сыну Александру II, началась оттепель, потом весна... Головокружительные реформы и вызванный ими подъем общественных сил захватывали дух.

Однако, проводя либеральные реформы, ослабляя гнет и тем способствуя возникновению и укреплению независимого общественного сознания, Александр II и его администрация как огня боялись какой-либо оппозиции. Не чувствуя за собой морального превосходства над оппозицией, они пытались ее задавить актами полицейского произвола в духе Николая I. Но в новых

⁶ Солженицын А.И. Двести лет вместе, т. 1, С. 289. В дальнейшем том и страницы этого издания указаны в скобках.

⁷ Резник С. Хаим-да-Марья. Кровавая карусель. Исторические романы. СПб. «Алетейя», 2010, С. 341-342.

⁸ Порудоминский В. «...Равенство всех людей — аксиома». «Октябрь». №9. 2001. С. 178-183.

условиях эти акты не устрасали, а только озлобляли общество, обеспечивая широкую поддержку самым крайним антиправительственным выступлениям, включая террор. Особенно ярко это проявилось в известном деле Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Так она выразила протест против акта произвола, совершенного Треповым, который приказал высечь заключенного студента Боголюбова, не снявшего перед ним шапку в тюремном дворе. Для понимания атмосферы, царившей в обществе, важен не столько выстрел Веры Засулич, сколько реакция на него потерпевшего. Оправившись от ранения, градоначальник Трепов ездил по высокосветским гостиным, пытался как-то оправдаться в своем безобразном поступке и бормотал, что ни против Боголюбова, ни против Засулич ничего не имеет.

Арестованная террористка стала героиней дня. Лучшие адвокаты рвались защищать подсудимую, а вот прокурора, готового ее обвинять в суде, долго не находилось. Когда начался процесс, зал суда заполнило самое изысканное общество. Все симпатии были на стороне террористки, а не ее жертвы. Председатель суда А. Ф. Кони, вопреки закулисного давления, был предельно доброжелателен к обвиняемой и ее защитнику. Хотя сам факт покушения никем не оспаривался, присяжные вынесли Вере Засулич оправдательный приговор, что было понято, как прямое осуждение власти. Чувствуя общественную поддержку, террористы начали охоту на самого царя-Освободителя, чья жизнь трагически оборвалась взрывами бомб на Екатерининском канале 1 марта 1881 года.

Вместе с Александром II ушла из жизни великая эпоха. Но не пришла ли пора ей возродиться? Если Александр III, грубо оборвав преобразования отца, вернулся к курсу своего деда, Николая I, то отчего бы новому императору не возобновить курс *своего* деда, Александра II! Возможность поворота казалась тем более реальной, что об интеллигентности и мягком характере молодого императора ходили упорные слухи.

За три года до своей кончины Александр III решил женить наследника, — разумеется, на принцессе, ибо брак цесаревича должен быть династическим. Послушный сын не возражал, хотя его роман с Матильдой Кшесинской был в разгаре и приносил

им много радости. Последовали зондажи европейских дворов, выезды за границу.

Николаю приглянулась принцесса Алиса Гессенская, внучка британской королевы Виктории.

Трудно понять, чем она прельстила изысканного гвардейского офицера. Она не была дурна собой, в каком-то смысле даже красива, но это была угрюмая красота замкнутой, словно чем-то всегда испуганной и сердитой девицы. В Алисе не было живости, непосредственности, женственности, веселости — всего того, что делает молоденьких девушек привлекательными и желанными. Но она покорила сердце Никки.

Император и императрица не одобрили его выбора, послушный сын не посмел перечить. Другие царственные невесты по разным причинам отпали, и вопрос о женитьбе наследника отсрочился на неопределенное время. К неопишуемой радости Матильды Кшесинской, уже успевшей оплакать вечную разлуку, Никки утешился в ее объятиях. Но когда болезнь императора приняла крутой оборот, женитьба наследника снова стала актуальной. Александр хотел, чтобы сын срочно обеспечил продление царского рода. Но тут Никки обнаружил ту пассивную агрессивность, которую мало кто подозревал в выдержанном и приветливом молодом человеке. Он сказал, что готов жениться только на Алисе, а поскольку родители этого не одобряют, то он вступать в брак пока не желает.

Других вариантов все равно не было, а с браком император спешил.

Никки был послан в Лондон на свадьбу его кузена принца Георга Йоркского, будущего короля Георга V, где, как было известно, он мог встретиться с Алисой и сделать официальное предложение. 24 июня (6 июля) 1893 года состоялась помолвка. Начались приготовления к свадьбе. Но как ни спешили, болезнь императора прогрессировала быстрее. Пока невеста собралась и доехала до России, пока прошла обряд крещения в православную веру, Александр III скончался.

Гроб с телом почившего из Ялты доставили в Петербург. Траурная процессия двинулась в Петропавловский собор — по заранее установленному маршруту. По обеим сторонам улицы в скорбном молчании стояли войска; за спинами солдат груди-

лись толпы народа, привлеченного редким зрелищем. Когда процессия двигалась по Невскому проспекту, бравый молодой офицер-конногвардеец зычно скомандовал своему эскадрону: «Смирно!» И еще громче: «Голову направо! Смотри веселей!»

С.Ю. Витте, шедший за гробом в группе министров, с удивлением взглянув на офицера, спросил своего соседа: «Кто этот дурак?» И услышал в ответ: «Ротмистр Трепов»⁹.

В новом царствовании «дурака» ждала фантастическая карьера (как и двух его братьев). В самые трудные месяцы 1905 года именно он будет пользоваться наибольшим доверием государя и добьется отстранения Витте от власти.

Между мерзавцами и дураками

Через три недели после кончины Александра III состоялась свадьба Николая II и принцессы Алисы Гессенской, ставшей императрицей Александрой Федоровной. Свадебные торжества шли попеременно с траурными. Поспешность венчания выглядела бестактностью, но, хотя для Никки соблюдение внешних приличий имело первостепенное значение, его это не остановило. Когда престарелый министр двора граф И.И. Воронцов-Дашков намекнул, что свадьбу следовало бы отложить до окончания траура, Николай, по выражению личного секретаря Воронцова В.С. Кривенко, «закинулся, остался недоволен». Возникшее отчуждение привело к тому, что в конце концов графу Воронцову было указано на дверь¹⁰. Наиболее близкий из министров обожаемого отца, граф Воронцов стал жертвой пассивной агрессивности молодого императора. Он «почувствовал в нем опекуна, человека, знавшего его с пеленок, относившегося к нему как бы по-отечески, покровительственно. Именно слабые натуры и не выносят кажущийся им над собой контроль», — писал Кривенко¹¹.

⁹ Витте С.Ю. Воспоминания в 3-х томах. Таалинн-Москва: «Скиф Алекс», 1994. Т. II, С. 4. Дмитрий Федорович Трепов, один из трех сыновей Ф.Ф. Трепова.

¹⁰ Кривенко В.С. Из рукописи «В министерстве императорского двора», в кн.: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 34.

¹¹ Там же.

Слабые натуры не выносят контроля, но без него им сиротливо, одиноко, они потеряны и растеряны. Избегая контроля со стороны одних лиц, они тем охотнее поддаются под влияние других.

Характерен эпизод, которым Витте начинает свое повествование о Николае II.

Еще при отце его рассматривалось два альтернативных варианта для строительства базы военно-морского флота — в Либаве, на Балтике, или в Мурманске, на Баренцевом море. Стратегические преимущества Мурманска были очевидны: незамерзающий и практически недостижимый для возможного противника порт на севере делал Россию грозной морской державой, тогда как в Либаве корабли полгода были бы скованы льдами, да и в летнее время могли быть легко заблокированы в бухте флотом потенциального противника. После того, как командированный в Мурманск Витте нашел подходящую бухту, Александр III решил вопрос в пользу мурманского варианта, но указа подписать не успел. Поскольку Николай был в курсе этого дела, то он и захотел — при первом же докладе у него Витте — утвердить отцовское решение. Витте просил повременить, чтобы не сложилось впечатления, что он воспользовался неопытностью молодого государя и протолкнул свой проект за спинами оппонентов. Николай резонно возразил, что такие кривотолки исключены, так как он только подтверждает решение отца, но согласился выждать некоторое время. А через два месяца Витте прочитал в «Правительственном вестнике» высочайший указ о строительстве порта имени Александра III в Либаве. В Указе подчеркивалось, что имя покойного государя присваивается новому порту, потому что осуществляется его идея.

Оказалось, что решение Никки утвердить мурманский проект смертельно обидело главного сторонника Либавы великого князя Алексея Александровича, занимавшего пост генерал-адмирала. Сцена, которую ему закатил дядя, была для Никки — как нож в сердце. Он самолично приезжал к другому великому князю, Константину Константиновичу, — поплакаться в жилетку, но нажиму обиженного родича уступил. Он пожертвовал важными стратегическими интересами России ради того, чтобы *порадеть родному человеку*. Усвоенные им «начала» самодержавия он

понимал самым примитивным образом: Российская империя — это семейная собственность дома Романовых. Цель же своего царствования он, как хороший семьянин, видел в том, чтобы сохранить эти «начала» и передать их своему наследнику в таком виде, в каком получил от отца.

Предупредить Витте о перемене решения у него не хватило духу, так что министру финансов пришлось проглотить вдвойне горькую пилюлю, не подслащенную хоть каким-то личным объяснением. И, может быть, самый мелкий в серии мелких поступков, связанных с этим эпизодом, — трусливая попытка спрятаться за широкую спину покойного родителя.

Тут, как в капле воды, отразились почти все аспекты поведения бесхребетного царя в пиковых ситуациях. Впереди их будет много, и куда более судьбоносных с точки зрения выживания самого Николая, его семьи и империи.

Как же плохо понимало молодого государя общество, связывавшее с ним надежды на перемены! Это тотчас же обнаружилось в знаменитом приветственном Адресе тверского дворянства. Составленное в приподнятых верноподданнических тонах, это послание содержало намек на желательность того, чтобы «общественные учреждения» получили право «выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигнуть выражение потребностей и мыслей не только представителей администрации»¹².

Невинная фраза вызвала в Зимнем Дворце переполох. Автор Адреса, впоследствии один из лидеров партии кадетов и депутат всех четырех Государственных Дум Ф.И. Родичев, живописно рассказал о том, какая мышиная возня поднялась вокруг этого документа, а затем — вокруг церемонии вручения его государю.

Списки земских деятелей, которым дозволялось присутствовать на церемонии, многократно пересматривались дворцовой администрацией, сама церемония откладывалась. Съехавшиеся в Петербург земские представители судорожно совещались в своих гостиничных номерах, возражали против вычеркивания из списков отдельных имен, грозили коллективным бойкотом, после чего вычеркнутые имена восстанавливались. Наконец, в

¹² Родичев Ф.И. Из воспоминаний. В кн.: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 39-40.

парадной зале, перед выстроившимися почтительным полукругом земцами, появился бледный, затравленный государь с фуражкой в руке. Заглядывая в припрятанный внутри фуражки листок (он так и не смог заучить коротенькую речь наизусть), он испуганно прокричал свой ответ на «голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял мой незабвенный покойный родитель».

Ничего более безобразного перед лицом пришедших его приветствовать представителей земской России Николай сказать не мог, хотя вскоре получил восторженное одобрение из Берлина от своего родича кайзера Вильгельма:

«Мой рейхстаг держит себя из рук вон скверно, — писал кузен Вилли кузену Никки, — колеблясь между социалистами, подстрекаемыми жидами, и ультрамонтанами-католиками; насколько я могу судить, скоро обе партии надо будет поголовно перевешать... Вот почему я так обрадован превосходной речью, которую ты произнес перед депутациями в ответ на просьбы о реформах».

В самой России тоже не было недостатка в восторженных почитателях позорной речи — такова инерция страха и подобию-страстия. Многие представители земств, прямо из Зимнего дворца, гурьбой повалили в Казанский собор — отметить благодарственным молебном полученный плевком в лицо. Но лакейство не было всеобщим. Как вспоминал Ф.И. Родичев, предводитель харьковского дворянства князь П.Д. Святополк-Мирский в Казанский собор не пошел. А уже через день по рукам стало ходить неподписанное открытое письмо Николаю II. В нем говорилось о том, что царь нанес удар «по самым скромным надеждам» общества; что он отождествил самодержавие с чиновничеством и сословным режимом и тем самым вызвал на борьбу «живые общественные силы». «Вы первый начали борьбу, и борьба не заставит себя ждать», — говорилось в письме¹³.

¹³ Там же. С. 42

Автором самиздатского документа был молодой П. Б. Струве, будущий «легальный марксист», хотя до 1905 года он был нелегальным деятелем, а основанная им в Штутгарте независимая газета «Возрождение» следовала скорее традициям Герцена, нежели Маркса.

Струве оказался провидцем: всё царствование Николая II прошло в борьбе власти и общества.

Скандал вокруг «несбыточных мечтаний» едва перестал быть злобой дня, как разразилась куда более страшная драма — Ходынка.

На коронационные торжества в Москву съехались высокопоставленные гости со всего мира; помпезная коронация должна была продемонстрировать величие России и незыблемость самодержавных «начал». И вот эти единственные в каждом царствовании торжества ознаменовались горой растерзанных трупов. Верноподданные людишки, собравшиеся на Ходынском поле, чтобы получить копеечные государевы «гостинцы», при раздаче их смяли полицию и передавили друг друга.

Однако страшнее самого несчастья стала реакция на него коронованного властителя.

«В три часа дня мы поехали на Ходынку, — вспоминал великий князь Сандро. — По дороге нас встречали возы, нагруженные трупами. Трусливый градоначальник старался отвлечь внимание царя приветствиями толпы. Но каждое „ура“ звучало в моих глазах как оскорбление. Мои братья не могли сдерживать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки [Московского генерал-губернатора] великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжелая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддерживало Московского генерал-губернатора.

Мой брат, великий князь Николай Михайлович ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образ французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора.

— Помни, Никки, — закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза, — кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей¹⁴ останется неизгладимым пятном на твоём царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую¹⁵.

Отложить назначенный на тот вечер бал у французского посла или хотя бы не являться на него — такова естественная реакция перед лицом неожиданного несчастья. Так и советовал поступить весь выводок Михайловичей, да и почти все, кто окружал царя в эти тяжелые часы и минуты. Предлагали пойти дальше: объявить национальный траур, на три дня приостановить церемонии. Но он — такой податливый, уступающий по любому поводу, чтобы только избежать ссоры или простого неудовольствия толпившихся у трона родичей, — на этот раз, поджав мелко подрагивающие губы, молчал и смотрел прямо перед собой остекленевшими упрямыми глазами. Очевидно, верх взял нажим со стороны главного виновника несчастья — великого князя Сергея. Его желание сделать вид, будто *ничего не произошло*, импонировало государю. «Вечером Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланником. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположения, что Романовы сошли с ума».

А. Ф. Кони видел в появлении царя на балу один из примеров «отсутствия у него сердца»¹⁶. Это вряд ли справедливо. Был бы Николай беспечным гулякой, которому лишь бы повеселиться, покуражиться, поплясать, а там хоть потоп, — тогда куда ни шло. При его вялом флегматичном темпераменте его можно попрекать многим, но только не этим. Я не исключаю, что в душе он скорбел о невинных жертвах. Кроме того, он не мог не усматривать зловещего символа в том, что беда пришла в дни корона-

¹⁴ Согласно проведенному позднее расследованию, в давке на Ходынском поле пострадало 2690 человек, 1389 из них умерло. Ужас перед случившимся был столь велик, что очевидцы невольно преувеличивали число жертв. О пяти тысячах погибших можно прочитать и у других очевидцев.

¹⁵ Вел. князь Александр Михайлович. Ук. соч. С. 306.

¹⁶ Кони А. Ф. Ук. соч. С. 164

ции. При его склонности к мистике он должен был видеть в ходынском несчастье предзнаменование будущих испытаний и бедствий. Если его смятение не бросалось в глаза, то не потому, что он не испытывал смятения. Прятать свое душевное состояние под маской почти дегенеративной заторможенности уже стало для него второй натурой. А то, что, явившись на бал, он выставял себя бесчеловечным монстром, — это он высокомерно игнорировал или вовсе не сознавал. Он слишком твердо усвоил «начала» самодержавия: государь всегда прав, а если и нет, то ответ будет держать перед Богом; не смертным его судить.

При таких «началах» и при неустойчивом характере государя российское государство стало расползаться по швам. Первоначально этот процесс шел очень медленно, почти незаметно, как незаметно движение часовой стрелки на циферблате часов. Сильна еще была инерция стабильности, установившейся при его отце. Но со временем процесс распада убыстрялся, скоро его можно было уподобить ходу минутной стрелки, а затем и секундной. Одна из причин состояла в том, что «его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще недолюбливал и даже не переносил лиц <...> твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях»¹⁷.

Если государь все-таки терпел таких лиц, то по той же слабости характера да еще из пиетета к покойному отцу, частично переходившему на его сановников. Поэтому при поддержке Николая «недолюбляемому» Витте удалось провести денежную реформу и ввести в жизнь винную монополию. То и другое было начато при Александре III.

В эти же годы с большой энергией продолжалось прокладывание Транссибирской железнодорожной магистрали — то был один из самых грандиозных строительных проектов века.

Другим «обломком прошлого», которого Николай II, напротив, очень и очень «долюбливал», был обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев.

Почти во всем расходясь с Витте, Победоносцев расходился с ним и в еврейском вопросе. Александр III однажды попрекнул

¹⁷ Витте С.Ю. УК. соч. Т. II. С. 17.

министра финансов тем, что тот «стоит за евреев». Скорее всего, это было инспирировано Победоносцевым. Витте ответил государю, что если тот можете утопить всех евреев в Черном море, то он, Витте, понимаю такое решение вопроса. Если же не может, то дать им дышать, жить по-человечески. Самое неразумное и вредное – держать их *между* жизнью и смертью, ничего хорошего такая политика не принесет.

Но Победоносец стоял именно за такую политику. «Треть евреев вымрет, треть примет крещение [то есть ассимилируется и перестанет быть евреями], а треть — эмигрирует», — такова была формула *растянутого во времени* Холокоста, вычеканенная Победоносцевым. Она и проводилась в жизнь потом добрых сто лет.

«Ничего не менять!» — вот доминирующая установка Победоносцева. С таких позиций он подходил к любым проблемам, в том числе и к тому, что требовало немедленных перемен.

Набирая опыт «руководящей работы» и лучше узнавая Победоносцева, Александр III стал относиться к нему скептически. Царь видел, что его наставник может блестяще раскритиковать любую идею, но сам не способен предложить ничего конструктивного. Между тем, страной надо было *управлять*; Победоносец был в этом плохой советчик, его влияние стало падать.

Но оно снова возросло при Николае II, на которого Победоносец, по словам великого князя Сандро, воздействовал «в том направлении, чтобы приучить его бояться всех нововведений»¹⁸.

Между тем, борьба, навязанная молодым императором обществу, набирала обороты. Отбиваться от общества, *ничего не меняя*, становилось все труднее. Не сознавая, что главная проблема — он сам, государь становился все более недоволен министром внутренних дел И.Л. Горемыкиным, на котором лежало обеспечение порядка и спокойствия во всей державе.

По свидетельству Витте, Горемыкин «был довольно либерального направления», но «под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику»¹⁹. Однако он был безынициативен, трусоват, действовал с оглядкой; и царь захотел посадить на его место «сильного чело-

¹⁸ Вел. кн. Александр Михайлович. УК. соч. С. 309.

¹⁹ Витте С.Ю. УК. соч. Т. II. С. 37.

века», так как «ему надоели пешки». Обратившись за рекомендацией к Победоносцеву, он услышал:

«— Есть два человека, которые принадлежат к школе вашего августейшего отца. Это Плеве и Сипягин. Никого другого я не знаю.

— На ком же из двух остановиться?

— Это безразлично. Оба одинаковы, ваше величество. Плеве — мерзавец, Сипягин — дурак.

Николай II нахмурился.

— Не понимаю вас, Константин Петрович, я не шучу.

— Я тоже, ваше величество. Я осознаю, что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее теплое дуновение весны, и все рухнет. Задача эта может быть выполнена только людьми такого калибра, как Плеве и Сипягин»²⁰.

Портфель министра внутренних дел достался «дураку». Два года спустя, будучи в гостях у Сипягина, Витте дружески заметил ему, что «он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества». Тот ответил, что иначе поступать не может: «наверху» (выше был только царь) даже эти меры считаются недостаточно строгими²¹.

2 апреля 1902 года Сипягин приехал на заседание Комитета министров. К нему подошел офицер в адъютантской форме и протянул пакет из Москвы — от великого князя Сергея Александровича. Сипягин взял пакет, но в этот момент курьер выхватил браунинг и выстрелил несколько раз в упор.

Схваченный на месте преступления террорист оказался бывшим студентом Балмашовым. Он был повешен. Сипягин скончался в больнице, не приходя в сознание. Он поплатился за «чересчур резкие меры», которые наверху считались чересчур мягкими.

«Дурака» Сипягина сменил «мерзавец» Плеве, вожделенно рвавшийся к высшему правительственному посту уже много лет.

²⁰ Вел. кн. Александр Михайлович. Ук. соч. С. 309; Витте описывает этот разговор в сходных выражениях (только Плеве назван не *мерзавцем*, а *подлецом*), но относит его к более раннему времени, еще до назначения Горемыкина. (Витте С.Ю. Т. II. С. 34.) В контексте нашего повествования это разночтение несущественно.

²¹ Витте С.Ю. Ук. соч., Т. II., С. 191.

Его обошел Горемыкин, потом Сипягин, и теперь он был полон решимости доказать, что уж он-то наведет порядок! Он-то способен на такие меры, что земля содрогнется! Он-то сможет загнать обратно в бутылку вырвавшегося джинна крамолы!

Как и его предшественник, Плеве продержался на столь вождественном посту всего два года. Бомба, брошенная в его карету эсеровским боевиком Евгением Созоновым, остановила его «энергичные» меры. Однако и за этот недолгий срок Плеве успел так похабно наследить в русской истории, что и через сто с лишним лет его имя звучит как синоним кровавых оргий и грязных провокаций. Добился же он только того, что крамола в стране продолжала нарастать с неудержимой быстротой. Не помогли карательные экспедиции против крестьян, репрессии против студентов, скулодробительные акции против рабочих, ссылка, каторга, даже смертная казнь, применявшиеся против активных революционеров²². Спровоцированный Плеве еврейский погром в Кишиневе не затормозил надвигающуюся революцию, а ускорил²³. Не помог и следующий погром — в Гомеле, где, к тому же, погромщикам дала отпор еврейская самооборона. На суде, погром был представлен как банальная драка, причем погромщики и давшие им отпор евреи рассматривались равно виновными. Все попытки защитников внести ясность в существо событий пресекались судом. Протестуя против профанации правосудия, защитники подсудимых евреев демонстративно покинули судебное заседание.

Солженицын повествовал о Гомельском погроме в полном соответствии с позицией властей, а уход адвокатуры комментировал следующим образом: «Этот находчивый и революцион-

²² Некоторые авторы любят подчеркивать, насколько мягко царский режим обходился со своими противниками, отправляя их в ссылку, где жизнь «несчастных страдальцев за народное дело» походила на курорт, да и бежать из ссылки было легко. Проводится сопоставление с режимом ГУЛАГа. Конечно, царская карательная система была мягче советской, однако политические преступники, прибегавшие к насилию или подстрекательству к насилию, присуждались к долгой или бессрочной каторге и к смертной казни. К ссылке же приговаривали тех, кто был изобличен или только подозреваем в незначительные преступлениях. Широко практиковалась административная ссылка без следствия и суда. Когда Ленина, Троцкого, Сталина и многих других отправляли в ссылку, то именно потому, что они не были уличены в серьезных преступлениях.

²³ См.: С. Резник. Хаим-да-Марья. Кровавая карусель. Исторические романы. Спб., «Алетейя», 2006, С. 215-400.

ный ход либеральной адвокатуры был вполне в духе декабря 1904 — взорвать само судоговорение!» (стр. 345).

Но адвокаты и раньше прибегали к такой крайней мере, к примеру, в Полтаве в 1902 году, когда судили крестьян, участвовавших в бунте и уже подвергнутых телесным наказаниям. Удоверить это на суде было необходимо для спасения подсудимых от каторги, ибо закон запрещал дважды наказывать за одно и то же преступление. Однако, когда защитник кого-либо из обвиняемых пытался привести доказательства тому, что его клиент уже был наказан карателями, судья его обрывал, отказывал в вызове свидетелей, заявляя, что это не имеет отношения к делу. Лишенные возможности эффективно выполнять свой профессиональный долг, адвокаты, посоветовавшись (между прочим, в доме В. Г. Короленко), решили выразить протест совместным уходом из зала суда. Адвокаты не были революционерами, но сама власть толкнула их на революционный акт!

Таковы были успехи Плеве в борьбе с крамолой.

Когда Плеве исчерпал все свои полицейско-провокаторские ресурсы, то решил прибегнуть к последнему средству: «маленькой победоносной войне». По его понятиям, она должна была пробудить в народе патриотические чувства и сплотить его вокруг шаткого трона. Но «маленькая победоносная война» с первых же дней стала превращаться в крупнейшее и позорнейшее поражение. Это окончательно ввергло страну в анархию.

Отдавая должное «мерзавцу», мы не должны забывать, что власть ему принадлежала постольку, поскольку он выполнял волю своего государя, выдерживавшего за его спиной роль тихони.

Безобразовщина

1904-1905

Тихоня навязал борьбу не только «живым общественным силам» страны. Не в меньшей мере он оказался склонен к внешним авантюрам. Остановить его мог только страх тяжелых последствий, а отнюдь не чувство чести или порядочности. Но оценивать меру риска он не умел — для этого у него не доставало

стратегического мышления и политического чутья.

Беда чуть было не случилась уже в конце 1896 года, вскоре после Ходынки, когда посол России в Константинополе А. И. Нелидов явился с проектом захватить Босфор, воспользовавшись внутренней смутой в Турции. На собранном под председательством государя совещании против авантюры решительно высказался С.Ю. Витте. Он напомнил о Берлинском трактате, подписанном после Балканской войны, в конце царствования Александра II. Россия тогда, ценой тяжелых жертв, одержала победу над Турцией и навязала ей выгодные для себя условия мира; но вмешались европейские державы и заставили отказаться почти от всех преимуществ, добытых кровью русских солдат. Витте говорил, что если России и удастся захватить Босфор, снова вмешаются европейские державы, и тогда придется уйти ни с чем либо ввязаться в большую войну. Однако другие участники совещания, стараясь потрафить прямо не высказанному, но всем понятному желанию царя, поддержали Нелидова, и Николай объявил о своем самодержавном решении: спровоцировать конфликт и — брать Босфор!

То была напускная бравада. В душе Николай боялся ответственности за возможный провал и хотел переложить ее на других. Соответственно и «журнал» (то есть протокол) обсуждения босфорской авантюры был сфальсифицирован: решение подавалось в нем как единогласное. Получив этот журнал на подпись, Витте вернул его с письмом государю, в котором напоминал о своем несогласии с остальными участниками совещания. Он верноподданнически просил внести в журнал его особое мнение, так как он предвидит непоправимые бедствия, к которым приведет захват Босфора, и не хочет, чтобы потомки считали его причастным к этому решению. Демарш министра финансов заставил государя заколебаться, и Витте попытался дожать его, прибегнув к закулисной интриге (когда такие методы применялись другими, он их гневно осуждал). Он ввел в курс дела своего антипода К.П. Победоносцева и великого князя Владимира Александровича, объяснил им, какая каша может завариться. Оба имели большое влияние на Николая и сочли нужным его предостеречь. Кончилось тем, что царь дал отбой. Но сама лег-

кость, с какой он склонился к авантюре, не предвещала ничего хорошего.

В Голландии, в Гааге, имеется единственное в своем роде учреждение — Международный дворец мира. Здесь же располагается Международный суд ООН — в нем судят военных преступников. Здесь ведется научно-исследовательская работа по международному праву.

Вместе с тем, Дворец мира — это великолепный музей, в нем не иссякает поток посетителей. Обязательные гиды рассказывают об удивительной истории этого учреждения. В строительство музея и в то, что ему придан современный облик, внесли свою лепту десятки стран мира, а также крупные частные фонды, в особенности фонд Эндрю Карнеги. А начало было положено в 1898 году на Международной гаагской конференции, созванной по инициативе императора России Николая II. Его парадный портрет занимает в экспозиции почетное место, ибо это он выступил с великой идеей всеобщего разоружения и отказа от решения международных конфликтов военным путем.

Идеи, воплощенные в Дворце мира, до сих пор не стали определяющими в международных делах, но они живут второе столетие, набирают сторонников, и, может быть, когда-нибудь восторжествуют. То, что русский царь стоял у истоков этого гуманнейшего начинания, делает ему честь. Однако, когда узнаешь о генезисе его инициативы, то романтический ореол вокруг нее сильно тускнеет.

Началось с того, что разведка донесла о широкой программе обновления артиллерии в австрийской армии. Россия только что приступила к перевооружению пехоты, на что военному министерству были отпущены большие средства, а с артиллерией решили повременить: она была не хуже, чем у потенциальных противников. Австрийское начинание спутало расчеты. Военный министр А.Н. Куропаткин настолько растерялся, что обратился к министру иностранных дел Н.М. Муравьеву с предложением воздействовать на Австрию дипломатически: пусть повременит с модернизацией артиллерии, пока Россия не будет готова к тому же!

Витте, с которым снесся по этому вопросу Муравьев, высмеял генерала: уж лучше залезть в новые долги и ассигновать необходимые средства на артиллерию, чем демонстрировать свою несостоятельность. В ходе разговора Витте стал рассуждать о том, как много средств во всех странах тратится на вооружение, как это вредит экономике и каким благом для Европы и всего мира могло бы обернуться международное соглашение о том, чтобы положить этому предел. «Хотя мои мысли не представляли ничего особенно нового, — замечает Витте, — но для Муравьева при полной его некультурности в серьезном смысле этого слова многие из моих мыслей явились совершенно новыми»²⁴. Муравьев доложил обо всем государю. Так родилась инициатива о созыве международной мирной конференции: гуманное начинание Николая II было всего лишь военно-дипломатической хитростью!

«Тем не менее, — подытоживал Витте, — величайшая заслуга государя, что он возбудил этот вопрос, но, конечно, будет еще большая заслуга, если в дальнейшем царствовании своем он своими действиями покажет, что мирное предложение, им сделанное, представляет не только внешнюю форму, но содержит в себе и практическую реальность. К величайшему сожалению, надо признаться, что на практике пока мысль о мирном разрешении вопроса осталась в области разговоров, Россия сама делает пример совершенно обратный тому, что было предложено ее монархом, ибо несомненно, что вся Японская война и кровавые последствия, от этого происшедшие, не имели бы места, если бы мы не на словах, а на деле руководствовались мирными великими идеями»²⁵.

Это было написано в 1912 году. Через два года, втавив Россию в совершенно не нужную ей мировую войну, Николай еще раз показал истинную цену своих мирных устремлений.

Авантюры Николая на Дальнем Востоке были серией безумств, спровоцировавших «маленькую победоносную войну», обернувшуюся большим кровавым позором.

«Кто виноват в этой войне? — спрашивал Витте и отвечал. — В сущности никто, ибо единственно кто виноват, это самодер-

²⁴ Витте С.Ю. Ук. соч. Т. II. С. 153.

²⁵ Там же, С. 155.

жавный и неограниченный император Николай II. Он же не может быть признан виновным, ибо он не только, как самодержавный помазанник Божий, ответственен лишь перед Всевышним, но, кроме того, с точки зрения новейших принципов уголовного права, он не может быть ответственен, как человек если не совсем, то, во всяком случае, в значительной степени невменяемый»²⁶.

Круг событий, предшествовавших войне, показывает, насколько безнравственным был российский самодержец, считавший себя верующим христианином, но попиравший все Божьи и человеческие заповеди.

Широко распространено убеждение, что мораль и политика — две вещи несовместные. Однако дальновидной и мудрой может быть только честная и гуманная, то есть нравственная, политика. Обманом, коварством, провокациями, жестокостью можно порой добиться сиюминутных выгод, но в дальней перспективе такая политика обречена на провал.

Для достижения химерических целей на Дальнем Востоке Николай и его правительство пустили в ход арсенал самых низких средств: ложные посулы, лицемерие, подкуп, нарушение договорных обязательств и — бесчисленные убийства своих и чужих... Самодержец всероссийский оставался верен себе в главном: как истый революционер, он постоянно строил интриги против своих собственных помощников, вступая в сговор с одними сатрапами за спиной других, а затем предавая первых под напором вторых.

Строительство транссибирской магистрали побудило царское правительство всемерно улучшать отношения с Китаем, и пока эта политика проводилась честно, она приносила богатые плоды. Россия получила согласие на проведение части дороги по китайской территории, что значительно спрямляло, удешевляло и ускоряло постройку. Дорога, все сопутствующие сооружения и полоса отчуждения, охраняемая российскими войсками и пограничной стражей, оставались полностью под контролем России. Отношение китайских властей и населения к служащим

²⁶ Там же. С. 269.

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и ее охране самое дружелюбное.

Позиции России на Дальнем Востоке в еще большей мере укрепили договоры, заключенные в Москве во время коронации 1896 года. По одному из них, Россия стала гарантом территориальной целостности Китая, еще теснее привязав к себе гиганта, на который с вожделием поглядывали колониальные державы. По другому договору, Япония отказалась от каких-либо притязаний в Корее. А по договору с Кореей, Россия направила в нее военных и финансовых советников и небольшой контингент войск. Практически вся финансовая и экономическая жизнь этой страны перешла под контроль России, причем, без какого-либо противодействия со стороны других держав.

Когда японские войска вторглась на Ляодунский полуостров, Россия добилась их ухода. Дружеское расположение китайских властей и всего населения к России возросли еще больше; и, хотя отношения с Японией ухудшились, она смирилась со своей неудачей.

И вдруг германский морской десант совершил высадку в китайском порту Циндао, причем оказалось, что Россия, несмотря на договорные обязательства по отношению к Китаю, потребовать их удаления не может, так как кузен Никки «неосторожно» дал кузену Вилли согласие на этот разбой. Более того, склонный к авантюрам министр иностранных дел граф М. Н. Муравьев составил записку, в которой предлагал воспользоваться акцией кузена Вилли для собственного разбоя, а именно, для захвата Порт-Артура и бухты Даляньвань, куда незамедлительно была направлена российская эскадра.

Против новой авантюры опять возражал Витте, доказывая, что такое неслыханное коварство подымет против России дружественный Китай и разъярит Японию. Кроме того, удерживать Порт-Артур будет невозможно без проведения к нему железно-дорожной ветки от Восточно-Китайской дороги, а для ее охраны придется оккупировать значительную часть Ляодунского полуострова, что еще больше ожесточит и Японию, и Китай, да и другие страны вряд ли останутся в стороне.

Доводы Витте, как и в случае с Босфором, произвели впечатление на Николая; он объявил, что муравьевский проект не

утверждает. Но все уже знали, что решение царя редко бывает окончательным. Николая продолжали тянуть в разные стороны, и на этот раз верх взял Муравьев, придумавший новое основание для авантюры: вблизи Порт-Артура появились британские корабли; если «мы» прозеваем, то там высадятся англичане.

Британцы высадки не планировали, и это легко было выяснить по дипломатическим каналам. Но подзуживаемый Муравьевым, Николай предпочел не выяснять: слишком уж у него чесались руки. При этом ему хотелось верить, что он меняет решение самостоятельно — ввиду изменившихся обстоятельств.

Муравьев уверял китайские власти, что русские корабли прибыли к тихоокеанскому побережью, чтобы заставить уйти немцев: как только те уберутся, русские тоже уйдут. Китайцы верили. И вдруг посланник России в Пекине потребовал, чтобы Китай передал ей «в аренду на 36 лет» Порт-Артур, бухту Дальянвань и часть Ляодунского полуострова (Квантунскую область). Потрясенная коварством союзника, императрица-мать (регентша при малолетнем китайском императоре) отказалась выполнить это требование. Серьезной военной силы у нее не было, но послы Англии и Японии обещали поддержку — это придавало ей твердости. В воздухе запахло войной.

Стремясь предотвратить катастрофу, Витте обратился к германскому послу Родолину с просьбой передать от него лично кайзеру Вильгельму совет: уйти из Китая во избежание неправимых бед и для Германии, и для России. Вильгельм велел передать Витте, что тот зря беспокоится: ему, видимо, неизвестны некоторые обстоятельства (то есть соглашение между Никки и Вилли, утаенное Николаем от собственных министров). Между тем, эта переписка была перехвачена министерством иностранных дел, дешифрована, и торжествующий Муравьев доложил о ней царю. Очередной доклад министра финансов был встречен с предельной холодностью. Завершая аудиенцию, царь предупредил его, что ему следует быть осторожнее в беседах с иностранными послами.

Витте вынужден был просить об отставке, мотивируя тем, что он, по-видимому, утратил доверие своего государя. Николай ответил, что вполне доверяет ему *как министру финансов* и просит остаться. Это означало, что, по крайней мере, частично

царь ему доверять перестал, а, стало быть, отставка неминуема в ближайшее время.

В отчаянной попытке вернуть утерянные позиции, Витте решил доказать свою преданность не вполне обычным путем. Он дал указание представителю российского министерства финансов в Китае встретиться с наиболее влиятельным китайским сановником Ли Хун-Чжаном и его ближайшим сподвижником Чан Ин-Хуаном и от имени Витте (который хорошо знал обоих) настоятельно рекомендовать им убедить императрицу-мать, что она должна принять условия России. В случае успеха первому сановнику было обещано полмиллиона, а второму — четверть миллиона рублей.

Вскоре пришел положительный ответ, и когда Витте телеграммой сообщил об этом царю, тот в недоумении написал: «Не понимаю, в чем дело?» А когда разъяснилось, как дешево досталась «аренда» лакомого куска территории Китая, Николай отметил: «Это так хорошо, что даже не верится»²⁷.

Витте уверяет: то был единственный случай, когда он прибегнул к подкупу иностранных сановников. Если так, то случай вдвойне поучителен. Витте вернул себе фавор совсем ненадолго: отставка его все равно была неизбежна. Оба китайских сановника после этой сделки утратили всякое влияние; один из них окончил дни в тюрьме, где, видимо, был умерщвлен. А вечно колеблющегося Николая «блестящая» операция лишь поощрила на новые авантюры.

Захват Порт-Артура и Квантунской области прошли гладко, но отношение к России в Китае резко изменилось. Население из дружелюбного превратилось во враждебное. Началось так называемое боксерское восстание, которое принесло много материальных потерь и стоило немало жизней служащим КВЖД и ее охране. Но Петербург ликовал: появился повод для новых захватов.

Под предлогом усмирения «боксеров» Россия ввела войска в Манчжурию, был разграблен Пекин, в том числе императорский дворец, спешно покинутый его обитателями. «Боксеров» усмирили, но уходить из Китая не собирались. Генерал А.Н. Куропат-

²⁷ Витте С.Ю. Ук. соч. Т. II. С. 135-136.

кин, воинственный и недалекий, уверял, что Манчжурия так и останется российской провинцией.

Эти события до предела обострили отношения России с Японией, и на сторону последней стали почти все крупные державы: Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, даже Германия, с которой всё и началось. Все настаивали на удалении российских войск из Манчжурии, а Япония потребовала за уступку Ляодунского полуострова вознаграждение в виде Кореи. Россия вынуждена была принять эти условия. Так гора родила мышь, да и та оказалась дохлой.

Но и на этом дальневосточные авантюры венценосного революционера не прекратились.

Вместо умершего в 1900 году графа Муравьева Министром иностранных дел был грамотный дипломат и уравновешенный политик граф В.Н. Ламсдорф. Но скоро выяснилось, что царь с его мнением не считается. Роль министра иностранных дел была сведена к *оформлению* чужих решений. Зато великий князь Сандро — человек неугомонный, авантюрного склада — охотно вмешивался во все и вся, включая внешнюю политику. Он отыскал «знатока» дальневосточных дел, отставного ротмистра А. М. Безобразова, ввел его в Зимний Дворец, и тот очаровал государя «хитроумным» проектом ползучего возвращения в Корею.

Коль скоро договор с Японией не позволял правительству России соваться в эту страну, то пусть в нее проникают частные фирмы! Такова была светлая мысль Безобразова. Пусть они заключают сделки, берут концессии на всяческие разработки в Корею, вгрызаются в ее природные богатства, прибирают к рукам ее экономику, а субсидировать их и действовать за их спиной будет государство! Эти детские хитрости и легли в основу дальневосточной политики империи. Николай не понимал, что надувает не Японию, а самого себя.

Об опасности безобразовского курса неустанно говорил государю Витте, его осторожно поддерживал граф Ламсдорф, о том же Николаю писал князь В. П. Мещерский²⁸, имевший на него

²⁸ В.П.Мещерский издавал крайне реакционную и лакейскую газету «Гражданин», на которую ежегодно получал щедрую правительственную субсидию. Будучи гомосексуалистом, он постоянно находился в окружении «любимцев», о чьей судьбе проявлял неустанную заботу. Благодаря его связям и влиянию все они делали головокружительную карьеру на

немалое влияние, один из немногих, с кем государь был на «ты». Государь не спорил, но продолжал закулисные интриги с отставным ротмистром, который не занимал никакого официального поста и ни за что не отвечал. Мещерскому царь ответил в характерном для него стиле конспиратора: «6 мая [1903 года] увидят, какого мнения по этому предмету я держусь»²⁹.

6-го мая тайное стало явным: Безобразову был пожалован пост статс-секретаря его величества. Когда его жена (из-за болезни она жила в Женеве, но приехала представляться при дворе) узнала, какую силу забрал ее благоверный, она не могла сдержать изумления: «Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный»³⁰.

Полупомешанный стал поводырем полуневменяемого.

Япония не раз обращалась с предложениями урегулировать спорные вопросы и всю систему двухсторонних отношений, но Николай, демонстрируя свое пренебрежение к «макакам», высокомерно отвечал послу страны восходящего солнца: «Япония дождется того, что рассердит меня». Для вящего посрамления «макашек» все дела с ними, как заведомо мелкие, были переданы начальнику Квантунской области, возведенному в ранг заместителя на Дальнем Востоке, адмиралу Е. И. Алексееву. Это само по себе было оскорбительно для суверенной державы, а при полной никчемности адмирала Алексеева прямо вело к конфликту.

Карьера Алексеева была одиозна даже по тем временам. Молодым морским офицером он попал в свиту великого князя Алексея Александровича и угождал ему особой услужливостью. Оказавшись в Марселе, великий князь с компанией русских моряков отправился «в веселое заведение с дамами», где подвыпивший член императорской фамилии так надебоширил, что в «заведение» явилась полиция. Запахло международным скандалом. А наутро в полицейский участок пожаловал молодой офицер Алексеев и дал показания, что это он бесчинствовал в публичном доме, а не великий князь Алексей; в протоколе-де

государевой службе, благодаря чему усиливалось влияние самого Мещерского.

²⁹ Витте С.Ю. Ук. соч. Т. II. С. 227.

³⁰ Там же, С. 174.

оказалась ошибка из-за сходства имени одного и фамилии другого.

За подобные услуги великий князь и двигал вверх Алексеева. Не пройдя реальной выучки ни в сухопутных войсках, ни во флоте, ни в административном аппарате, он оказался во главе дальневосточной политики империи, а затем — воюющей армии.

Возможно, инстинкт самосохранения все-таки удержал бы Николая на краю пропасти, если бы вслед за Безобразовым его не стал в нее спихивать министр внутренних дел Плеве. Для борьбы с надвигающейся революцией ему требовалась «маленькая победоносная война». Последним препятствием оставалось сопротивление министра финансов. Витте был честолюбив и хотел удержаться у власти, но не любой ценой: ему было важно, какое место он займет в истории. Неминуемо приближался день, когда царь, с необычной любезностью выслушав его очередной доклад и, пряча глаза от смущения, произнес:

«Я вас хочу назначить на пост председателя комитета министров, а на пост министра финансов я хочу назначить [управляющего государственным банком Э. Д.] Плеске». И — с лицемерным недоумением: «Разве вы недовольны этим назначением? Ведь это самое высокое место, какое только существует в империи»³¹.

«Высокое место» было почетной отставкой, так как главой правительства был царь, каждый министр отчитывался только перед ним и получал указания только от него. Когда обескураженный Витте удалился, Николай с облегчением перевел дух, сказав только одно слово: «Уф»³². Гора спала с плеч многострадального Иова: ведь он так не любил обижать людей! Но другого выхода у него не было, путь к катастрофе должен был быть расчищен!

Самым поразительным было то, что, провоцируя военный конфликт с Японией, великий конспиратор не считал нужным к нему готовиться. Война началась в январе 1904 года «неожиданным» нападением японских кораблей на русскую эскадру и осадой Порт-Артура. Николай заметил, что это для него как була-

³¹ Витте С.Ю. Ук. соч., С. 232

³² Там же, С. 269.

вочный укол, хотя тысячи русских моряков уже кормили рыб на дне Тихого океана. Попытки Плеве инспирировать массовые патриотические шествия провалились. Война с самого начала была непопулярной, а по мере того, как приходили вести о поражениях, все более крупных и позорных, она становилась более и более ненавистой.

С развитием событий на Дальнем Востоке вал революционного движения пошел круто вверх. В июле 1904 года эсеровский боевик Егор Созонов достал-таки Плеве. Взрывом бомбы все-ильного министра разнесло на куски. Сам террорист был тяжело ранен, контужен и тут же избит. Когда Созонов-отец выехал из родной Уфы в Петербург, чтобы как-то облегчить участь арестованного сына, он боялся, что в поезде его узнают и — растерзают. Его узнали. И стали обнимать, откупоривать бутылки шампанского, произносить тосты в честь его сына. Созонов-отец был богатым лесопромышленником и ездил в первом классе, так что его попутчиками были добропорядочные и весьма состоятельные обыватели, отнюдь не революционеры. Ненависть к первому министру и олицетворяемому им режиму была всеобщей.

Убийство Плеве показало, наконец, Николаю, как далеко завела его десятилетняя борьба против общества. Не на шутку перепугавшись, он назначает на главный пост в стране князя П. Д. Святополка-Мирского — человека иного склада и ориентации. Будучи Виленским губернатором, он проводил политику сотрудничества с общественными кругами и сумел в сложном, весьма пестром по религиозному, этническому и социальному составу крае заслужить высокую репутацию и пользовался всеобщим уважением.

Сделав его министром внутренних дел, царь показал, что «несбыточные мечтания» все-таки могут сбыться, и очень скоро. В первом же выступлении перед чинами министерства Святополк-Мирский сказал: «Плодотворность правительственного труда основана на искренне благожелательном и искренне доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы по-

лучим мы взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устройства государства»³³.

Таких слов от власти в России не слышали, кажется, за всю ее тысячелетнюю историю!

В числе первых дел нового министра было — возвращение из ссылки земских деятелей, попавших в опалу при Плеве, и ослабление цензуры. Началась эпоха *гласности и перестройки*. Становилось похоже на то, что власть — в лице нового министра внутренних дел — *искренне* готова к сотрудничеству с общественными силами.

Но Николай, поддавшись этому настроению из страха, тотчас дал задний ход. Прямо и косвенно Мирскому стали ставить палки в колеса. Слово «выборы», появившееся в некоторых его документах, для Николая было крамольным. Напрасно Мирский внушал государю, что промедление смерти подобно, так как ситуация выходит из-под контроля. Николай давал обещания и тотчас от них отказывался. А общество, видя, что кулак власти стал разжиматься, усиливало нажим.

В декабре 1904 года Святополк-Мирский подготовил царский указ о разработке целого ряда реформ, где главным было положение о созыве «представительных учреждений». Но царь снова вычеркнул крамольный пункт, в значительной мере обесценив весь документ. Он не терпел «парламентриядии адвокатов». Презрительный неологизм он соорудил из слов *парламент* и *Финляндия*. Особый статус Финляндии с ее сеймом и конституцией не давал царю покоя; он не раз пытался ограничить полномочия сейма, обломать непослушных депутатов, что приводило к острым эксцессам. Финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков, рьяно проводивший политику подавления свобод, гарантированных финляндской конституцией, вскоре будет убит террористом. Даже императрица-мать, Мария Федоровна, тщетно просила сына «не травить финляндцев». И вот теперь, «парламентриядию» ему предлагали распространить на всю империю! Это никак не совмещалось с усвоенными им «началами».

³³ Цит. по: Игнатъев А.В., Голиков А.Г. Комментарии. В кн.: Витте С.Ю. ук. соч. Т. II. С. 554.

Однако остальные пункты программы Мирского были утверждены. Конкретная разработка реформ поручалась канцелярии Комитета министров, что частично возвращало к активной деятельности Витте, в котором Мирский видел своего союзника. Томившийся бездельем Витте стал энергично создавать комиссии и особые совещания по подготовке решений в духе новых начинаний. В короткий срок были подготовлены проекты постановлений о водворении законности, о веротерпимости, об облегчении положения старообрядцев и сектантов, о свободе пользования украинским языком, в то время запретным. Возобновилась работа по земельной реформе, начатая им еще в 1903 году, по рабочему законодательству, по подготовке более либерального цензурного устава.

Напуганный государь большинство предложений утверждал без сопротивления. Но вскоре он «по обыкновению заколебался», ибо «пошли наушничанья из темных углов», и «сделав шаг вперед, он уже решил сделать шаг назад»³⁴. А ведь речь шла об очень умеренных реформах, идущих навстречу не столько даже требованиям общества, сколько требованиям здравого смысла.

«То, что говорилось [в Комитете министров], почиталось бы между всеми конституционными фракциями, не говоря о тайных и явных революционерах, обскурантизмом», признавал тот же Витте³⁵.

С Дальнего Востока приходили вести о новых тяжелых поражениях. Без толку и смысла гибли тысячи солдат. Под напором общественности царь назначил командующим военного министра А.Н. Куропаткина, тогда еще пользовавшегося престижем решительного вояки, но оставил на посту главнокомандующего адмирала Е.И. Алексеева. Перед отъездом в действующую армию Куропаткин пришел к Витте за советом: что ему делать по прибытии на место? Тот ответил, что первым делом следует арестовать адмирала Алексеева и отправить его под конвоем в Петербург, а царю послать телеграмму с просьбой либо казнить за самоуправство, либо дать возможность вести войну с несвязанными руками, ибо ничего не может быть опаснее на войне, чем

³⁴ Витте С.Ю., Ук. соч., С. 342

³⁵ Там же.

двоевластие. Куропаткин это понимал, но совету последовать не мог. Не того калибра был человек.

Двоевластие в Дальневосточной армии отражало дwoедушие мечущегося государя. Шарахаясь из стороны в сторону, он с неумолимой последовательностью принимал самые губительные решения. Великий князь Сандро картинно живописует, как несколько раз убеждал Николая *не* посылать на Дальний Восток эскадру адмирала З. П. Рожественского и как Николай «твердо» с ним соглашался, а затем столь же «твердо» менял свое решение. Произошло неминуемое:

«Наш флот был уничтожен в Цусимском проливе, адмирал Рожественский взят в плен. Если бы я был на месте Никки, я бы немедленно отрекся от престола. В Цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя (будто в чем-то другом самодержиц мог винить других, но не себя! — *С.Р.*). Он должен был бы признаться, что у него недоставало решимости отдать себе отчет во всех последствиях этого самого позорного в истории России поражения. Государь ничего не сказал, по своему обыкновению. Только смертельно побледнел и закурил папиросу»³⁶.

Положение на внутренних фронтах складывалось еще опаснее, чем на дальневосточном. Здесь тоже царило двое- и многовластие. Даже самые крутые приверженцы самодержавия не строили иллюзий относительно того, на ком лежит основная вина за переживаемые бедствия. Один из наиболее образованных и умных «монархистов» Б. В. Никольский³⁷, представлявшийся государю в апреле 1905 года, записал в дневнике:

«Нервность его ужасна. Он, при всем самообладании и при вычке, не делает ни одного спокойного движения, ни одного спокойного жеста. Когда его лицо не движется, то оно имеет вид насильственно, напряженно улыбающийся. Веки все время едва

³⁶ Вел. кн. Александр Михайлович. Ук соч. С. 341.

³⁷ Борис Владимирович Никольский был профессором Римского права, преподавал в Юрьевском и Петербургском университетах и в элитарном училище Правоведения. Был активным участником и идеологом монархического «Русского собрания», из которого затем вырос «Союз русского народа». После раскола «Союза» в 1908 году Никольский примкнул к группе Дубровина, хотя в дневнике характеризовал его «противным, грубым животным». Принимал активное, хотя и не афишировавшееся, участие в разработке стратегии черносотенцев в связи с делом Бейлиса.

уловимо вздрагивают. Глаза, напротив, робкие, кроткие, добрые и жалкие. Когда говорит, то выбирает расплывчатые, неточные слова, и с большим трудом, нервно запинаясь, как-то выжимая из себя слова всем корпусом, головой, плечами, руками, даже переступая... Точно какая-то непосильная ноша легла на хилого работника, и он неуверенно, шатко, тревожно ее несет»³⁸.

Никольский считал, что «не быть ему [самодержавию] нельзя... Быть или не быть России, быть или не быть самодержавию — одно и то же»³⁹. Но, по мере ухудшения ситуации, записи в его дневнике становились все более жесткими, даже заговорщическими. Вот пассаж от 15 апреля: «Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он — прости меня Боже, — полное ничтожество. Если так, то нескоро искупится его царствование. О, Господи, неужели мы заслужили, чтобы наша верность была так безнадежна?.. Я мало верю в близкое будущее. *Одного* покушения [на царя] теперь мало, чтобы очистить воздух. Нужно что-нибудь сербское. [В Сербии в 1903 году группой офицеров был совершен государственный переворот; король и королева были убиты.] Конечно, мне первому погибать. Но мне жизни не жаль — мне России жаль»⁴⁰.

26 апреля: «Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что творит, губит Россию. Не будь я монархистом — о, Господи! Но отчаяться в человеке для меня не значит отчаяться в принципе»⁴¹.

19 мая: «В какое ужасное время мы живем! Чудовищные события в Тихом океане превосходят все вероятия. Что дальше будет, жутко и подумать...Конец России самодержавной и, в лучшем случае, конец династии. На чудо рассчитывать нечего... Но, конечно, если бы я верил в чудеса и в возможность вразумить глупого, бездарного, невежественного и жалкого человека, то я предложил бы пожертвовать одним-двумя членами династии, чтобы спасти ее целостность и наше отечество. Повесить, например, Алексея и Владимира Александровичей, Ламсдорфа

³⁸ Дневник Бориса Никольского. «Красный архив». 1934. Т. 2 (63). С. 72.

³⁹ Там же, С. 73.

⁴⁰ Там же, С. 80.

⁴¹ Там же, С. 80-81.

и Витте, запретить по закону великим князьям когда бы то ни было занимать ответственные посты, расстричь Антония⁴², разогнать всю эту шайку и пламенным манифестом воззвать к народу, заключив мир до боя на сухом пути. Тогда еще все могло бы быть спасено. Но это значит: распорядись, чтобы сейчас стала зима. Замени человека другим человеком... Я не Бог, чтобы из бабы делать мужчину, из Николая — Петра... Агония может еще продлиться, но что пользы?.. Династия — вот единственная жертва. Но где взять новую? Ведь придворный переворот безнадежен, ибо при нем — долой закон о престолонаследии, а тогда полная смута. Словом, конец, конец!.. Еще если бы можно было надеяться на его самоубийство — это было бы все-таки шансом. Но где ему!..»⁴³

Вот когда, оказывается, — не у эсеровских боевиков, а у самых крайних «патриотов» и адептов самодержавия — возникла мысль о необходимости устранить Николая! Впрочем, есть свидетельство, на мой взгляд, сомнительное, что еще раньше, в 1903 году, Витте обратился к главе департамента полиции А.А. Лопухину с конкретным предложением:

«У директора Департамента полиции ведь, в сущности, находится в руках жизнь и смерть всякого, в том числе и царя, — так нельзя ли дать какой-нибудь террористической организации возможность покончить с ним; престол достанется его брату (тогда еще сына у Николая II не было), у которого я, С. Ю. Витте, пользуюсь фавором и перед которым могу оказать протекцию и тебе»⁴⁴.

Витте не был близок с Лопухиным, не доверял ему как сотруднику Плеве и вряд ли решился бы на такую откровенность. В крайнем случае, мог сделать намек, которому Лопухин впоследствии дал свое толкование. Но мысль о том, что гибель государя могла бы стать спасением для страны и монархии, наверняка посещала Витте!

⁴²Митрополит Петербургский и Ладожский Антоний (Александр Васильевич Вадковский) выступал за меньшую зависимость церкви от светской власти. Предложенную им реформу торпедировал обер-прокурор синода К.П. Победоносцев. Как видим, предложения Антония были не по нутру и идеологам черной сотни, охотно выступавшим под флагом православия.

⁴³Дневник Бориса Никольского. С. 83.

⁴⁴ Лопухин А.А. Отрывки из воспоминаний. М.—Прг., 1926. С. 73.

Однако ни в убийстве, ни в самоубийстве царя необходимости не было. Вполне достаточно было отречения от престола. Какую огромную услугу он этим оказал бы любимому отечеству! Но для принятия хотя бы такого решения нужно было быть личностью: а не «тварью дрожащей». Так что — «где ему!»

Но законно было бы спросить того же Никольского, где был он и подобные ему «патриоты»? Видя единственное спасение России в устранении Николая, они отваживались только на кукиш в кармане.

Что до террористов из революционного лагеря, то им смелости было не занимать, но настоящей злости к царю у них не было. Слишком он был мелок, ординарен, неприметен, походил на тень самодержавного деспота. Своей податливостью, мягкостью, умело разыгрываемой ролью тихони, он прятался за спину «сильных личностей» типа Плеве, а позднее — Столыпина, одновременно ревнуя к их репутации и подставляя их под пули и бомбы террористов вместо себя. Центральный Комитет партии социалистов-революционеров даже принял особое решение, запретившее Боевой Организации покушаться на царя. Запрет был снят только на излете деятельности Боевой Организации, когда она, благодаря двойной игре ее главаря Евно Азефа, была под надежным колпаком у тайной полиции. Коронованный революционер оказался куда более ловким конспиратором, чем все Азефы и Савинковы, вместе взятые.

Витте назвал внутреннюю политику тех судьбоносных месяцев 1904-1905 года «реакционными шатаниями» с «искрами напускного либерализма»; они «не только не успокаивали смуту, а производили совершенно обратное действие»⁴⁵.

Одной из «искр либерализма» стало удаление в отставку московского генерал-губернатора Сергея Александровича, давно ставшего символом всего самого жестокого и реакционного в реакционном режиме, хотя сам великий князь был игрушкой в руках обер-полицеймейстера Москвы, к тому времени уже генерала, Д. Ф. Трепова.

Трепов «принципиально» ушел в отставку вслед за своим патроном, громогласно заявив, что он «не согласен» с политикой

⁴⁵ Витте С.Ю. УК. соч. Т. II. С. 351-352.

министра внутренних дел Святополка-Мирского и намерен отправиться в действующую армию. В сущности, это был открытый выпад против государя, который Святополка поставил. Но выпады «справа» царя не оскорбляли, он не чувствовал себя уязвленным ими; напротив, к тем, кто это себе позволял, он тотчас проникался особой симпатией. Когда бравый конногвардеец, перед тем, как отправиться на фронт, приехал в Петербург, министр двора граф В.Б. Фредерикс — тоже бывший конногвардеец, по традиции протезировавший «своим», — представил его государю. Тот не только принял фрондера, но с первого взгляда, как гимназистка, «влюбился» в бравого генерала с выпяченной грудью и страшными глазами. Трепов тотчас был назначен Петербургским генерал-губернатором. О его отъезде в действующую армию вопрос уже не стоял. Вслед за тем, Трепов был назначен заместителем министра внутренних дел и командующим Петербургским гарнизоном. Заняв три ключевых поста и заручившись исключительным доверием государя, он фактически стал главой исполнительной власти с почти диктаторскими полномочиями.

Между тем, анархия, разгулявшаяся в стране, проникла в само государственное управление. На всех уровнях власти царили неразбериха, растерянность, боязнь бездействия и еще больший страх действовать.

То, что на воскресенье 9 января 1905 года назначено массовое шествие рабочих к Зимнему дворцу — для подачи петиции с изложением их нужд, ни для кого не было секретом. То, что манифестация будет мирной, под руководством священника Григория Гапона, вскормленного в Департаменте полиции «самим» Зубатовым, тоже было известно. Копию петиции рабочих Гапон заблаговременно передал властям — в ней не было ничего крамольного. Петербургский градоначальник генерал И. А. Фуллон лично знал Гапона и полагался на него. Казалось бы, к такой демонстрации следовало отнестись благосклонно.

Однако, когда намеченный день придвинулся и стало ясно, что демонстрация примет небывалый размах, власти охватила паника. Пример подал сам государь: заблаговременно убрался в Гатчину. 8 января вечером Святополк-Мирский собрал совещание. На нем был принят план градоначальника Фуллона и гене-

рал-губернатора Трепова — самое нелепое из всех возможных решений: не препятствовать демонстрантам при прохождении по улицам города, но на Дворцовую площадь не допускать, загородив подходы к ней полицейскими кордонами; а в случае отказа разойтись, пустить в ход оружие. Если бы намеренно хотели устроить кровавую баню, то нельзя было изобрести лучшую ловушку.

Пока шло заседание у Мирского, к Витте, видимо, как к наиболее здравомыслящему представителю власти, пришла депутация от редакции «Наших дней» (включавшая Максима Горького). Делегация просила принять срочные меры для недопущения кровопролития. Обер-министр без портфеля, уязвленный тем, что даже не приглашен на совещание к Мирскому⁴⁶, ответил, что он ни во что не посвящен, помочь не может. Все же он позвонил Мирскому и попросил выслушать депутацию; тот ответил, что принять ее не может.

На следующий день страна содрогнулась от кровавой расправы, в которой неизвестно, чего было больше — трусости, подлости или бездушия. Либеральная печать, вчера еще благоволившая к Святополку-Мирскому, обвиняла его в «слабости» и в этом сошлась с дворцовой камарильей. Недолгая эпоха «доверия к обществу» кончилась. «Слабый» Мирский был отставлен, зато позиции «сильного» Трепова — главного виновника Кровавого Воскресенья — укрепились.

Министром внутренних дел царь назначил добродушного А. Г. Булыгина. Он много лет состоял вторым человеком в Москве после генерал-губернатора Сергея Александровича, но не имел никакого влияния, так как все держал в своих руках Д. Ф. Трепов. Теперь Трепов стал заместителем («товарищем») Булыгина. Двоевластие продолжалось!

Генерал Трепов представлял собой ухудшенное издание Плеве. Он был столь же «решителен», но необразован, глуп и обла-

⁴⁶ Приглашению Витте воспротивились некоторые министры, в особенности В.Н. Коковцов, который имел с ним счеты и потом сводил их до конца жизни, в том числе в своих двухтомных воспоминаниях. О совещании у Мирского вечером 8 января он пишет в таких выражениях, будто оно не имело никакого значения, а сам он в нем хотя и участвовал, но к принятию решения никакого отношения не имел. (Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903-1919. Книга 1. М.: Наука, 1992. С. 62.)

дал склонностью влипать в нелепые ситуации, вроде команды «смотри веселей», отданной на похоронах Александра III.

Кровавое Воскресенье стало детонатором новой волны беспорядков, перекинувшихся теперь даже в армию и во флот. В феврале в Москве был убит великий князь Сергей Александрович. Акция эсера Ивана Каляева была тем более бессмысленной, что великий князь уже был в отставке. Но общественный резонанс от нее был еще больший, чем от недавнего убийства Плеве: ведь жертвой стал виднейший член царствующего дома.

Николай в высшей степени странно отреагировал на гибель августейшего дяди и свояка⁴⁷. Через два часа после получения страшного известия иностранные послы стали свидетелями изумившей их сцены: государь и великий князь Сандро сидели на узком диване и изо всех сил спихивали с него друг друга; и оба заливались хохотом...

Говорило ли это о чудовищной бессердечии Николая, в чем его упрекал А. Ф. Кони, или он пребывал в шоковом состоянии, когда атрофируются все чувства, или это был истерический хохот непреодолимого страха? Кто может это знать!..

Если осенью 1904 года царь отверг предложение Святополка-Мирского пополнить государственный совет выборными представителями земств, а в декабре — вычеркнул из его программы пункт о представительных учреждениях, то летом 1905 года уже спешно обсуждался законопроект о Булыгинской Думе — по имени автора проекта, нового министра внутренних дел. Дума намечалась не как законодательный, а только как законосовещательный орган но — *избираемый*.

6 августа 1905 года царь издал манифест о «даровании» представительных учреждений. Он вынужден был пойти на такую уступку, ибо земля — в буквальном смысле — горела под ногами российского самодержавия. «Вся Россия была в огне, — живописал Великий князь Сандро. — В течение всего лета [1905 года] громадные тучи дыма стояли над страной, как бы давая знать о том, что темный гений разрушения всецело овладел умами крестьянства, и они решили стереть всех помещиков с

⁴⁷ Сергей Александрович был женат на сестре царицы Александры Федоровны — великой княгине Елизавете Федоровне.

лица земли. Рабочие бастовали. В черноморском флоте произошел мятеж, чуть не принявший широкие размеры»⁴⁸.

Однако, речь шла не о всенародном представительстве: рабочие, студенты, солдаты, бедный городской люд, как и женщины, не получали никаких избирательных прав. Остальное население было разбито на курии, в которых выборы должны были проводиться многоступенчато, в каждой — по своей норме. Преимущество получали дворяне и верхний слой буржуазии, а следом шло крестьянство. Вопреки тому, что происходило в стране, Николай упрямо продолжал верить, что крестьяне консервативны и стоят за неограниченного царя-батюшку. Он полагался на крестьян даже больше, чем на дворян: среди них было много «умников», то есть интеллигентов, выступавших с теми или иными «мечтаниями» об ограничении царской власти.

Как бы то ни было, а стране было обещано нечто вроде парламента! Пусть без права принимать законы, но все-таки с правом их обсуждать, выражать свое независимое мнение! Это было нешуточное завоевание либерально-демократического общества. Но оно не верило царскому слову. Столько раз давались обещания и столько раз не выполнялись! Что может помешать царю опять отступить? Тем более, что Дума была связана с именем Булыгина, а правил бал Трепов.

За спиной Булыгина творились акции, о которых он сам узнавал из газет, а когда к нему обращались за разъяснениями, так и отвечал: ничего не знаю, не посвящен! Он просился в отставку, но государь его не отпускал: треповский срам нуждался в прикрытии фиговым листком. Дошло до того, что «вахмистер по воспитанию и погромщик по убеждению», как назовет Трепова князь Д. С. Урусов, тайно, при помощи ротмистра Комиссарова, организовал в типографии Департамента полиции нелегальную публикацию антисемитских прокламаций погромного содержания. Конспирация в квадрате! Когда позднее, благодаря А.А. Лопухину, Витте разоблачил эту затею и доложил о ней государю, то, по реакции венценосного конспиратора, понял, что тот был в курсе этой преступной акции, и, стало быть, она проводилась с его высочайшего одобрения.

⁴⁸ Вел. кн. Александр Михайлович. УК. соч. С. 341.

Остается добавить, что рвение ротмистра Комиссарова было оценено по достоинству. Вместо того, чтобы за преступные действия, отягощенные злоупотреблением служебным положением, пойти под суд и на каторгу, он был «прощен» государем «за прошлые заслуги», успешно продолжал свою карьеру и в 1917 году встретил в чине жандармского генерала!

Вот когда тот же Лопухин разоблачил двойную игру своего бывшего агента Азефа, «прошлые заслуги» бывшего начальника Департамента полиции в зачет не пошли: он был предан суду и сослан в Сибирь!

Отправляясь на театр военных действий, генерал А.Н. Куропаткин подготовил стратегический план — вполне грамотный и здравый. Поскольку основная часть армии еще не прибыла на Дальний Восток, Куропаткин намеревался избегать крупных сражений. Ведя планомерное отступление и сдерживая продвижение противника, он хотел дождаться прибытия и развертывания основной части войск, а затем перейти в контрнаступление. Однако на месте Куропаткин стал подгонять свою «кутузовскую» тактику под шапкозакидательство главнокомандующего Алексеева. Одно позорное поражение следовало за другим. Дважды уничтожив российский флот и овладев океаном, японцы добились подавляющего превосходства и на суше. Многократно разбитые русские войска к лету 1905 года были обескровлены и деморализованы. Но и японцы к этому времени выдохлись.

На фронтах наступило затишье. Президент США Теодор Рузвельт выступил с мирной инициативой, за что российские власти, конечно же, ухватились. Граф Ламсдорф предложил государю отправить на переговоры Витте. Царь не мог не понимать, что это наилучший выбор. Но соображения мелочного самолюбия, как всегда, брали верх над государственными интересами. С каким лицом он должен был просить Витте ехать за океан расхлебывать кашу, которую тот так упорно просил его не заваривать, за что и попал в опалу! Говоря витиеватым слогом самого Витте, «его величеству были отлично известны мои убеждения и мои старания предотвратить от России и ее монарха великие бедствия и что мои старания не увенчались успехом потому, что

его величеству не угодно было в этом вопросе оказать мне доверие»⁴⁹.

Царь решил возложить миссию на посла в Париже Нелидова — того самого, который когда-то чуть было не втравил его в босфорскую авантюру, но доверия не утратил. Однако Нелидов, сославшись на преклонный возраст и болезни, от многотрудного задания уклонился. Тогда царь обратился к посланнику в Дании Извольскому, но тот ответил, что такое дело ему не по плечу; единственный человек, способный его вытянуть, — Витте. Следующим кандидатом стал посол в Италии Н. В. Муравьев (бывший министр юстиции).

Муравьев явился в Петербург, но, узнав, что на расходы делегации ассигнуется 15 тысяч рублей, а не 100 тысяч, как он рассчитывал, он на аудиенции у государя расплакался и, сославшись на болезни, стал просить уволить от столь тяжелой миссии.

Пришлось-таки самодержцу всероссийскому прицемить собственный хвост и пойти на поклон к опальному председателю комитета министров!

Витте отправился за океан и добился такого соглашения, что весь мир ахнул. Такую дипломатическую победу после позорного военного поражения, кажется, никто еще никогда не одерживал! Получив телеграмму о благополучном исходе переговоров, государь, по своему скудоумию и бедности воображения, не понял, что же произошло в далеком Портсмуте. И только когда на него обрушился шквал поздравлений со всего света, он осознал масштаб случившегося.

По возвращении Витте в Петербург Николай сердечно благодарил его за то, что он *не только по букве, но и по духу* выполнил все инструкции, и возвел его в графское достоинство. А через год, когда черносотенная пресса стала поносить вторично опального графа Витте, ставя ему в вину и Портсмутский мир, заключенный в угоду «жидам и масонам», газета «Новое время» привела слова государя: «Тогда все, кроме меня, были за то, чтобы заключить мир».

⁴⁹ Витте С.Ю. УК. соч. Т. II. С. 375.

Говорил это царь или нет, неизвестно, но, как замечает Витте, «конечно, Суворин бы этого не печатал, если бы он не знал, что сие будет встречено свыше одобрительно»⁵⁰.

Пока Витте вытаскивал Николая из кровавой дальневосточной трясины, в которую тот себя загнал с помощью кузена Вили (Вильгельма II), Безобразова и Плеве, венценосный конспиратор ухитрился попасть в новую ловушку, расставленную тем же неугомонным кузеном. Летом 1905 года состоялась встреча двух императоров на борту государевой яхты «Полярная Звезда», в Балтийском море, у острова Бьёркё, недалеко от Выборга. Официально она была объявлена частным свиданием родственников, не имеющих никакого отношения к политике. На самом деле два августейших кузена приятно совместили с полезным. Кузен Вилли, преследуя именно политические цели, выпарапал у кузена Никки ни больше ни меньше, как договор о военном союзе на случай войны с какой-либо третьей страной. Оговаривалось, что договор войдет в силу *после* ратификации мирного договора России с Японией. То есть, в случае провала переговоров в Портсмуте, которые вел Витте, и возобновления военных действий на Дальнем Востоке Россия на помощь Германии рассчитывать не могла. А вот если бы Германия ввязалась в войну с какой-либо страной, а как раз обострился ее конфликт с Францией из-за притязаний обеих стран на Марокко, то Россия обязалась выступить на стороне Германии!

Кузен Никки сделал приятное кузену Вилли, ни с кем не проконсультировавшись и даже *скрыв* подписанный им договор от министра иностранных дел и всех остальных министров. Лишь три месяца спустя граф Ламсдорф смог ознакомиться с текстом соглашения и пришел в ужас. Россия состояла в военном союзе с Францией, по которому страны обязывались защищать друг друга. А теперь получалось, что в случае военного столкновения между Францией и Германией Россия по одному договору должна выступить на стороне Франции, а по другому — на стороне Германии!

Несовместимость этих двух договоров очевидна, не понимать этого мог только умственно отсталый человек. Может быть, прав

⁵⁰ Там же, С. 452. А.С. Суворин – владелец и главный редактор газеты «Новое время».

был В.И. Гурко, полагавший, что «начала» самодержавия Николай понимал в том смысле, что поскольку он отвечает только перед Богом, то может поступать так, «как Бог на душу положит»!

Ламсдорф, благодаря поддержке Витте и великого князя Николая Николаевича, настоял на внесении «поправки», которая фактически аннулировала Бьёркское соглашение. Но это привело к ненужному осложнению отношений с Германией. Союз ведущих держав континентальной Европы — Франции, Германии и России, к чему стремились наиболее прозорливые политические деятели всех трех стран, оказался невозможным. Так конспиративными действиями кузен Никки еще раз объегорил самого себя. Европа осталась разделенной, что, в конечном счете, ввергло ее в мировую войну и привело к гибели императорской России и императорской Германии.

Двоедушие царя проявлялось буквально во всем, а самым губительным образом — в том двоевластии, которое продолжало расшатывать устои государства. В один и тот же день публиковался манифест, подтверждающий незыблемость самодержавия, и рескрипт, поручающий Булыгину разработать проект о представительных учреждениях. Мало того, что Булыгин и Трепов тянули в разные стороны, смута проникла в душу самого «железного» Трепова. Тараща вахмистрские глаза и выпячивая грудь погромщика, затянутую в генеральский мундир, бравый конногвардеец праздновал труса.

«Ему, как всякому невежде, все сначала казалось очень просто: бунтуют — бей их; рассуждают, вольнодумствуют — значит, надо приструнить... Никакой сложности явлений нет, все это выдумки интеллигентов, жидов и франкмасонов», — издевался Витте⁵¹. Но когда *простота, что хуже воровства* стала давать осечки, Трепов «сделался политическим вахмистром-Гамлетом» и стал шараться из одной крайности в другую. Он стоял за *начала* неограниченного самодержавия, а в проект Булыгинской Думы предлагал внести такие положения, что даже крайние либералы считали их слишком левыми. Он требовал выгнать из университетов всех профессоров и студентов, как глав-

⁵¹ Витте С.Ю. УК. соч. Т. II. С. 334.

ных носителей крамолы, а потом настаивал (и настоял!) на предоставлении вузам самой широкой автономии. Он был автором знаменитого приказа «холостых залпов не давать, патронов не жалеть» и тут же высказывался за широкую политическую амнистию...

В сентябре 1905 года, когда Витте, заключив мир, с триумфом вернулся в Петербург, страна была залита огненной лавой бунтов, забастовок, многотысячных митингов и демонстраций, тюремных голодовок, отстрела губернаторов, жандармов и других наиболее регивых представителей власти, а заодно, конечно, гибли посторонние, ни в чем не повинные люди. Мир с Японией пришел слишком поздно и лишь подлил масла в огонь. Резервисты, мобилизованные на время войны, рвались разъехаться по домам, а вывезти их с Дальнего Востока было невозможно, так как всеобщая забастовка парализовала железные дороги, в том числе и Транссибирскую магистраль. Да и опасно уже стало возвращать столь беспокойную массу понюхавших пороху и ничего не боявшихся людей, не лояльных правительству. Власти стремились поскорее вернуть именно регулярные войска, дабы бросить их на усмирение волнений, но из-за этого волнения резервистов передались регулярным частям, и теперь уже становилось безопаснее держать тех и других подальше, так как на них нельзя было положиться.

В правительственных сферах царила растерянность, все в один голос говорили о необходимости срочных уступок. Даже «супер-патриотические» газеты стали требовать конституции. В «Новом времени» об этом писали такие твердые «монархисты», как Меньшиков и Никольский, в «Гражданине» — князь Мещерский.

6 октября председатель полубездействующего Комитета министров (по возвращении из Портсмута Витте вернулся на прежний пост) запросил аудиенцию у государя, дабы «изложить соображения о современном крайне тревожном положении». Он понял, что настает его время. 9 октября Витте был вызван в Петергоф, где «имел счастье явиться к его величеству» с всеподданнейшей запиской. В ней излагалось два возможных выхода из положения — либо назначить полновластного диктатора и «с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее

проявлениях», либо стать на путь конституционных преобразований. 10 октября Витте снова был вызван к императору. На этот раз при разговоре присутствовала императрица Александра Федоровна. Он детально повторил свои соображения в ее присутствии.

После долгих обсуждений с разными лицами, после составления нескольких проектов манифеста, после настоятельных рекомендаций Витте вообще никакого манифеста не издавать, а утвердить и обнародовать его всеподданнейший доклад, было все-таки решено сопроводить доклад Манифестом, «дабы все исходило лично от государя»⁵².

Ведя переговоры с Витте, венценосный конспиратор оставался верен себе: по секрету он поручил редактирование манифеста И. Л. Горемыкину и барону А. А. Будбергу.

«Если бы в это решающее на много лет судьбы России время вели дело честно, благородно, по-царски, то многие происшедшие недоразумения были бы избегнуты. При всей противоположности моих взглядов с взглядами Горемыкина и тенденциями балтийского канцеляриста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мною обсуждать дело, то общее чувство ответственности, несомненно, привело бы нас к более или менее уравновешенному решению, но при игре в прятки, конечно, события шли толчками, и документы составлялись наскоро, без надлежащего хладнокровия и неторопливости, требуемых важностью предмета»⁵³.

Увы, Николай думал не о важности предмета, да и вряд ли понимал значение того, что происходит. Он думал только о том, как бы ни продешевить, как бы ни уступить слишком многого, сверх абсолютно необходимого минимума! Да, может быть, и минимума не потребуется, авось все еще как-нибудь обойдется!..

Ознакомившись, наконец, с горемыкинским вариантом Манифеста, который поздно ночью привез ему граф Фредерикс, Витте, взвинченный до предела, сказал, что вполне с ним согласен, но при условии, что выполнять правительственную программу будет поручено ее автору. Он предложил свою программу и берется ее проводить в жизнь, но не чужую.

⁵² Витте С.Ю. Ук. соч. Т. III. С. 34.

⁵³ Там же, С. 38.

Вскоре после возвращения графа Фредерикса в Петергоф туда прибыл великий князь Николай Николаевич, имевший репутацию «сильного» человека и военного стратега. Фредерикс сказал ему, что для спасения самодержавия надо установить диктатуру и он, великий князь, должен стать диктатором. В ответ на это страшно возбужденный Николай Николаевич выхватил револьвер и сказал, что сейчас пойдет к государю и либо заставит его принять программу Витте, либо застрелится на его глазах. Взять на себя роль диктатора Николай Николаевич боялся, да и опереться диктатуре было не на что.

Свершилось! Конспирировавший против самого себя и своей собственной власти государь император Николай II «добился» того, чему так упрямо противился. 17 октября 1905 года был обнародован Манифест о «даровании» народу России конституцию, хотя в Манифесте она была называлась «основными законами», парламента, названного народным представительством, основных гражданских свобод. То есть царь отказаться от тех «начал» самодержавия, которые он так упорно подрывал все одиннадцать лет с момента восшествия на престол.

Так кончилась первая половина царствования Николая II.

О том, какое отношение к «слабому и лукавому» государю царило в обществе, можно судить по стихотворению которое вскоре, к десятилетию коронации, напишет один из ведущих поэтов эпохи Константин Бальмонт:

*Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима,
Наш царь - кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно...
Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, под суд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать - Ходынккой,
Тот кончит - встав на эшафот.*

Увы, заключительные строки оказались пророческими...

Эпоха Витте 1905–1906

«Уступки следует делать заблаговременно и в позиции силы, а не в условиях слабости», — писал А.И. Солженицын по поводу издания манифеста 17 октября (т. I, стр. 368).

Что и говорить, справедливое замечание. Но если бы такой совет был дан самому Николаю II (и давали не раз!), он бы его просто не понял. Достаточно вспомнить его реакцию на «бесмысленные мечтания» тверского дворянства, чтобы убедиться, что ни единой крохой абсолютной власти *в позиции силы* он бы не поступился. И не потому, что он так сильно ею дорожил — мы знаем, что власть для него была тяжелой обузой, -- а потому, что таково было его понятие долга, которое в нем усиленно культивировали те, кто его окружал. При желании в этом можно видеть смягчающие обстоятельства, но ведь только он сам определял, кому быть, а кому не быть «особами, приближенными к императору». Даже с минимальными ограничениями, установленными для себя самим самодержавием, Николай и его камарилья не хотели считаться. В.И. Гурко, один из высокопоставленных бюрократов, который хорошо знал внутренние пружины государственной системы, так как был ее частью, писал:

«Представление Николая II о пределах власти русского самодержца было во все времена превратное. От воли государя зависело самовластно и единолично отменить закон и издать новый, но поступить вопреки действующему закону он права не имел. Между тем Николай II... этого положения не признавал и неоднократно, по ничтожным поводам и притом в вопросах, весьма второстепенных, нарушал установленные законы и правила»⁵⁴.

Однако негодование Солженицына направлено не по адресу слабого и лукавого деспота, вынужденно подобравшего когти, а по адресу «либерального и революционного общества»: почему оно не удовлетворилось крохами и захотело большего?

Общественность с ликованием встретила свободы, «дарованные» Манифестом 17 октября. Значит, борьба и жертвы были не напрасными! Люди, принадлежавшие к самым разным слоям населения, нацепив красные банты, выходили на улицы, обни-

⁵⁴ Гурко В.И. Царь и царица. Цит. по: Николай II. Воспоминания. Дневники. С. 366-367.

мались, целовались, смеялись и плакали от радости. Многие считали, что добились далеко не всего, к чему стремились. Но — лиха беда начало. На дальнейшие преобразования власть по собственной воле не пойдет, но, оказывается, ее можно заставить.

Увы, царь и его подобострастное окружение полностью разделяли это мнение. «Дарование» народу свобод для них было вынужденной *уступкой*, а не принципиальной переменной стратегического курса.

Пойти на коренное реформирование государственного строя, так, чтобы все в равной мере подчинялись законам? Чтобы народ, в лице своих избранных, мог сам решать свою судьбу? Чтобы верховная власть стала воплощать сбалансированные интересы разных групп населения, а правительство — служить этим интересам?

В окружении Николая нельзя было высказать большей крамолы. При его понимании своего долга — сохранить самодержавную власть и во всей полноте передать ее сыну — требовалось остановить время, заморозить политическую жизнь страны, надеть на нее ледяной панцирь. Поскольку жизнь брала свое, многострадальный Иов чувствовал себя уязвленным в лучших своих чувствах. А те, кого он считал наиболее себе преданными, и впереди всех обожаемая супруга, не уставали льстиво и вместе с тем укоризненно нашептывать, что все неурядицы происходят от безграничной его доброты, покладистости, от его голубиного характера.

Царь, камарилья и полицейско-бюрократический аппарат исходили из того, что чем больше власти у царя, тем меньше прав и свобод у народа. И наоборот. Потому вынужденные уступки, должны были быть минимальными и, по возможности, временными.

«Ограничения царской власти, провозглашенного манифестом 17 октября 1905 года и закрепленного в 1906 году новым содержанием Основных Законов Империи, Николай II определенно не признавал. Правда, самого факта издания этого манифеста он никогда не мог простить ни самому себе, ни тем, которые его к тому подвинули, и в душе, по-видимому, лелеял мысль

манифест этот со временем отменить, но, тем не менее, упразднения самодержавия он в нем не усматривал»⁵⁵.

Властитель слабый и лукавый упирался до того, что уже готовили корабль для бегства царской семьи за границу, под крылышко кузена Вилли, услужливо предложившего ему свое гостеприимство. А когда он уступил, то «вся королевская рать» вдруг оказалась в положении больших роялистов, чем сам король. Манифест 17 октября поверг ее в смятение. Для нее это был удар в спину, надругательство над «патриотическими» чувствами, а, главное, подрыв ее — королевской рати — сверхпрочного положения. Ответила она на царский Манифест о свободах своим бунтом против Манифеста, бессмысленным и беспощадным, зато направленным в привычное русло.

Девятый вал еврейских погромов покатылся по городам и весям черты оседлости и даже выплеснулся за черту. «Вы хотели свободы — вот вам свобода!» Таков был основной лозунг «монархистов», возмущенных уступчивостью монарха. По масштабу, количеству жертв, по неистовости разгула темных страстей эти кровавые оргии во много раз превзошли еще недавно казавшийся таким чудовищным Кишиневский погром.

Говорить об этом разгуле ненависти и насилия вкратце нельзя, а чтобы рассмотреть гору всевозможных материалов, надо писать отдельную книгу. Я остановлюсь только на том, как эти события освещены в книге Солженицына «Двести лет вместе».

Солженицын в основном ограничивается пересказом отчетов двух сенатских ревизий: сенатора Е.Ф. Турау о погроме в Киеве и сенатора А.М. Кузминского о погроме в Одессе. Сенат, по Солженицыну, «был авторитетнейшим и независимым юридическим учреждением», а ревизии сенаторов — это «высший класс достоверного расследования, применявшийся в императорской России». (Стр. 370)

Однако в самодержавном государстве независимые учреждения невозможны по определению. Относительной гарантией *некоторой* самостоятельности сенаторов служило то, что, по закону, назначения в Сенат были пожизненными. Но свои собственные законы, как мы знаем, самодержец часто нарушал. Излишне самостоятельных сенаторов под тем или иным предло-

⁵⁵ Гурко В.И. Ук. соч. С. 366.

гом удаляли, а на их место ставили угодных и готовых угодничать. Обычной практикой было *сбрасывание* в Сенат несильно проштрафившихся или просто ставших ненужными чиновников высшего ранга, и они там старательно заглаживали свои грехи, надеясь на то, что их снова отличат и поднимут на более высокую ступень. Или, напротив, в Сенат *подбрасывали* за особые заслуги и усердие чиновников относительно низкого ранга, от которых можно было ждать еще большей угодливости. Так, прокурор Киевской судебной палаты Г.Г. Чаплинский был назначен в Сенат за его усердие при фабрикации ритуального дела Бейлиса, в которое сам он, конечно, не верил. С другой стороны, Н.Н. Кутлер, составивший слишком «дерзкий» проект земельной реформы и за это уволенный с высокого поста, почти равного министерскому, ни в Государственный Совет, ни в Сенат определен не был. Сопоставление только этих двух примеров показывает, какого сорта личности преимущественно оседали в Сенате и чем они руководствовались при выполнении деликатных поручений.

Даже беглое ознакомление с отчетами двух сенаторов-ревизоров обнаруживает предвзятость — большую у Турау, меньшую, но тоже вполне очевидную, у Кузминского. Я говорю о предвзятости, которая видна невооруженным глазом, то есть в самом тексте их отчетов. Еще в большей мере она обнаруживается при сопоставлении с фактами, изложенными в независимых от власти источниках, например, в книге очевидца одесского погрома 1905 года А.С. Изгоева «Русское общество и революция»⁵⁶.

В каждом из отчетов есть обширная вступительная часть, подробно излагающая ход революционных событий всего 1905 года в Киеве и в Одессе, а еврейские погромы, последовавшие за Манифестом 17 октября, представлены как прямое следствие того, что в противоправительственных акциях евреи «выделялись». Полуцитируя, полупересказывая отчет сенатора Турау, Солженицын четко расставляет акценты: «„Еврейская молодежь, говорится в отчете, преобладала и на митинге 9 сентября в

⁵⁶ Изгоева А.С. Русское общество и революция, М., 1910, С. 142-143. См. также: Максудов С. Не свои. «Культура». № 113. 29 июня 2001.

политехническом институте“; и при оккупации (?! — С.Р.) помещения литературно-артистического общества; и 23 сентября в актовом зале университета, где „сошлись до 5 тысяч студентов и посторонних лиц и в том числе 500 женщин“. 3 октября в политехническом институте „собралось до 5 тысяч человек... преобладала еврейская молодежь женского пола“. И дальше упоминания о преимущественном участии евреев: на митингах 5–9 октября; и в митинге 12 октября в университете...» (т. I, Стр. 372).

Цитату можно продолжить, но и из приведенного фрагмента видна руководящая идея сенатора Турау, который, как для большей вескости подчеркивает Солженицын, опросил более 500 свидетелей. Что и говорить, материал был собран обширный! Но именно поэтому он мог быть обобщен по-разному. Только от самого сенатора Турау зависело, что в этом материале считать характерным, а что случайным, что важным и заслуживающим доверия, а что второстепенным или сомнительным. Сам язык изложения, местами сухой и точный, каким и должен быть юридический язык строгого ревизора, в других местах становится намеренно зыбким, расплывчатым, выдавая стремление не столько прояснить истину, сколько создать нужное *впечатление*.

В одном случае, как мы видели, сенатор, указав на участие в революционном митинге необычно большого числа женщин, вполне определенно проставил оценочную цифру: *пятьсот* из *пяти тысяч* участников. А вот говоря о другом пятитысячном митинге с большим участием женщин, сенатор обходится без цифр: *преобладала* «еврейская молодежь женского пола»!

В каком смысле — преобладала? Из пяти тысяч участников женщин было больше двух с половиной тысяч? И откуда известно, что все эти женщины — еврейки? Паспортов у них не проверяли, имен не переписывали, а по внешности не каждую еврейку определишь с первого взгляда. За юридически установленный факт выдается *личное впечатление*, причем не самого сенатора, а каких-то свидетелей, видимо, антисемитов, в чьих глазах евреи *преобладают* и *выделяются* во всем, что они не одобряют.

Чтобы понять цену таким «ревизиям», надо вспомнить, что революционные выступления в 1905 году проходили по всей стране, а основная масса евреев концентрировалась в черте оседлости. В городах и местечках черты евреи составляли от

двадцати до пятидесяти процентов населения, где-то и больше, и, конечно, участвовали в революционных выступлениях. Но ничто не говорит о том, что накал борьбы здесь был сильнее, чем вне черты, где евреев либо вообще не было, либо было очень мало, причем среди них преобладали люди обеспеченные — не те, кто рвался на баррикады.

Не еврейская молодежь женского пола жгла помещичьи усадьбы в Саратовской губернии, с чем никак не мог совладать бесстрашный губернатор П.А. Столыпин. Не еврейская молодежь восстала на «Потемкине» и «Очакове», митинговала в Дальневосточной армии, парализовала всеобщей забастовкой железные дороги и крупнейшие предприятия Петербурга, Москвы и других городов!

Но главное, о чем следовало бы спросить обоих сенаторов: где коза и где капуста? Царь издал Манифест о «даровании» свобод, народ в радостном возбуждении высыпал на улицы — какие основания считать, что эти вполне *законные* выступления (ведь разрешена свобода собраний и манифестаций!) *в поддержку* царского манифеста носили антиправительственный характер?

Правда, такие представления укоренились в постсоветской России, что обнаруживается самым неожиданным образом. Например, в переизданной в Москве книге воспоминаний дочери П.А. Столыпина помещена фотография с подписью: «Демонстрация в Киеве, направленная против царского манифеста»⁵⁷, хотя демонстрация была *в поддержку* манифеста. *Против* были направлены именно вспыхнувшие следом еврейские погромы.

Но надо отдать справедливость почтенным сенаторам. При явном стремлении показать, что бесчинства, хотя бы отчасти, инициировали сами евреи, они не скрыли того, что и в Киеве, и в Одессе жертвами погромов стали те, кто не имел никакого отношения *ни к каким* выступлениям — ни антиправительственным, ни проправительственным. Удостоверили оба сенатора и то, что избиения евреев проходили при попустительстве, поощрении и прямом участии полиции, войск, военных и гражданских чинов высоких рангов. Впрочем, как могли бы они утаить то, что в обоих городах было известно каждому обывателю, и по

⁵⁷ Бок М.П. П.А.Столыпин. Воспоминания о моем отце. М.: «Новости», 1992 (блок фотографий между стр. 64 и 65).

всей России разошлось широко — благодаря прессе, ставшей, наконец, почти свободной!

Сенатор Турау отдал под суд два десятка полицейских чинов во главе с полицмейстером Киева Цихоцким, отметив, что погромщики его с восторгом качали за поощрение их бесчинств, а сенатор Кузминский — четыре десятка, включая градоначальника Одессы Д.Б. Нейгардта. Солженицын видит в этом доказательство безупречной объективности обоих ревизоров: наказали виновных, не взирая на звания и чины! А тем показали и непричастность более высокого, петербургского, начальства.

Вот об участии шесть десятков отданных под суд мундирных погромщиков Одессы и Киева никаких данных мне найти не удалось, если не считать упоминания Витте о том, что Д.Б. Нейгардт был им уволен, но снова «выплыл на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены»⁵⁸.

В чем именно состояла роль выплывшего Нейгардта, можно узнать из других источников, например, из воспоминаний почетного лейб-медика, академика Г. Е. Рейна, на чьих руках умирал в 1911 году смертельно раненый П. А. Столыпин. Рейн пишет, что «принял на себя организацию ухода за раненым министром, пока не прибыли супруга министра Ольга Борисовна и два ее брата сенаторы Александр Борисович и Дмитрий Борисович Нейгардт»⁵⁹. (Курсив мой — С.Р.)

Так вот в каком качестве «выплыл» одесский оберпогромщик, отданный сенатором Кузминским под суд: в качестве его коллеги-сенатора! И не надо думать, что это уникальный случай, то есть что Нейгардту кровавые преступления сошли с рук благодаря протекции высокопоставленного родича. О том, что и других мундирных погромщиков ждала отнюдь не мученическая судьба, видно по аналогичному погромному делу того времени.

«Провокаторская деятельность департамента полиции по устройству погромов дала при моем министерстве явные результаты в Гомеле, — засвидетельствовал С. Ю. Витте. — Расследованием... неопровержимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом организован агентами полиции под

⁵⁸ Витте С.Ю. Ук. соч. Т. III. С. 132.

⁵⁹ Цит. по кн.: П.А.Столыпин. Жизнь и смерть за царя. Речи в Государственном совете и Думе. Убийство Столыпина. Следствие по делу убийцы. М.: Рюрик, 1991. С.45.

руководством местного жандармского офицера графа Подгоричани, который это и не отрицал. Я потребовал, чтобы [министр внутренних дел П. Н.] Дурново доложил это дело Совету министров. Совет, выслушав доклад, резко отнесся к такой возмутительной деятельности правительственной секретной полиции и пожелал, чтобы Подгоричани был отдан под суд и устранен от службы. По обыкновению был составлен журнал заседания, в котором все это дело было по возможности смягчено... На этом журнале Совета министров государь с видимым неудовольствием 4 декабря (значит, через сорок дней после 17 октября) положил такую резолюцию: „Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела графа Подгоричани подлежит ведению министерства внутренних дел“». В другом месте Витте уточняет: «На мемории по этому делу, конечно, не без влияния министра внутренних дел Дурново, его величество соизволил написать, что эти дела не должны быть доводимы до его сведения (вероятно, по маловажности?..)». А вот и итог: «Через несколько месяцев я узнал, что граф Подгоричани занимает пост полицмейстера в одном из черноморских городов»⁶⁰.

Возвращаясь на Олимп власти, можно сказать, что первые полгода после Манифеста 17 октября напоминали отчаянную борьбу над пропастью между самоубийцей, рвущимся к роковому прыжку, и его спасителем, который пытался оттащить его от края бездны.

«Я вступил в управление империей при полном ее, если не помешательстве, то замешательстве, — вспоминал Витте. — Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения; все требовали коренных мер государственного переустройства»⁶¹.

Это еще мягко сказано. Комментируя «Воспоминания» Витте, А. В. Игнатъев и А. Г. Голиков с протокольной точностью указывают, что, кроме массовых забастовок и манифестаций в городах, крестьянских бунтов, всевозможных требований, раздававшихся с трибун съездов земских, городских и иных организаций, «осень 1905 г. была отмечена массовыми выступлениями в

⁶⁰ Витте С.Ю. УК. соч. Т. III. С. 84, 132.

⁶¹ Витте С.Ю. УК. соч. Т. III. С. 127

армии и на флоте. С октября 1905 г. до начала 1906 г. было 195 массовых выступлений. Причем в 62 случаях дело доходило до различных форм вооруженной борьбы, включая восстания. Наиболее крупными выступлениями осени 1905 г. были отмеченные С. Ю. Витте „волнения“ в Кронштадте и Севастополе. В Кронштадте матросы 12-ти флотских экипажей из 20-ти и солдаты гарнизона крепости в течение двух дней вели бои с правительственными войсками. Военно-полевой суд грозил полутора тысячам матросов и нескольким сотням солдат. Под воздействием 160-тысячной всеобщей забастовки рабочих Петербурга дело было передано не в военно-полевой, а в обычный военно-окружной суд. Угроза смертной казни для восставших миновала»⁶².

Затем последовала широкая амнистия политических заключенных и другие шаги, направленные на смягчение противостояния власти и общества. Хотя и неровно, толчками, но началось успокоение. В Петербурге вскоре прекратилась всеобщая забастовка. Хотя Совет рабочих депутатов, который еще накануне чувствовал себя полным хозяином в столице, постановил забастовку возобновить, это решение не было выполнено. Снова заработали заводы и фабрики. Пошли поезда по железным дорогам. Заработал телеграф.

Витте хотел тотчас отдать приказ об аресте председателя Петербургского совета Г. С. Носаря (Хрусталева), но ему посоветовали с этим повременить, дабы не вызвать нового возмущения еще не остывших рабочих. В 1905 году беспартийный юрист Носарь-Хрусталева был подлинным лидером рабочего движения в столице, блестящим организатором и трибуном. Его авторитет в рабочей среде был непререкаем. Это были те самые рабочие, которые всего несколькими месяцами ранее, в январе, под руководством Гапона, с хоругвями и церковными песнопениями, шли поклониться царю и просить выслушать их нужды, но, встреченные картечью, бежали, оставляя на мостовых истекающих кровью товарищей. В октябре, под лидерством Носаря, они были сплочены и непреклонны. Но после 17 октября рабочее движение стало утрачивать свою монолитность, а авторитет Совета и его председателя — быстро падать.

Учитывая все это, Витте согласился выждать.

⁶² Там же, С. 583

Любопытно сопоставить то, как эти события отложились в памяти разных участников, в зависимости от их сектора обзора. Если Витте делал ставку на раскол единого антиправительственного фронта и прибегал к маневрированию, то жандармский генерал А. В. Герасимов, в то время — начальник Петербургского охранного отделения, понимал борьбу с революцией так, как ему было положено по должности: «держат и не пущать». Всё, кроме лобовых ударов, с его точки зрения, лишь способствовало успеху революции. Для него малейшее неодобрение скулодробительных мер — свидетельство слабости и некомпетентности. «Философия» генерала Герасимова прекрасно выражена в приводимом им эпизоде, касающемся первого его доклада у вновь назначенного министра внутренних дел П. Н. Дурново:

«Я чувствовал, что мой доклад был Дурново несколько не по вкусу. Он морщился и наконец перебил меня:

— Так скажите: что же, по-вашему, надо сделать?

— Если бы мне разрешили закрыть типографии, печатающие революционные издания, и арестовать 700–800 человек, я ручаюсь, что я успокоил бы Петербург.

— Ну, конечно. Если пол-Петербурга арестовать, то еще лучше будет, — ответил Дурново. — Но запомните: ни Витте, ни я на это нашего согласия не дадим. Мы — конституционное правительство. Манифест о свободах дан и назад взят не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства как с фактом.

Наша беседа длилась около часа. Больших надежд она в меня не вселила»⁶³.

Правда, через некоторое время Дурново, согласно Герасимову, «исправился», то есть стал проводить линию на усиление репрессий, получая на то согласие царя и Трепова, в обход Витте.

Носарь-Хрусталеv был арестован 26 ноября, то есть через месяц с небольшим после царского Манифеста. Но никаких эксцессов не последовало. 3 декабря был арестован весь Совет рабочих депутатов в составе 267 человек, что тоже не вызвало беспорядков в столице.

⁶³ Герасимов А.В. На лезвии с террористами. Всероссийская мемуарная библиотека. Основана А.И.Солженицыным. Серия «Наше недавнее». № 4. Paris: YMCA-PRESS, 1985. С. 43.

Через три дня после ареста Петербургского Совета в Москве состоялся съезд железнодорожников, который призвал к всеобщей забастовке и превращению ее в вооруженное восстание. Но мало где последовали этому призыву, кроме самой Москвы. Вооружённое восстание во второй столице оказалось изолированной вспышкой. Петербург, вопреки опасениям Герасимова, оставался относительно спокойным. Это позволило снять наиболее надежный Семеновский полк под командованием генерала Г.А. Мина и послать его на помощь московскому генерал-губернатору адмиралу Ф.В. Дубасову⁶⁴.

Жестоко подавленное декабрьское восстание 1905 года стало высшей точкой революции, после чего она пошла на спад. Как только наступило успокоение во второй столице, Дубасов, не желая мстить побежденным, поверг на высочайшее имя предложение судить мятежников не военным, а гражданским судом: это значило – не присуждать к смертной казни. Император не понял такой мягкотелости. Мелкий человек, он был мстителен.

Конечно, до полного успокоения было еще далеко. В ответ на жестокие акции властей революционное подполье усилило акты индивидуального террора. В Петербурге две группы боевиков вели охоту на министра внутренних дел Дурново. Покушение не удалось только потому, что глава боевой организации эсеров Евно Азеф, состоявший на службе в Охранном отделении, искусно направлял своих товарищей-террористов по ложному следу. Но он же содействовал покушению в Москве на адмирала Дубасова, чудом уцелевшего: бомбой, брошенной в его экипаж, был убит его адъютант; сам Дубасов был выброшен из экипажа и получил контузию, от которой потом долго лечился. В апреле 1906 года, после ухода Витте, Дубасов тоже подал в отставку. Царь его не удерживал⁶⁵.

Отвечая ударами на удары «непримиримых», Витте пытался навести мосты к умеренным общественным кругам. Процесс примирения шел бы значительно быстрее, если бы не самодер-

⁶⁴ Существует версия, будто Декабрьское восстание в Москве было спровоцировано властями, желавшими получить предлог для кровавой расправы, но она маловероятна.

⁶⁵ Отставка не прекратила охоту на Дубасова: ему мстили за подавление Московского восстания. Позднее в него стрелял какой-то юноша в Петербурге, но, испуганный собственной акцией, промахнулся. (Дубасов просил его помиловать.) В августе генерал Мин был выслежен и убит эсеровским боевиком Зинаидой Коноплянниковой.

жавный конспиратор, все время хватавший своего премьера за руки.

Видные общественные деятели, которых Витте склонял к сотрудничеству — в их числе М. А. Стахович, князь Е. Н. Трубецкой, Д. Н. Шипов⁶⁶, -- готовы были войти в правительство или оказать ему частичную поддержку. Но они ставили условия. Одно из них — введение прямого и равного избирательного права вместо системы курий, которую Витте унаследовал от Булыгина, хотя и распространил избирательные права на низшие слои общества. Но о «четырёххвостке», то есть *всеобщем, прямом, равном и тайном* голосовании царь не хотел слышать: слишком это походило бы на конституционные режимы европейских стран!

П.Н. Милюков, у которого премьер тоже «просил совета», хотя министерского портфеля ему не предлагал, сказал, что коль скоро правительство «решило дать России конституцию, то оно „лучше всего поступило бы, если бы прямо и открыто сказало это — и немедленно откроировало⁶⁷ бы хартию, достаточно либеральную, чтобы удовлетворить широкие круги общества“». Как на образец Милюков «указал на болгарскую конституцию, явно доступную для русского народа, или какую-нибудь другую разновидность бельгийской, — во всяком случае, с всеобщим избирательным правом». Указал он и на то, что «проект такой конституции уже разработан земским съездом». «Уклоняясь от прямого ответа по существу, — продолжал в своих воспоминаниях Милюков, — он начал возражать мне очень извилистой и внутренне противоречивой аргументацией... Я хотел добиться от Витте прямого ответа и спросил его в упор: „Если ваши полномочия достаточны, то отчего вам не произнести этого решающего слова: конституция?“ Витте, уже охлажденный моими предложениями, ответил каким-то упавшим голосом, лаконично и сухо, но так же прямо: „Не могу, потому что царь этого не хочет“. Это было то, что я ожидал: краткий смысл длинных речей. И я

⁶⁶ М.А.Стахович (предводитель дворянства Орловской губернии), Д.Н.Шипов (председатель Московской земской управы) были в числе основателей партии октябристов, но Шипов затем перешел в небольшую партию Народного обновления. Князь Е.Н.Трубецкой (профессор философии Московского университета) был в числе создателей партии кадетов, однако, оказавшись в ней на правом фланге, тоже перешел в партию Народного обновления.

⁶⁷ Откроировать конституцию — значит пожаловать ее волей монарха, а не принять голосованием в парламенте.

закончил нашу беседу словами, которые хорошо помню: „Тогда нам бесполезно разговаривать. Я не могу подать Вам никакого дельного совета“»⁶⁸.

Но если относительно избирательного закона Витте еще мог как-то стовориться с умеренными общественными кругами, то большую их часть оттолкнуло то, что портфель министра внутренних дел он предложил П.Н. Дурново. В глазах общественного мнения это был один из самых одиозных столпов режима полицейского произвола. Сам Витте знал его как человека нечистоплотного и даже «пострадавшего» еще при Александре III за то, что свое положение начальника Департамента полиции использовал для слежки за своей содержанкой и ее любовником — испанским (по версии А. В. Герасимова, бразильским) послом. Был он нечистоплотен и в финансовых делах. Тем не менее, «либеральный» премьер на нем остановил свой выбор, хотя у него было минимум два других варианта.

Ему рекомендовали князя С. Д. Урусова, человека принципиального, с немалым административным опытом и безукоризненной репутацией. На посту Кишиневского губернатора, куда он был назначен в 1903 году после погрома, Урусов в короткий срок добился успокоения и возвращения жизни в нормальное русло; ради этого он не побоялся пойти на конфликт с самим Плеве. И позднее он проявил себя с наилучшей стороны. Однако, когда в разговоре о предполагавшемся его назначении на пост министра внутренних дел Урусов заикнулся о своей неопытности, Витте поспешил согласиться. Для успокоения разбушевавшегося революционного моря предстояло прибегать не только к прянику, но и к кнуту; на посту министра, в чьем ведении находилась полиция, жандармерия, тайный сыск, нужен был человек, не отличавшийся излишней чистоплотностью.

Второй вариант, который предлагали общественные деятели, — возглавить наиважнейшее министерство главе формируемого правительства, то есть самому Витте. Он отговорился тем, что совмещать два поста в столь трудное время не сможет. Видимо, он не хотел брать на себя *прямую* ответственность за грязную и кровавую работу, которой министру внутренних дел было не избежать.

⁶⁸ Миллюков П.Н. Воспоминания. М.: «Современник», 1990. Т.1. С. 330-331.

Дурново для этого вполне подходил. С министерством внутренних дел была связана вся его карьера. Он дорос до поста товарища министра и пересидел целую серию сменявшихся шефов: Сипягина, Плеве, Святополка-Мирского, Булыгина. Для Витте важно было то, что ко всем ним — столь разным по личным качествам и проводимому курсу — Дурново был лоялен, потому можно было рассчитывать, что он будет лоялен и к премьеру. К тому же Дурново не ладил с Треповым, что, по мнению Витте, делало его еще более надежной опорой.

Трепов опрокинул эти *макиавельные* расчеты. По его наущению, царь утвердил Дурново только *исполняющим обязанности* министра, и теперь от Трепова зависело, удержится ли тот на возделенном посту, или нет. Дурново стал угождать Трепову и ставить палки в колеса премьеру. Витте не только заполучил коварного врага, но из-за него осложнил и без того сложные отношения с общественностью.

Но даже появление столь одиозной личности во главе карательной системы правительства не остановило общей тенденции к успокоению. Главную причину того, что революционная волна пошла на спад, просто объяснил П. Н. Милюков: «начался шелест избирательных бюллетеней». Хотя сложная, многоступенчатая система выборов обеспечивала огромные преимущества одним группам населения за счет других⁶⁹, Витте не уставал разъяснять, что Манифест и Основные законы — это только начало преобразований; дальнейшее развитие реформ будет зависеть от избранных законодателей. Это звучало убедительно. Заново возникавшие или выходявшие из подполья политические партии видели смысл в переходе от силовой конфронтации с властью к предвыборной борьбе. Даже в ЦК партии эсеров заговорили о том, что следует приостановить террористическую борьбу и направить основные усилия на пропагандистскую работу в массах. Непримиримыми оставались некоторые крайние революционеры, но они оказались в изоляции. Большевики призвали рабочий класс к бойкоту выборов и этим только ли-

⁶⁹ Система курий была устроена таким образом, что один голос помещика приравнивался к трем голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Военные, учащиеся, «бродячие инородцы» и некоторые другие слои населения вообще не имели права голоса.

шили себя представительства в Думе; рабочие же в массе своей от участия в выборах не отказались.

Но!.. Чем дальше царь отодвигался от края пропасти, тем меньше становилось влияние премьера. Сбывалось пророчество одного из самых интимно близких царской семье людей, товарища министра двора князя Н. Д. Оболенского. Он на коленях умолял Александру Федоровну воздействовать на государя с тем, чтобы тот *не* ставил Витте во главе правительства. Что бы ни делал Витте для успокоения страны, говорил ей Оболенский, личная неприязнь к нему государя будет только нарастать, перейдет в чувство мести, и при первой возможности Витте будет отставлен; в результате пострадают и государь, и Россия.

Когда все произошло именно по этому сценарию, в немилость впал... князь Оболенский. Его перестали приглашать во дворец, а если он должен был являться с докладом в отсутствие министра двора барона Фредерикса, то царь всегда назначал аудиенцию на вторую половину дня, чтобы не приглашать его к завтраку, как было заведено еще со времен Александра III. Принять Оболенского перед завтраком и не пригласить было неловко, а пригласить при охладившихся отношениях, рискуя получить нахлобучку от решительной супруги, тоже не хотелось. «Какой маленький — великий благочестивейший самодержавнейший Николай II!», восклицает по этому поводу Витте⁷⁰.

Из тех, кто снова стал тянуть государя к пропасти, первую скрипку играл все тот же Д. Ф. Трепов. С назначением Витте премьером он должен был оставить посты петербургского генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел. Но царь назначил его дворцовым комендантом, то есть своим личным охранником, что давало ему возможность по несколько раз в день общаться с императором. Влияние Трепова на государя усилилось, хотя, не занимая никакого административного поста, он теперь не нес ровно никакой ответственности за принимаемые решения.

«Трепов во время моего министерства имел гораздо больше влияния на его величество, нежели я; во всяком случае, по каждому вопросу, с которым Трепов не соглашался, мне приходилось вести борьбу. В конце концов, он являлся как бы безответ-

⁷⁰ Витте С.Ю. УК. соч. Т. III. С. 36.

ственным главою правительства, а я ответственным, но маловлиятельным премьером»⁷¹.

Вскоре обнаружилось и другие поползновения атаковать правительство с тыла, то есть со стороны самой власти. П.И. Рачковский, поставленный Дурново во главе политической полиции империи, стал создавать по всей стране «монархические» организации Союза Русского народа — во главе с доктором Дубровиным. Союз стал в прямую оппозицию к Манифесту 17 октября, как подрывающему самодержавию. «Союзников» взял под свое покровительство великий князь Николай Николаевич, а вскоре и сам государь стал их поддерживать. Он теперь не устал повторять, что Манифест у него «вырвали», причем имелось в виду, что это сделал не Николай Николаевич, разыгравший перед ним мелодраму с приставленным к собственному виску револьвером, а граф Витте. В то время, когда премьер с огромным трудом пытался проводить курс реформ, намеченный царским Манифестом, автор Манифеста все более откровенно отмежевывался от самого себя!

С февраля 1906 года Витте стал говорить о том, что поставлен в невозможное положение. Как глава правительства он несет всю полноту ответственности за происходящее в стране, подвергается нападкам со всех сторон, а проводить свой курс ему не дают безответственные элементы, окружающие трон; работать в таких условиях он не может и должен будет просить государя об отставке. Он заговаривал об этом то с Треповым, то с министром двора Фредериксом, а то и с самим государем. Конечно, он знал, что в нем нуждаются и не отпустят. Бряцание отставкой было способом борьбы с противодействием его начинаниям.

Но, по мере того, как ситуация в стране становилась менее острой, царь становился все более подозрителен к своему премьеру. Ему нашептывали о коварстве Витте, о том, что тот чуть ли не готовит заговор, дабы свергнуть монархию и самому стать президентом республики. Николай благосклонно выслушивал наветы и, наконец, дал понять премьеру, что не возражает против его ухода, но не раньше, чем тот завершит основные дела по вытаскиванию из ямы страны и самого государя. Для этого оставалось вернуть с Дальнего Востока армию, успешно провести по

⁷¹ Там же, С. 85.

всей стране выборы и заключить крупнейший в истории иностранный заем, без чего государство неумолимо катилось к банкротству — со всеми вытекающими последствиями, вплоть до нового — уже ничем не остановимого — революционного взрыва. Царь был намерен выжать из премьера последние соки, а затем выбросить вон.

Когда все было исполнено, в апреле 1906 года, за несколько дней до открытия Государственной Думы, «просьба» Витте об отставке была удовлетворена.

Прощаясь с ним, верный в своем постоянном непостоянстве государь сказал, что решил вручить бразды правления его врагам, но не потому, что они его враги, а потому, что «в настоящее время такое назначение полезно».

Прекрасно зная, на ком государь — по наущению Трепова — остановил свой выбор, Витте спросил: «Ваше величество, может быть вам будет угодно мне сказать: кто это такие мои враги, ибо я не догадываюсь о том». После того, как государь назвал И. Л. Горемыкина, Витте сказал: «Какой же, ваше величество, Горемыкин мой враг? Во всяком случае, если все остальные лица такого калибра, как Горемыкин, то они мне представляются врагами очень мало опасными»⁷².

Государь усмехнулся, оценив иронию.

Когда-то он уволил Горемыкина с поста министра внутренних дел, потому что ему «надоели пешки». И вот теперь он ставил эту пешку на капитанский мостик корабля, которому предстояло плавание по далеко еще не успокоенному и притом совершенно неведомому морю! Почему?

«Для меня главное то, что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти, и я могу ему вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов, и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, да и не с ним одним»⁷³.

Так Государь объяснит В. Н. Коковцову. Объяснит лицемерно, еще раз демонстрируя свою мелочность. Ни избирательного, ни какого-либо иного закона Витте не мог издать «за спиной» государя. Все делалось с его согласия и одобрения! Правда была

⁷² Витте С.Ю. УК. соч. Т. III. С. 328.

⁷³ Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903-1919 гг. Книга 1. М.: Наука, 1992. С. 152.

только в том, что премьер исходил из *широко* понимаемых государственных интересов России, тогда как государь превыше всего ставил свои *личные* интересы, и понимал их *узко* — так, как их понимали льстивые ничтожества, составлявшие его ближайшее окружение. Горемыкин подходил больше, чем Витте, ибо «его [государя] доверие направилось к тем, кто толкал его к гибели»⁷⁴.

Неумолимый дрейф к краю пропасти не мог не возобновиться.

Эпоха Трепова 1906

Поработать с Государственной Думой, которую он породил, Витте не дали, а И.Л. Горемыкин не имел ни малейшего понятия о том, с какой стороны подступиться к такому чудовищу. Как предупредил государя В.Н. Коковцов, «личность Ивана Логгиновича, его величайшее безразличие ко всему, отсутствие всякой гибкости и прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни, все это не только не поможет сближению с ними, но послужит скорее лозунгом для усиления оппозиционного настроения»⁷⁵.

Такая характеристика нового премьера (Коковцов, по его словам, «до мельчайшей подробности» передал этот разговор самому Горемыкину, во что трудно поверить) не помешала назначению Коковцова министром финансов в горемыкинский кабинет! Пойдя на образование *солидарного* Совета министров, Николай продолжал делать все, чтобы солидарности не допустить. Кажется, «разделяй и властвуй» был единственный метод управления, которым он владел. Он походил на капитана тонущего корабля, который, вместо того, чтобы налаживать дружную работу команды, дабы попытаться задраить брешь и дотянуть до спасительного берега, озабочен только тем, как бы старший помощник и боцман не сговорились между собой и тем не нанесли ущерба его безграничной власти на судне.

⁷⁴ Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. London: Overseas Publications Interchange LTD, 1991. С. 10.

⁷⁵ Коковцов В.Н. Ук. соч. С. 152.

Нечего и говорить, что, коль скоро ему так важно было противопоставлять друг другу министров, то гораздо важнее было поссорить правительство с Государственной Думой, еще даже не открывшейся. Если созданное *для работы с Думой* правительство в чем-то и было солидарно, то именно в том, чтобы с Думой *не* работать! Когда Государственный контролер П. К. Шванебах заметил, что в новом правительстве оказалось «немалое количества элементов, не слишком нежно расположенных к идее народного представительства и едва ли способных внушить к себе доверие со стороны последнего», Коковцов резонно ответил: «Пожалуй, что и все мы принадлежим к тому же разряду, начиная с нашего председателя»⁷⁶.

А вот картина приема депутатов Думы царем в Тронном Георгиевском зале Зимнего дворца – перед началом ее работы.

«Вся правая половина от трона была заполнена мундирной публикой, членами Государственного Совета и — дальше — Сенатом и государевой свитой. По левой стороне, в буквальном смысле слова толпились члены Государственной думы и среди них — ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, а подавляющее же количество их, как будто нарочно, демонстративно занявших первые места, ближайšie к трону, — было составлено из членов Думы в рабочих блузах, рубашках-косоворотках, а за ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах, некоторые в национальных уборах, и масса членов Думы от духовенства»⁷⁷.

Ради чего Николай устроил эту бестактную демонстрацию пышности в пышной своей резиденции вместо того, чтобы самому явиться в Таврический дворец и показать свое уважение к народным избранникам? А ради того, чтобы показать прямо противоположное: в державе ничего не изменилось и меняться не будет! Он снизошел к народным чаяниям по безграничной своей милости и добросердечию; но тот, кто раздает милости, может их отобрать. Народные представители в своих жалких зипунишках и косоворотках должны знать свое место!

Понятно, как восприняли этот прием представители народа. Они стояли насупленные, глядели исподлобья, а «наглое лицо» одного из депутатов дышало «таким презрением и злобой», что

⁷⁶ Там же, С. 155.

⁷⁷ Там же. С. 155-156.

новый министр внутренних дел П. А. Столыпин сказал стоявшему рядом с ним Коковцову: «Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня даже не оставляет все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастья»⁷⁸.

Состав Думы оказался в большинстве оппозиционным, отчасти и революционным. Поскольку избирательный закон давал многократные преимущества привилегированным классам, то настроение широких масс в среднем было еще более радикальным.

Вопреки антисемитской демагогии черной сотни, которая так импонировала царю и дворцовой камарилье, основной движущей силой революции было крестьянство. Как вскоре скажет П. А. Столыпин, «смута политическая, революционная агитация, приподнятые нашими неудачами, начали пускать корни в народе, питаюсь смуту гораздо более серьезною, смуту социальной развившейся в нашем крестьянстве... Социальная смута вскормила и вспоила нашу революцию»⁷⁹.

Это не значит, что другие вопросы — в особенности рабочий и национальный (польский, финский, еврейский и другие) — стояли менее остро. Но крестьянство составляло основную массу населения, и потому главный вопрос, который требовалось решить, чтобы всерьез и надолго оградить страну от потрясений, был вопрос о земле.

До отмены крепостного права земля в России была *собственностью* помещиков (а также государства и монастырей), но часть возделываемой земли находилась в *пользовании* крестьян. Они отрабатывали барщину, а остальное время трудились на «своем» наделе, что избавляло помещика от необходимости их содержать. Крестьянская часть помещичьей земли находилась в ведении *мира*: от него каждая семья получала надел — пропорционально числу едоков. Обычно крестьянский надел состоял из нескольких участков в разных местах, дабы равномерно распределялись лучшие и худшие, удобные и неудобные земли. Поскольку одни семьи росли быстрее других и образывы-

⁷⁸ Там же, С. 156.

⁷⁹ Столыпин П.А. О праве крестьян на выход из общины. Речь на заседании Государственного совета 15 марта 1910 г. Цит. по: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. М.: Рюрик, 1991. С. 135.

вались новые семьи, то время от времени производился передел *мирской* земли.

Когда Александр II решил покончить с крепостным правом, сразу возник вопрос о земле. Сохранить всю землю за ее владельцами значило превратить вчерашних крепостных в толпы голодных бродяг, рыщущих в поисках пропитания. Последствия неминуемой смуты могли быть ужасными. Отдать же «мирскую» землю крестьянам значило разорить помещиков, оставив их хозяйства без рабочей силы, а города — без *товарного* хлеба. Было принято компромиссное решение: вместе с личной свободой крестьян обеспечивали землей, но в собственность *крестьянской общины*, за выкуп, переходила только *часть* той земли, что раньше была в ее ведении.

Так удалось избежать коренной ломки экономических отношений: свободные крестьяне все-таки должны были работать на помещиков — теперь уже по найму, так как урожай, снимаемый с урезанных наделов, стал меньшим, и крестьянам нужны были заработки для выкупа земли и уплаты податей. С годами производительность полей, при общинной уравниловке, почти не росла, но стремительно росло народонаселение. Благодаря вхождению в жизнь элементарных норм гигиены стала сокращаться детская смертность, а высокий уровень рождаемости сохранялся. Число едаков в семьях увеличивалось, а количество хлеба не прибавлялось, быстрое обнищание большей части населения стало ведущей тенденцией. Остроту положения смягчали миграционные процессы: крестьяне мигрировали в города, где они превращались в пролетариев, или на свободные земли Сибири и Средней Азии, для чего правительство предоставляло поощрительные льготы. Но эти процессы поглощали лишь часть избыточного населения. Социальное напряжение росло, и к 1905 году вылилось в массовые крестьянские бунты по всей стране.

Растерянность властей граничила с паникой. Даже Д. Ф. Трепов носился с идеей принудительного отторжения части помещичьих земель в пользу крестьян, объясняя, что он сам помещик, но он готов отдать половину своей земли, чтобы сохранить вторую половину.

Витте, давно работавший над проблемой земельной реформы, хорошо знал, что в Западной Европе крестьяне-собственники собирали в три-четыре раза большие урожаи, чем русские крестьяне-общинники; ликвидация общины — это путь к нара-

щиванию урожаев и улучшению жизни крестьян. Он сделал первые шаги к преобразованию общины в частновладельческие наделы: провел закон о сокращении вдвое выкупных платежей в 1906 году и полной их ликвидации в 1907, ибо, пока на крестьянской общине висели долги за землю, раскассировать ее было невозможно. При крайней необходимости Витте готов был пойти и на принудительное изъятие части земли у помещиков в пользу крестьян, указывая на реформу 1861 года как на исторический прецедент. В любом случае он считал, что земельную реформу нельзя вводить бюрократическим путем, да еще в канун созыва Государственной Думы. Гражданские свободы дарованы для того, чтобы народ сам — через своих представителей — решал такие вопросы. Реформа, навязанная сверху, будет принята в штыки, какой бы «хорошей» она ни была. Предварительно можно было начать составлять *проект* реформы. Это он поручил Н.Н. Кутлеру, главноуправляющему земледелия и землеустройства, как официально назывался пост министра земледелия.

В основу проекта Кутлера были положены две определяющие идеи: частичное отторжение помещичьих земель в пользу крестьян (за выкуп по справедливой оценке) и постепенная замена общины фермерством. Но, по мере того, как наступало успокоение, в высших сферах отпала охота «отдать половину, чтобы сохранить вторую половину». Когда проект Кутлера был готов к предварительному обсуждению, он уже стал неуместным. Витте счел за лучшее отмежеваться от него и *сдал* одного из лучших своих сотрудников. Царь был настолько рассержен, что отклонил просьбу Витте назначить Кутлера в Государственный Совет или хотя бы в Сенат. Да и собственные дни Витте у власти были сочтены.

С открытием Государственной Думы сразу же со всей остротой был поставлен вопрос об аграрной реформе. Самый радикальный вариант выдвигали эсеры: национализация всей земли и передача ее в пользование «тем, кто ее обрабатывает». Но это был только лозунг: для его осуществления нужен был полный социальный переворот, а в 1905 году он не удался⁸⁰.

⁸⁰ Он удался через 12 лет, когда пришедшие к власти большевики, не имея своей аграрной программы, перехватили эсеровскую. Ленинский декрет о земле предусматривал национализацию всей земли и передачу ее в «вечное» пользование крестьянам.

Иным был законопроект кадетов. Он основывался на тех же принципах, что проект Кутлера⁸¹. Кадеты доминировали в Думе, и к ним присоединилась группа «трудовиков», вторая по численности, объединившая большинство депутатов-крестьян.

Глава политической полиции П. И. Рачковский устроил для крестьянских депутатов особое общежитие, где их накачивали «патриотической» идеологией: «царь и народ едины, а воду мутят евреи». Их пытались втянуть в орбиту Союза русского народа, создававшегося доктором Дубровиным при содействии той же политической полиции. Затея не удалась. «Всем крестьянам, как бы правы [по своей политической ориентации] они ни были, было присуще стремление получить землю. А потому, как только выяснилось, что левые партии за отчуждение [части помещичьих земель]... „большой“ план Рачковского — привлечение на сторону правительства правых крестьян, потерпел полное крушение», — вспоминал генерал А. В. Герасимов⁸².

Глава правительства И.Л. Горемыкин понятия не имел, что предпринять. В Думе он объявил кадетский законопроект «недопустимым», что было прямым посягательством на ее права и «вызвало среди депутатов целую бурю»⁸³. Даже очень умеренные из них потребовали отставки правительства.

Таков был разрыв между царским правительством и народным представительством. Наводить мосты Горемыкин не пытался. Его председательство в правительстве было фикцией. Заседания совета министров он проводил редко, наскоро, для проформы. Общую линию кабинета не вырабатывал. Он твердил, что он только слуга своего государя, и ждал указаний. Именно такого премьера хотел иметь Николай, но это оказалось не так комфортно, как он воображал. К роли амортизатора между царем и Думой Горемыкин не годился. Д. Ф. Трепов, чьими интригами он был поставлен, теперь стал внушать царю, что народное представительство против государя ничего не имеет, в конфронтации между правительством и Думой виновато правительство. То же самое напевала вся камарилья. Государю такая песня была по душе.

⁸¹ Вскоре Н.Н. Кутлер войдет в партию кадетов. Во второй Думе именно ему будет поручено готовить и отстаивать кадетский законопроект.

⁸² Герасимов А.В. Ук. соч. С. 76—77.

⁸³ Миллюков П.Н. Ук. соч.. Т. 1. С. 37.

Но кем заменить Горемыкина? Очевидно, тем, кто сможет работать с Думой!

Трепов делает очередной пируэт и набрасывает список будущих министров. В него попадают кадеты и близкие к ним общественные деятели: С. А. Муромцев (председатель Совета), П. М. Милюков, И. И. Петрункевич, В. Д. Набоков, В. Д. Кузьмин-Караваев, Н. Н. Львов, М. Я. Герценштейн, Д. Н. Шипов. Они-то наверняка устроят Думу! В список, как видим, попал даже крещеный еврей Герценштейн — через месяц он будет убит черносотенцами.

Но тут-то и обнаружился предел влияния всесильного дворцового коменданта! При его шатаниях вправо оно было безграничным, при отклонении влево натолкнулось на стену.

Когда царь, по секрету, показал список предполагаемых министров Коковцову, тот, по его собственным словам, пришел в сильное волнение. Для него в *таком* правительстве места не было. И он сразу же стал запугивать государя: если тот передаст власть кадетам, то вскоре сам лишится власти и трона!⁸⁴

В тот же день к Коковцову явился не менее взволнованный А.Ф. Трепов, родной брат дворцового коменданта, и рассказал о «безумном» проекте. Он просил «раскрыть глаза государю на всю катастрофическую опасность этой затеи», иначе проект может «проскочить под сурдинку». В способность государя самому понять, что к чему, он не верил. «Невежественные люди, привыкшие командовать эскадром, но не имеющие ни малейшего понятия о государственных делах, ведут Россию к гибели», негодовал А. Ф. Трепов на своего брата⁸⁵.

Встретившись с П.Н. Милюковым, Д.Ф. Трепов стал почти навязывать ему и его партии власть, объясняя, что сознает степень риска, но «когда дом горит, приходится прыгать и из пятого этажа».

Милюков выставил два условия: царь должен согласиться на частичное отторжение помещичьей земли в пользу крестьян и на полную амнистию политических заключенных. Иначе, объяснил он, кадеты не смогут «разоружить революцию, заинтересовав ее в сохранении нового порядка». Но Трепову уже стали выламывать руки. Он «безусловно отвергал принцип экспро-

⁸⁴ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 1. С. 176.

⁸⁵ Там же. С. 177-178

приации [земли]» и «находил по-прежнему невозможным говорить о „полной амнистии“». Тогда на авансцену был выдвинут министр внутренних дел П. А. Столыпин. Теперь уже он «по поручению государя» пригласил лидера кадетов для беседы. Согласно Милюкову, обсуждался вопрос о коалиционном правительстве. Столыпин предлагал себя в качестве председателя и оставлял за царем исключительное право назначать ключевых министров — военного, иностранных и внутренних дел, а также министра двора; остальные портфели отдавались избранникам Думы, то есть кадетам. Милюков не соглашался на председательство Столыпина и, главное, на то, чтобы оставить вне контроля Думы министерство внутренних дел, то есть карательную систему империи⁸⁶. А. В. Герасимов, которому Столыпин в тот же вечер подробно передал ход беседы, подтверждает: «Столыпин говорил, что готов был поддержать план создания думского министерства, но с большими оговорками»⁸⁷. Сам Столыпин позднее это отрицал⁸⁸.

Как бы то ни было, а сделка не состоялась. Царь и Столыпин не захотели выпрыгивать с пятого этажа горящего дома. Еще один шанс к гражданскому примирению был упущен.

7 июля 1906 года, на восемь часов вечера, в дом Горемыкина были приглашены все министры, но хозяина не оказалось на месте. Не было и министра внутренних дел Столыпина. Выяснилось, что оба, хотя и порознь, были вызваны в Царское Село и еще не вернулись.

Через час явился Горемыкин, и первые слова его были: «Поздравьте меня, господа, с величайшей милостью, которую мне мог оказать государь, я освобожден от должности председателя Совета министров, и на мое место назначен П.А. Столыпин с сохранением, разумеется, должности министра внутренних дел»⁸⁹.

Коковцов уверяет, что радость Горемыкина была неподдельной: он «чувствовал себя школьником, вырвавшимся на свободу»⁹⁰. Но сам Горемыкин доверительно рассказал своему «врагу» Витте, что его съел Трепов. Витте, сам съеденный Треповым,

⁸⁶ Милюков П.Н. УК. соч. Т. 1. С. 382-384.

⁸⁷ Герасимов А.В. УК. соч. С. 77-78.

⁸⁸ Милюков П.Н. УК. соч. С. 385

⁸⁹ Коковцов В.Н. УК. соч. С. 185-186.

⁹⁰ Там же. С. 186.

заметил, что такая же участь постигла бы и Столыпина, если бы внезапная смерть не выключила Трепова из игры.

Но дворцовый комендант еще при жизни стал политическим трупом. После того, как царь отбыл на яхте «Штандарт» в шхеры, а Трепов приглашен не был, он впал в хандру и умер от разрыва сердца. Короткая, но бурная эпоха конногвардейца, метавшегося между погромной и либеральной политикой, между «патронов не жалеть» и «отдать половину земли, чтобы сохранить другую половину», кончилась.

Эпоха Столыпина 1906-1911

Миф о Столыпине как о несостоявшемся Спасителе отечества, убитом евреями, возник в эмигрантских кругах праворадикального толка, а затем был оприходован Всероссийской фашистской партией — малочисленной, но крикливой организацией, образовавшейся в 1920-е годы под влиянием успехов Муссолини и Гитлера. Первая биография Столыпина была издана в Харбине — дальневосточной цитадели партии. Ее название «Первый русский фашист»⁹¹. В Харбине действовала и «Столыпинская академия» -- Высшая партийная школа русских фашистов⁹².

С разгромом и дискредитацией Гитлера и его союзников миф, казалось бы, должен был угаснуть. Но *хранители огня*, из числа прямых потомков и близких к ним почитателей П. А. Столыпина, этого не допустили. Конечно, миф пришлось подновить: из коричневой униформы штурмовика Столыпина перерядили в белые одежды патриота-свободолюбца. Огонек этот, мало кем замечаемый, десятилетиями теплился на обочине общественного сознания, пока Александр Солженицын не превратил его в олимпийский факел, понесенный вперед и выше.

На крыльях всемирной славы Солженицына столыпинский миф впорхнул в самую сердцевину диссидентской и нонкон-

⁹¹ Горячкин Ф.Т. Первый русский фашист: Петр Аркадьевич Столыпин. Харбин: «Меркурий», 1928.

⁹² См. Stephan John J. The Russian Fascists. Tragedy and Farce in Exile, 1925—1945. New-York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper & Row, 1978. С. 159.

формистской России и так глубоко в нее врос, что с начала 1990-х годов, когда рухнул коммунизм, а с ним и цензурные преграды, он стал одним из немногих объединяющих мифов русскоязычного информационного пространства⁹³.

Столыпин был водружен на пьедестал, где до него перебивали все главные советские вожди. Чем объясняется неистребимая потребность России в таком культе, я судить не берусь. А. И. Солженицын писал, сочувственно цитируя В. В. Шульгина: «Русские не способны делать дела через самозарожденную организованность. Мы из тех народов, которым нужен непременно вождь»⁹⁴. С этим я спорить не стану: тем, кто претендует на понимание загадочной славянской души, виднее. Нужен вождь, и все тут! Если его нет, его надо выдумать. О том, как это делается, можно узнать из сборника, составленного двумя апологетами П.А. Столыпина А. Серебряковым и Г. Сидоровниным. Вот характерная выписка:

«За 15 лет пребывания „макиавелистого“ (по выражению А. И. Солженицына) Витте на высших государственных постах, неизбежно расстраивались: железные дороги — крушение царского поезда с Александром III произошло в бытность его министром путей сообщения; финансы — в бытность его на посту министра финансов; обороноспособность страны — в бытность его на посту министра внутренних дел, и, наконец, первые грозные симптомы гражданской войны проявились в бытность его на посту премьер-министра. <...> Фактически сделав все для возникновения в стране острого политического, экономического и военного кризиса, правительство Витте подало в отставку.

На предложение государя Петр Аркадьевич ответил царю немедля: „Это против моей совести, ваше величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности... Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний“. Но Николай II настоял. <...> Молодой, статный, с характером необычайно решительным и выдержанным, чуждый кичливости, блестящий оратор, Столыпин сразу же стал инициатором и проводником реформ и

⁹³ Отчасти он выплеснулся и за его пределы, о чем свидетельствует книга американского политолога Дэниела Махони. См.: Mahoney Daniel J. Alexander Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology. New York-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lanham-Boulder, 2001, а также мою рецензию на эту книгу и последовавшие отзывы в: The Washington Times. September 23, 27 & 28. 2001; Резник С. Солженицын между Востоком и Западом. «Вестник». 28 марта 2002. № 7. С. 37-41. (<http://www.vestnik.com/issues/2002/0328/koi/reznik.htm>)

⁹⁴ См. Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 166.

законоположений, поучительность и результативность которых поражает и сегодня. Главным делом его жизни стала земельная реформа. Жизни стоившая, но давшая ему всемирную и вневременную известность»⁹⁵.

Непременным атрибутом мифотворчества должна быть демонизация конкурента на роль лучезарного героя. (Как не вспомнить Эммануэля Голдстейна, противопоставляемого Старшему Брату в мрачной утопии Джорджа Оруэлла!).

Был ли Витте «макиавелистским»? Безусловно. Иные в высшем эшелоне власти не удерживались. Это в равной степени относится и к Столыпину. Что же касается крушения царского поезда, то оно произошло *до того*, как Витте стал министром путей сообщения. Это крушение и заставило Александра III вспомнить о предостережениях Витте, когда тот, будучи сотрудником «жидовской», по словам разгневанного царя, железной дороги, не позволил гнать царский поезд со слишком большой скоростью – в нарушение правил безопасности. Будучи министром финансов, Витте сумел укрепить курс рубля и перевести его на золотое обеспечение, что позволило привлечь иностранные капиталы для развития экономики страны. Министром внутренних дел Витте никогда не был; обороноспособность страны развалили те, кто втянул ее в позорную японскую войну, против чего Витте возражал. А «гражданская война» (то есть революционные события 1905 года) началась, когда Витте был в опале; для того, чтобы ее погасить, он предложил план конституционных преобразований и, став премьером, в труднейших условиях проводил его в жизнь.

При всех его ошибках, непоследовательности и *макиавельности*, Витте стремился искать выход из системного кризиса, в который страну загнал Николай II, в *сотрудничестве с обществом*. Это открывало путь к эволюционным преобразованиям вместо революционных потрясений. Но *такой* Витте создателей культа Столыпина устроить не может. По отношению к нему пускаются в ход оруэловские «две минуты ненависти», дабы ярче воссияло солнце «всемирного и вневременного» Старшего Брата, конечно же «молодого, статного, чуждого кичливости» и т. п.

⁹⁵ Столыпин П.А. Жизнь и смерть. Сост. Александр Серебрянников и Геннадий Сидоровнин. Приволжское книжное издательство, 1991. С. 42-43.

Что же представлял собой *исторический* Столыпин?

Об этом можно судить по его конкретным делам в конкретных обстоятельствах.

Для роспуска Государственной Думы, назначенного на воскресенье 9 июля 1906 года, то есть через 2,5 месяца после того, как она начала работать, новый премьер и министр внутренних дел в деталях подготовил строго законспирированную операцию. Прежде всего, были приняты меры против преждевременной утечки информации об Указе, печатавшемся накануне ночью в Сенатской типографии. В качестве отвлекающего маневра на понедельник 10 июля было назначено слушание в Думе объяснений правительства по депутатскому запросу о еврейском погроме в Белостоке: никто не должен был заподозрить, что до понедельника Дума не доживет. Для еще большего усыпления бдительности депутатов Столыпин просил Коковцова не отменять обычного субботнего отъезда в деревню: перемена в рутинных перемещениях министра финансов могла быть замечена прессой и послужить сигналом тревоги. «А что, если вспыхнет забастовка на железной дороге и я не смогу вернуться?» — спросил Коковцов. Столыпин тотчас позвонил министру путей сообщения и распорядился, в случае необходимости, доставить министра финансов специальным паровозом, так что и это было предусмотрено!⁹⁶

Предосторожности отнюдь не были лишними! Ведь готовился акт, означавший крутой разворот в политике царского правительства — от медленного, осторожного, но все-таки сближения с обществом к новой конфронтации.

Согласно Основным законам, роспуск Думы при некоторых обстоятельствах допускался. Но сделать это через два месяца после начала ее работы! Да назначить новые выборы так, чтобы новая Дума начала работать только через семь месяцев! Да и где гарантии, что новые выборы — и новая Дума — вообще состоятся! Внезапный разгон Думы общественность могла интерпретировать как государственный переворот, отнимающий свободы, «дарованные» царем так недавно! Словом, власть имела все основания бояться организованного сопротивления.

Роспуска Думы вожделенно ожидал государь, но, хорошо зная его неустойчивость, И. Л. Горемыкин, официально еще не

⁹⁶ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 1. С. 191.

отставленный, в субботу 8 июля пораньше исчез из дома, а, вернувшись поздно вечером и убедившись, что из Царского Села никаких указаний не поступало, приказал швейцару ни под каким видом себя не будить. Ночью, как потом говорили, было таки доставлено повеление царя — *отложить* исполнение Указа о роспуске Думы! Но Горемыкин спал; пакет до утра пролежал нераспечатанным! Коковцов, приводя эту подробность, добавляет: «Лично я совершенно не доверяю этому рассказу и не допускаю мысли, чтобы государь мог в такой форме изменить сделанное им распоряжение... за спиной человека [Столыпина], на которого он только что возложил такой ответственный долг. Но рассказ этот характерен как показатель настроения, господствовавшего в ту пору»⁹⁷.

Однако такое настроение господствовало не случайно, ибо было уже известно, что вечно конспирировавший против всех и вся государь *мог* действовать таким манером. И Столыпину, и Коковцову предстояло многократно испытать это на себе.

В воскресенье утром 9 июля депутаты Думы прочли Указ о ее роспуске. Бросились к Таврическому дворцу, но здание было оцеплено полицией, все двери заперты. Население, тоже застигнутое врасплох, организовать не смогло, специального паровоза за Коковцовым посылать не понадобилось. Вроде бы все прошло без сучка, без задоринки. Но часть депутатов Думы, потолкавшись у оцепленной своей резиденции, незаметно, по одному или небольшими группами, направились на Финляндский вокзал, оттуда в Выборг — город, как-то защищенный от полицейского произвола финской конституцией. В зале одной из гостиниц собралось около 230 депутатов — большинство кадетов. Муромцев, заняв председательское место, невозмутимым голосом объявил:

«Заседание Государственной Думы продолжается!»

Воззвание под названием «Народу от народных представителей», подписанное большинством депутатов, резко осуждало роспуск Думы. «Целых семь месяцев правительство будет действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную, угодную Думу, а если ему удастся совсем задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы», — говорилось в воззвании, призывавшем оказать

⁹⁷ Там же, С. 192.

сопротивление этому произволу. «Правительство не имеет права без согласия народных представителей ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе ему не давать ни солдат, ни денег». Это был призыв к *мирному* гражданскому неповиновению. Ни к всеобщей забастовке, ни к вооруженному восстанию призыва не было, так что, по тем временам, это было умеренное воззвание, отражавшее умеренную левизну партии кадетов. Позднее, на суде, Муромцев даже скажет, что, призывая народ к *пассивному* сопротивлению, Выборгское воззвание ставило целью предотвратить *активное* сопротивление, то есть новый революционный взрыв⁹⁸.

Воззвание не достигло своей прямой цели, но достигло гораздо большего. Оно заставило власти *доказывать*, что обещание провести выборы в новую Думу выполнят. Выборгцы заплатились тремя месяцами тюрьмы каждый – то была небольшая плата за срыв заговора против конституционного строя!

А пока, пользуясь свободой рук в междумный период, Столыпин, поддерживаемый государем, развернул бурную деятельность, показывая каждым своим словом и делом, что кулак, разжимавшийся целых два года, теперь будет сжиматься.

Для революционного подполья это послужило новым сплачивающим и мобилизующим импульсом.

После Манифеста 17 октября 1905 года оно лишилось безусловной поддержки умеренных кругов, а в его собственных рядах возникли сомнения, колебания, разброд. Руководство самой крупной революционной партии – эсеров – в ответ на Манифест 17 октября постановило прекратить террор, но возобновило его после жестокого подавления Декабрьского восстания в Москве. В связи с созывом Думы Совет партии снова постановил прекратить террор, но дал Центральному комитету право, «не дожидаясь следующего собрания Совета, возобновить террор в тот момент, когда этого потребуют интересы революции»⁹⁹. Правда, наиболее радикально настроенные террористы с этим не согласились и выделились в самостоятельную группу «максималистов». В разных местах действовали другие автономные группы. Тем важнее было для власти проводить курс,

⁹⁸ Николаевский Б. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. New York: Russica, 1980. С. 194.

⁹⁹ Там же.

который бы привлекал или хотя бы нейтрализовал как можно более широкие слои населения, обрекая экстремистов на изоляцию.

Столыпин, поддерживаемый царем, пошел другим путем. Направление ответного удара можно было предвидеть.

Пикантная подробность побоища в доме премьера на Аптекарском острове состояла в том, что прямым соучастником его был... сам премьер.

История этого злодеяния прямо связана с тем, что в июне, в Киеве, некто Соломон Рысс, арестованный «при попытке ограбления артельщика», предложил свои услуги полиции. Начальник Киевского Охранного отделения полковник А.М. Еремин спешно доложил в Петербург о возможности заполучить ценного агента. Получив одобрение от начальника департамента полиции М. И. Трусевича, Еремин устроил преступнику побег, а два охранника, упустившие его якобы по халатности, были судимы и приговорены к каторге!¹⁰⁰

Рысса переправили в Петербург для внедрения в группу максималистов и туда же перевели, с большим повышением, полковника Еремина, поставленного «заведовать всей секретной агентурой». Ни с кем другим из полицейского начальства провокатор контактировать не желал, а с его условиями приходилось считаться. Своей властью проводить эти перемещения и назначения Трусевич не мог: он действовал, получив одобрение министра внутренних дел Столыпина¹⁰¹.

Рысс потребовал до поры не арестовывать никого из группы максималистов, к которой он примкнул. Трусевич снова обратился к Столыпину, а тот запросил мнение начальника Петербургского охранного отделения Герасимова. У Герасимова не было принципиальных возражений против использования уличенных преступников в целях сыска: он сам действовал такими же методами. Он только высказал сомнения в надежности *данного* агента, — скорее всего потому, что тот проходил не по его Отделению. Именно так это расценил Столыпин: выслушав Герасимова, он «присоединился к мнению Трусевича и подтвердил приказ о производстве арестов максималистов»¹⁰².

¹⁰⁰ Там же, С. 88.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² Герасимов А.В. УК. соч. С. 90. Заимствуя факты из вполне надежных в этом отношении воспоминаний А.В.Герасимова, я в то же время хочу оттенить очевидное стремление

12 августа, к дому Столыпина на Аптекарском острове, в обычное время приема, когда там толпилось много посетителей, в открытом ландо подкатили два жандарма. Они вошли в вестибюль, неся каждый по тяжелому портфелю. Заметив какие-то непорядки в их форме, охрана бросилась наперерез, но было поздно. Страшный взрыв разнес в клочья обоих «жандармов» и отправил на тот свет еще 25 человек. Часть дома взлетела на воздух. Сквозь клубы дыма и пыли слышны были жалобные стоны, ржание раненых лошадей. Тяжело пострадали дочь и сын премьерера.

Чудом уцелевший Столыпин проявил самообладание и мужество. То, что злодеяние было совершено при прямом участии агента полиции и соучастии самых высших чинов, удалось скрыть от общественности. Даже после этой бойни Рысс не был арестован и продолжал служить сексотом.

Зато уже через неделю, по представлению Столыпина, царь подписал чрезвычайный закон о введении скорострельных военно-полевых судов. Этим «решительным» ответом власть маскировала то, что действенного средства борьбы с террором у нее не было.

В чем, в чем, а в кровавой юстиции недостатка в России не ощущалось. Гражданское судопроизводство смертной казни не знало, но параллельно действовали военные суды двух типов.

Достаточно было объявить ту или иную губернию на военном положении (три четверти губерний в то время), как в юрисдикцию военных судов автоматически переходила определенная категория уголовных дел. Суд вершился скорый, без излишних формальностей; смертный приговор часто выносился при юридически ничтожных уликах.

Адепт пунктуальной законности В. А. Маклаков подчеркивал, что при всей жесткости такой юстиции в ней еще не было абсолютного произвола, так как это была «общая мера для всех». Но ее дополняла другая категория военных судов: на основе Положения о чрезвычайной охране. Это положение позволяло предавать военному суду *любого* подозреваемого по усмотрению генерал-губернатора, то есть *по произволу*. В. А. Маклаков видел в этом миниатюрную модель всей системы *старого* самодержавия.

автора всячески подчеркивать свое профессиональное превосходство — в противовес дилетантизму его бывших соперников и товарищей по оружию.

вия. «В этом был разврат, который всех приучал к беззаконию, заменял закон произволом и этим „воспитывал нравы“»¹⁰³.

В. А. Маклаков, первый кадет, еще более поправевший в эмиграции, в своих воспоминаниях склонен выставлять Столыпина в максимально выгодном свете. Тем не менее, задавая вопрос, что же сделал Столыпин с доставшейся ему карательной системой, он отвечал: «Он не только не исправил, хотя бы частично, „исключительных положений“, но он их в самом „неврологическом пункте“ *ухудшил*. Единственная новелла, введенная им в эту область, была знаменитая мера 19 августа 1906 г. о „военно-полевых судах“» (курсив В. А. Маклакова — *С.Р.*)¹⁰⁴

«Новелла» обрекала на виселицу почти каждого, кто попадал в мясорубку. По положению, суд происходил не позднее 48 часов после ареста, так что ни о каком серьезном следствии не могло быть и речи. В состав суда входили строевые офицеры, без допущения юристов, даже военных. Для профессиональной оценки представленных им улик у них не было квалификации. Приговор приводился в исполнение не позже, чем через 24 часа после его вынесения; обжалованию или пересмотру не подлежал. Очевидная цель максимального сближения *преступления*, чаще всего не доказанного, и *наказания*, почти всегда неотвратимого, состояла в *устрашении*. Тогда как террористы безнаказанно творили кровавые дела, нередко при содействии полиции, петля в большинстве случаев затягивались на шее тех, кто ни к какой революционной работе причастен не был. Во Второй Думе Столыпин бросит в зал знаменитое: «Не запугаете!» Но сам он делал ставку именно на запугивание. Большевики многократно усовершенствуют эту систему и придадут ей небывалый размах, но в числе тех, кто возвращал ее ростки, одно из самых видных мест принадлежало Столыпину.

Поскольку законоположения, принятые в промежутке между Первой и Второй Думами, надо было как-то оформить, то они вводились царскими указами по 87-й статье Основных законов. Статья позволяла во время перерыва в работе законодательных учреждений, «если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном», вводить временные законы, при условии, что

¹⁰³ Маклаков В.А. Ук. соч., С. 21.

¹⁰⁴ Там же.

после возобновления работы Думы они должны ею утверждаться или прекращать свое действие. Это значило, что такие законы должны были носить временный и обратимый характер.

В свете этого положения, закон о военно-полевых судах, строго говоря, мог быть принят по 87-й статье, так как впоследствии он мог быть (и был) отменен Второй Думой, хотя тысячи повешенных уже нельзя было воскресить. Но этого никак не скажешь о ряде других законов, включая наиболее важный из них – от 9 ноября 1906 года, -- положивший начало аграрной реформе.

В Советском Союзе столыпинскую реформу предавали анафеме. В постсоветской России, а в диссидентских и нонконформистских кругах много раньше, в ней увидели спасение для сельского хозяйства страны, доведенного коммунистической властью до полного развала и деградации. С зияющих высот колхозного строя иного видения столыпинской реформы трудно было бы ожидать. Но если спуститься в долину дореволюционной России, то легко увидеть, что столыпинский вариант реформы был не единственным и, видимо, не наилучшим. Он не решил главного: острой нехватки земли, которую испытывали крестьянские массы.

Альтернативный проект реформы предлагала партия конституционных демократов в Первой, а затем во Второй Думе. Он также предполагал в перспективе превращение крестьянина-общинника в фермера-собственника. В этом оба проекта *сходились*. Разница состояла в том, что кадеты настаивали на увеличении крестьянской доли землевладения – за счет помещиц. Этого требовали прагматические соображения, так как основные требования крестьянства сводились к одному короткому слову: «Земли!» Удовлетворить это требование хотя бы частично – значило ослабить социальное напряжение в стране.

Столыпин восстал против посягательств на «священные права собственности». Не потому, что он не сознавал крестьянской нужды в земле. Он предлагал ускорить процесс переселения крестьян на свободные земли Сибири, облегчить покупку крестьянами земли у помещиков, *желавших* ее продать. Эти меры были полезными и достаточно эффективно проводились в жизнь. Будучи способным администратором, Столыпин сделал немало для улучшения работы государственного аппарата. Но глава правительства – прежде всего политик, а потом уже ад-

министратор. Как политик он должен либо согласовывать интересы различных групп населения, смягчая противоречия между ними, либо брать сторону одних групп в ущерб другим. Политика Столыпина в земельном вопросе сводилась к тому, чтобы идти навстречу крестьянам лишь до тех пор, пока это не ущемляло интересы помещиков. Принудительного выкупа помещичьей земли он не допускал. Это означало, что крестьяне в большинстве регионов страны должны были довольствоваться теми наделами, которые получают при выходе из общины. Вот когда научатся хозяйствовать на *своей* земле, тогда урожаи возрастут, и даже малые наделы станут давать достаточно хлеба — таков был основной посыл Столыпина.

Но — улита едет, когда-то будет. Премьер хорошо знал — когда. Неспроста он говорил: «Дайте мне двадцать лет, и вы не узнаете России». А как протянуть эти двадцать лет? Прозябать в нищете?

Приватизацию общинной собственности даже черносотенные депутаты от крестьян считали недостаточной мерой, резко расходясь в этом вопросе с черносотенными депутатами-помещиками¹⁰⁵. Показывая, что «священному праву собственности» 130-ти тысяч помещиков власть отдает предпочтение перед сытостью десятков миллионов крестьян, Столыпин лишь подтверждал то, что внушала массам революционная пропаганда: власть стоит на страже интересов «помещиков и капиталистов», а не простого народа.

Аграрная реформа Столыпина *НЕ* решала основного вопроса русской революции. Об этом, между прочим, ярко свидетельствует одно вскользь брошенное замечание будущего председателя Третьей и Четвертой Думы М.В. Родзянко, относящееся к последним месяцам царского режима:

«Так как на дворянство и духовенство уже не полагались, то по мысли [министра внутренних дел] Протопопова решено было привлечь на сторону правительства крестьян и с этой целью стали разрабатывать законопроект о наделении крестьян — георгиевских кавалеров [!] — землею в количестве до тридцати десятин, путем *принудительного отчуждения от частных владельцев*» (курсив мой. — С.Р.)¹⁰⁶. Конечно, вопроса о земле

¹⁰⁵ Подробнее см.: Степанов С.А. Черная сотня в России (1905— 1914 гг.). М.: ВЗПИ А/О «Росвузнаука», 1992. С. 245-250.

¹⁰⁶ Родзянко М.В. Крушение империи. Нью-Йорк, 1986. С. 217

таким *принудительным отчуждением* не решался: георгиевских кавалеров среди солдат были единицы на много тысяч. Цель, видимо, состояла в том, чтобы поднять дух армии.

Но, увы!

Одна из причин того, что летом 1917 года, вопреки усилиям Временного правительства, стал разваливаться фронт, состояла в том, что солдаты массами разбегались по домам, где, по слухам, начинался передел земли, и они боялись, что останутся обделенными. В этом же причина того, что после Октября ленинский декрет о земле, наряду с декретом о мире, бросил солдат и крестьян в лагерь большевиков.

Таковы были *дальние* последствия столыпинский реформы – в момент принятия их трудно было предвидеть. Но очевиден был ее *правовой* аспект. Речь шла о реформе, рассчитанной на долгий срок и не имевшей характера чрезвычайной срочности; а, главное, необратимой, ибо после передачи общинной земли в собственность отдельных крестьян, ее уже нельзя было вернуть обратно. Значит, вводить ее царским указом по 87-й статье можно было, только профанируя и эту статью, и Основные законы вообще. Против этого должны были протестовать все, для кого «дарованные» свободы не были пустым звуком. Столыпин сознательно шел на поправку законов.

«Столыпин... юридической стороне придавал наименьшее значение, и если для него какая-нибудь мера представлялась необходимой, то он никаких препятствий не усматривал... Тут его рассуждения были таковы, что, когда в государственной жизни создается необходимость какой-нибудь меры, — для таких случаев закона нет»¹⁰⁷.

Такое объяснение действий Столыпина многого стоит, ибо оно исходит от И.Г. Щегловитова, с чьим именем связаны самые скандальные беззакония той эпохи. Будучи министром юстиции в кабинете Столыпина, он сфабриковал дело Бейлиса и многие другие дела.

Да и сам Столыпин, не стесняясь, излагал свое кредо: «Не думайте, господа, что достаточно медленно выздоравливающую

¹⁰⁷ Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Редакция П.Е. Щеголева. Л.; М.: Госиздат, 1925. Т. II. С. 439. (Допрос И.Г. Щегловитова.)

Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой»¹⁰⁸.

Если так, к чему вообще румяна и прочая косметика?

Для разгона Второй Думы Столыпин прибегнул не только к конспирации, но к провокации. Ключевая роль выпала на долю Екатерины Шорниковой – секретного агента охранки по кличке Казанская.¹⁰⁹ Она была секретарем некоей петербургской военно-революционной группы и держала в своих руках все нити ее работы среди солдат гарнизона. Этой группой, при активном участии Шорниковой и, вероятно, по ее инициативе, был составлен крамольный «солдатский наказ» для социал-демократической фракции Государственной Думы. Шорникова передала его копию начальнику Охранного отделения Герасимову, тот — Столыпину, который санкционировал все дальнейшие действия.

«Он потребовал, чтобы аресты были произведены в тот момент, когда солдатская делегация явится в социал-демократическую фракцию, чтобы, так сказать, депутаты были схвачены на месте преступления», — свидетельствовал Герасимов.

В чем же состояло «преступление» депутатов? Может быть, кто-то из них находился в предварительном створе с солдатской группой, придумавшей «Наказ»? Но Герасимов подтверждает: «Для самой социал-демократической фракции появление этой [солдатской] делегации оказалось полной неожиданностью»¹¹⁰.

Так как состава преступления не было, Охранка должна была его создать. И провалилась. «Приняв от них [неожиданно явившихся солдат] наказ [и заподозрив неладное], депутаты поспешно выпроводили их из помещения через черный ход»¹¹¹.

Когда явились жандармы, уже было поздно. Депутатские удостоверения, гарантировавшие парламентскую неприкосновенность, не заставили их ретироваться. Они перевернули все помещение, перерыли и забрали кучу бумаг, но ни солдатской де-

¹⁰⁸ Столыпин П.А. О деле Азефа. Речь на заседании Государственной Думы 11 февраля 1909 г. Цит. по: П.А.Столыпин. Жизнь и смерть за царя. С. 119. См. также: Столыпин А.А. П.А.Столыпин. 1862-1911. Париж, 1927; репринт. М.: Планета, 1991. С. 46.

¹⁰⁹ В воспоминаниях В.Н. Коковцова она ошибочно названа Марисей.

¹¹⁰ Герасимов А.В. ук. соч. С. 110.

¹¹¹ Там же.

легации, ни крамольного «наказа» не нашли. «Схватить депутатов на месте преступления», как наставлял Столыпин, не удалось. Премьера это не остановило. Крамольных солдат арестовали в казармах — по списку Шорниковой. Приобщили к делу полученную от нее же копию «наказа». Был выписан ордер и на ее арест, но ей «удалось скрыться». Много лет она так удачно «скрывалась», что, числясь в списках преступников, разыскиваемых Департаментом полиции, в том же Департаменте получала справки о благонадежности для устройства на работу¹¹².

Как видим, борьба с революционной пропагандой в армии служила ширмой для проведения куда более важной операции. То был столыпинский «поджог Рейхстага»! Готовился государственный переворот, под него следовало подвести надежный фундамент.

Столыпин явился в Думу с сенсационными разоблачениями и потребовал лишить парламентской неприкосновенности всю фракцию социал-демократов (эсдеков) в количестве пятидесяти пяти депутатов, то есть выдать их для суда. К мнимому заговору эсдеков он пристегнул еще один, куда более зловещий. Отвечая на запрос правых депутатов, специально для этой цели поданный, он «подтвердил» слухи о раскрытии «образовавшегося в составе партии социалистов-революционеров *сообщества*», которое поставило «целью своей деятельности *посягательство на священную особу Государя императора и совершение террористических актов, направленных против великого князя Николая Николаевича и председателя совета министров*» (курсив в тексте — С.Р.)¹¹³.

¹¹² Коковцов уверяет, что «никто из нас», в том числе и Столыпин, не знал о провокаторской роли Шорниковой. Это не может не вызвать иронической усмешки — в свете его же повествования о большой неприятности, выпавшей на его долю пять лет спустя, когда Шорникова появилась в Петербурге и стала требовать денег, чтобы уехать в Америку — от преследований бывших товарищей по партии. Коковцов, тогда уже премьер, должен был лично заниматься этим делом, для чего вызвал из отпуска министра юстиции Щегловитова и даже ставил вопрос на обсуждение Совета министров. Столыпин такие вопросы на заседания Совета министров не выносил, поэтому неудивительно, что в 1906 году Коковцов не был посвящен в тайные игры охранки. Но Столыпин, будучи не только премьером, но и министром внутренних дел, лично ею руководил. Ни одного серьезного шага охранка без него не делала.

¹¹³ Столыпин П.А. О заговоре против Государя императора, великого князя Николая Николаевича и П.А. Столыпина. Ответ на запрос правых партий от 7 мая 1907 г. В кн.: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 98.

Никаких имен и подробностей Столыпин не сообщил, но имелось в виду дело группы Владимира Наумова, сына начальника Петергофского почтово-телеграфного отделения. Познакомившись с казаком Ратимовым, служившим в охране царского дворца, Наумов стал ему говорить о предстоящей революции. Когда тот доложил об этом разговоре начальству, ему велели продолжать контакты с Наумовым, прикидываясь сочувствующим. Остальное было делом техники. Режиссуру первоначально взял на себя начальник дворцовой охраны полковник Спиридович (через несколько лет он сыграет роковую роль в судьбе Столыпина), а затем «сам» Герасимов. Доведя дело до нужной кондиции, Герасимов арестовал Наумова, запугал его предстоящим смертным приговором, а затем пообещал даровать жизнь — в обмен на известные услуги. Наумов оговорил многих друзей и знакомых, но на суде от своих показаний отказался. Других улик против восемнадцати (!!) обвиняемых не было. Чтобы спасти дело, пришлось вызвать свидетелем... самого начальника Охранного отделения. Ради конспирации и пущего эффекта Герасимов давал показания густо загримированным. Но и сквозь толстый слой грима проступали черты раздутой полицейской провокации. Юридическая несостоятельность сфабрикованного дела о несостоявшемся цареубийстве «вызвала протесты в рядах защиты, и один из защитников, кажется, В. А. Маклаков, во время моих показаний с возмущением покинул зал заседания»¹¹⁴. Это не помешало присудить Наумова и еще двух человек к смертной казни, а десяток других отправить на каторгу. Партия эсеров отрицала связь с группой Наумова, и на суде она не была установлена.

Но даже если бы это дело не граничило с блефом, то какое отношение террористическое «сообщество» эсеров могло иметь к депутатской фракции эсдеков, которым солдаты принесли свой «наказ»? Зато *посягательство на священную особу, плюс на особу великого князя, плюс на импозантную особу* стоящего тут же на трибуне премьера — это звучало гордо! На такой липе и основывалось требование Столыпина о снятии парламентского иммунитета с пятидесяти пяти депутатов Государственной Думы и выдачи их для расправы! Экспансивный Пуришкевич выскочил на трибуну вслед за Столыпиным и завопил, что «пре-

¹¹⁴ Герасимов А.В. УК. соч. С. 107.

ступники должны быть немедленно выданы и отправлены на виселицу»¹¹⁵.

Крайне правые, к которым принадлежал черносотенный бесарабский помещик, составляли среди депутатов Второй Думы ничтожное меньшинство. Но отвергать с порога требование премьера Дума не стала, а постановила передать вопрос для изучения в Комиссию, дав ей срок один день. И тут премьер запаниковал. Ему нужны были не головы депутатов-эсдеков, а повод для нового разгона Думы. «По существу Столыпин рассчитывал именно на несогласие Государственной Думы», — откровенничал Герасимов¹¹⁶.

С разгоном Думы давно уже торопил царь, причем он «не входил вовсе в рассмотрение детального вопроса о необходимости соблюсти какую-то особенную осторожность при роспуске, — свидетельствовал Коковцов. — Его взгляд был до известной степени примитивен, но ему нельзя, по справедливости, отказать в большой логичности. Я хорошо помню, как на одном из моих всеподданнейших докладов между 17 апреля и 10 мая государь прямо спросил меня, чем я объясняю, что совет министров все еще медлит представить ему на утверждение указ о роспуске Думы и о пересмотре избирательного закона»¹¹⁷.

Тут сквозило недовольство Столыпиным, о чем Коковцов поспешил ему сообщить, а председатель совмина, столь грозный и решительный вне стен Царскосельского дворца, стелился перед государем. Что, если Дума выдаст депутатов-эсдеков? Он жалобно запросил: «Можно ли Думу не распускать, если она согласится на исполнение требования?» Николай, к счастью, понял, что в таком случае роспуск был бы неуместен. Но к еще большему счастью премьера...

«Заседание 2-го июня длилось недолго. — К концу его Кизеветтер, председатель комиссии, занимавшейся делом соц[иал]-демократов, пришел доложить, что комиссия работы своей не окончила, и просил продлить ей срок до понедельника. Предложение было принято Думой»¹¹⁸.

Дальше медлить было нельзя. И напрасно в тот же вечер, уже около полуночи, втайне от своих товарищей по фракции, В. А.

¹¹⁵ Цит. по: Маклаков В.А. Ук. соч. С. 243.

¹¹⁶ Герасимов А. В. Ук. соч. С. 111.

¹¹⁷ Коковцов В.Н. Ук. соч. Т. 1. С. 226.

¹¹⁸ Маклаков, Ук. соч. С. 243.

Маклаков и трое других правых кадетов отправились к Столыпину уговаривать его проявить терпение. «Было что-то возмущающее в том, что этот роспуск надвинулся как раз в тот момент, когда Дума благополучно обошла последние подводные камни, и когда настоящая работа ее, наконец, началась, и могла продолжаться».

Столыпин какое-то время валял Ваньку, а потом, «как будто перестав притворяться, грустно сказал: „Пусть все это так; но есть вопрос, в котором мы с вами все равно согласиться не сможем. Это — аграрный. На нем конфликт неизбежен. А тогда к чему же тянуть?“»¹¹⁹

Аграрный закон, принятый по 87-й статье, подлежал утверждению Думой, а она стояла за кадетский законопроект, включавший увеличение крестьянских наделов за счет выкупа, если потребуется, принудительного, части земли у помещиков. Тут-то и была зарыта собака. Не депутаты-эсдеки были камнем преткновения, а то, что Столыпин не желал уступить ни пяди помещицкой земли!

«Он кончил неожиданной любезностью, — завершает эту сцену В. А. Маклаков. — „Желаю с вами всеми встретиться в 3-ей Думе. Мое единственное приятное воспоминание от Второй Думы, — это знакомство с вами. Надеюсь, что и вы... узнали нас поближе [и] не будете считать нас такими злодеями, как это принято думать“. Я ответил с досадой: „Я в 3-ей Думе не буду. Вы разрушили всю нашу работу и наших избирателей откинете влево. Теперь они будут *не нас* избирать“. Он загадочно усмехнулся. „Или вы измените избирательный закон, сделаете государственный переворот? Это будет не лучше. Зачем же мы тогда хлопотали?“ Он не отвечал, и мы с ним простились»¹²⁰.

Давно подготовленный Указ о роспуске Думы был подписан в тот же вечер, 3 июля. Он вошел в историю под названием «третьеиюньский переворот», так как то был государственный переворот в точном значении этого понятия, хотя апологеты Столыпина пытаются это оспаривать. Ибо, в нарушение Основных законов, одновременно с роспуском Думы был изменен избирательный закон. От участия в выборах отсекалось большинство крестьян, рабочих и даже мещан. В еще большей степени были

¹¹⁹ Там же. С. 246.

¹²⁰ Там же. С. 247.

урезаны избирательные права жителей окраин империи, дабы в Думу могло пройти как можно меньше инородцев. Обеспечивался сдвиг всего депутатского корпуса далеко вправо, с таким расчетом, чтобы правительство всегда имело большинство. Витте назовет Третью Думу не избранной, а *подобранной*, а мы, имея за плечами советский опыт, можем увидеть в ней прообраз будущего Верховного Совета. Коммунисты довели подмену *избранных* депутатов *подобранными* до логического конца, но начат процесс был Столыпиным.

Манипулирование законом было ведущим методом государственной деятельности Столыпина, на чем он, в конечном счете, и подорвался. Его политическое влияние кончилось – в связи со скандалом вокруг закона о Западном земстве.

Апологеты Столыпина видят в этом законе свидетельство его умеренности и даже демократичности, что, увы, снова не соответствует исторической правде.

Особенность Западного края состояла в том, что значительная часть крупных поместий принадлежала польским магнатам, тогда как русские помещики, владевшие там крупными именьями, как правило, в них не жили и в местных делах не участвовали. Введение здесь земского самоуправления на тех же основаниях, что во внутренних губерниях, привело бы к преобладающему положению в нем поляков, что никак не устраивало «национально» мыслящего премьера. Он решил «демократизировать» систему выборов в губерниях Западного края, понизив в десять раз имущественный ценз избирателей. Это давало право голоса более широким слоям населения, в основном православного. Но именно таким избирателям Столыпин не доверял, считая их малограмотными и малокультурными для самостоятельного участия в политической жизни; чего доброго, по своей несознательности, они могли голосовать за кандидатов-поляков, если бы те соблазнили их какими-нибудь посулами. Чтобы понижение избирательного ценза работало так, как было задумано, Столыпин специально для Западного края вводил систему национальных курий. Это заставляло русских избирателей голосовать только за русских, и за ними закреплялось 84 процента мест в земских собраниях, а поляков голосовать за поляков, на остальные 16 процентов. «Демократизация» выборов превращалась в манипулирование избирателями.

Имея твердое большинство в Третьей Государственной Думе, Столыпин, в марте 1911 года, без труда провел в ней свой законопроект. Неожиданное сопротивление возникло в Государственном Совете, хотя половина его членов назначалась государем, так что правительство имело гарантированное большинство. Но в данном случае произошло иное. Лидер правых членов Совета — им был бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново — написал записку государю, в которой изображал законопроект о Западном земстве как почти революционную затею. Его единомышленник В. Ф. Трепов (еще один брат покойного дворцового коменданта) запросил у Николая аудиенцию, на которой выставил Столыпина заговорщиком, стремящимся лишить его власти. Августейший конспиратор, по своему обыкновению, скрыл закулисные наущничанья от премьера, а по секрету разрешил В. Ф. Трепову передать противникам столыпинского законопроекта в Государственном Совете, что им *разрешается голосовать по совести*. Намек был понят.

Неожиданный провал законопроекта о Западном Земстве в Государственном Совете поразил Столыпина, а когда ему стали известны подробности интриги, которая этому предшествовала, он понял, что получил от обожаемого государя удар ниже пояса и оставаться на своем посту не может. Недалекий государь ждал от премьера всего, что угодно, но не прошения об отставке. Рассчитал ли премьер ответный ход, или так получилось «само собой», но он тоже ударил ниже пояса, повергнув государя в смятение.

Вообще-то Столыпин давно уже надоел Николаю, давно уже было ему некомфортно с премьером. Слишком тот был авторитарен, решителен, уверен в себе, словом, *заслонял* государя своей крупной фигурой. Давно уже государь давал это понять премьеру разными способами. А. В. Герасимов сообщает об удивительном разговоре Николая со Столыпиным еще в 1909 году, о чем премьер тогда же поведал Герасимову на возвратном пути из Царского Села:

«„Ваше величество, по мнению генерала Герасимова, Вам во время этой поездки [в Полтаву] никакой опасности не грозит. Он считает, что революция вообще подавлена и что вы можете теперь свободно ездить, куда хотите“.

„Я не понимаю, о какой революции вы говорите, — последовал ответ. — У нас, правда, были беспорядки, но это не револю-

ция. Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые. Если бы у меня в те годы были несколько таких людей, как полковник Думбадзе, все пошло бы по-иному»¹²¹.

Столыпин ждал «удовольствия и благодарности», а получил щелчок по носу – особенно обидный и незаслуженный потому, что с комендантом Ялты полковником Думбадзе он прятельствовал, они дружили семьями, их дети вместе играли и дружно распевали задорную песенку:

Жид Пергамент /Попал в парламент.
Сидел бы дома, /Ждал погрома.

Крещеный еврей Осип Яковлевич Пергамент (1868-1909), адвокат, присяжный поверенный, был депутатом 2-й и 3-й Государственной Думы от партии кадетов. Он имел дерзость утверждать, что «освобождение евреев из-под тяготеющего над ними гнета – одна из сторон раскрепощения русского народа от административного произвола», что и вызывало насмешки «истинно русских людей», вроде полковника Думбадзе¹²².

По свидетельству А.В. Герасимова, Думбадзе «отличался беспощадным преследованием мирных евреев, которых он с нарушением всех законов выселял из Ялты». «Как-то раз (кажется в ту зиму 1908-09) на Думбадзе было совершено покушение. Неизвестный стрелял в него на улице и скрылся затем в саду прилегавшего дома, перепрыгнув через забор. Думбадзе вызвал войска, оцепил дом и арестовал всех его обитателей, а затем приказал снести сам дом с лица земли артиллерийским огнем. Приказ был исполнен»¹²³.

Такие действия были по нраву тишайшему императору, а главное, «замечательного грузина» превозносила печать Союза русского народа. Усердный почитатель «союзников», государь дал понять премьеру Столыпину, что тому не следует учиться крутизной своих мер: можно найти людей и покруче.

¹²¹ Герасимов А.В. УК. соч. С. 146

¹²² Ксендзук О. В поисках Пергамента. [Мигдаль Times, 2014, № 127](http://migdalltimes.org.ua/times/127/). <http://www.migdal.org.ua/times/127/>

¹²³ Герасимов А.В. УК. соч. С. 146.

Сделал ли Столыпин надлежащие выводы из этого намека, или нет, но он продолжал позволять себе слишком многое, даже вторгаться в «святая святых»: в отношения царя и царицы со «старцем» Григорием Распутиным.

О похождениях Гришки Столыпин имел исчерпывающие сведения: их собирала охранка, следившая за каждым шагом шарлатана, втершегося в доверие к царице и к самому царю. Когда премьер впервые спросил государя о старце, тот, заметно смутившись, ответил, что слышал о нем от государыни, но сам его ни разу не видел. Премьер понял, что государь хитрит, и сам прибегнул к хитрости:

— Простите, ваше величество, но мне доложили иное.

— Кто же доложил это иное?

— Генерал Герасимов¹²⁴.

Герасимов уверяет, что *в то время* еще не имел сведений о личных встречах царя с Распутиным и ничего подобного Столыпину не докладывал: тот брал Николая на пушку. Провокация удалась!

— Ну, если генерал Герасимов так доложил, то я не буду оспаривать. Действительно, государыня уговорила меня встретиться с Распутиным, и я видел его два раза.

Выдавив из себя это признание, царь перешел в атаку: «Но почему, собственно, это вас интересует? Ведь это мое личное дело, ничего общего с политикой не имеющее. Разве мы, я и моя жена, не можем иметь своих личных знакомых? Разве мы не можем встречаться со всеми, кто нас интересует?»¹²⁵

Столыпин выложил все, что было известно о похождениях Гришки из агентурных сведений: о его попойках, сексуальных оргиях, хлыстовской ереси; о том, как слухи о близости его к царской семье подрывают престиж царской власти. Николай был поражен (или сделал вид, что поражен) и обещал больше не встречаться со «святым чертом». Обещания не выполнил, а только затаил еще большую неприязнь к премьеру, которая становилась все более лютой, ибо бродила внутри, не находя выхода, так как высказать ее прямо государь не умел.

¹²⁴ Там же. С. 162.

¹²⁵ Там же. С. 163.

В.Н. Коковцов свидетельствует о том, что видел записку государя Столыпину, датированную 10 декабря 1910 года: Николай «в резких выражениях» выговаривал премьеру за появление скандальных публикаций о Распутине в прессе¹²⁶.

Вероятно, под влиянием этой записки Столыпин вызвал к себе Гришку, и, если верить М. В. Родзянко, накричал на него и велел немедленно убраться из столицы, пригрозив арестом и судом за сектантство¹²⁷. Видя, что премьер не шутит, Гришка поспешно уехал в свое родное село Покровское. Можно себе представить, какую истерику после этого закатила государю супруга и сколько ненависти вылила на премьера, представив его слушником царской воли.

Не воспользоваться интригой Дурново-Трепова мстительный Николай просто не мог! Но согласиться на отставку Столыпина он тоже не мог: получилось бы, что уход премьера обусловлен неодобрением законодательного органа. Так водилось в какой-нибудь республиканской Франции или в Англии, где король царствовал, но не управлял. В императорской России такого посягательства на «начала» терпеть было нельзя.

«Во что же обратится правительство, зависящее от меня, если из-за конфликта с [Государственным] Советом, а завтра с Думой, будут сменяться министры», — растерянно сказал государь Столыпину и предложил найти другой выход из тупика, в который он сам загнал их обоих¹²⁸.

Почувствовав себя опять на коне, Столыпин всадил в бока шпоры. Он согласился остаться при условии выполнения двух требований: во-первых, принять закон о Западном земстве по чрезвычайной 87-й статье, а для этого распустить обе законодательные палаты на три дня. Во-вторых, отправить Дурново и Трепова в длительный отпуск, дабы впредь никому неповадно было затевать интриги за его спиной.

Пока царь раздумывал над этим ультиматумом, императрица-мать Мария Федоровна предсказала дальнейших ход событий, словно читала открытую книгу:

¹²⁶ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 2. С. 26.

¹²⁷ Родзянко М.В. Крушение империи. С. 42.

¹²⁸ Коковцов В.Н. УК. соч. Т.1. С. 389.

«Я не минуты не сомневаюсь, что государь после долгих колебаний кончит тем, что уступит, — сказала она Коковцову, — [но] будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть того решения, которое он примет под давлением обстоятельств... и чем дальше, тем больше у государя будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень ненадолго, и мы скоро увидим его не у дел»¹²⁹.

Дума и Государственный Совет были распущены на три дня, закон о Западном земстве утвержден по 87-й статье, Дурново покорно ушел в преждевременный отпуск, Трепов предпочел отставку. Но для Столыпина то была пиррова победа.

«Можно сказать без преувеличения, что почти вся печать была враждебно настроена по отношению к Столыпину... Она критиковала с полной беспощадностью роспуск палат, проведение нескрываемым искусственным способом... отвергнутого закона и еще более резко отзывалась о мерах преследования лиц, хотя бы и замешанных в интриге, но подвергнутых совершенно несвойственным мерам взыскания. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова дышали злобой и выдумывали всякие небылицы. Столыпин был неузнаваем. Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла»¹³⁰.

Не нападки в печати повергли Столыпина в уныние, а то, что царь, уступивший его диктату, теперь брал реванш за свое унижение. В апреле 1911 года премьерство Столыпина фактически кончилось. Правда, сам он еще на что-то надеялся. Зная, с каким нетерпением царь теперь ждет его прошения об отставке, он упорно этого «не понимал». Из-за чего поплатился уже не карьерой, а жизнью.

Столыпин не изобрел провокацию. Он унаследовал ее от Плеве, Рачковского, Зубатова, Дурново и более ранних предшественников. Но при нем она достигла расцвета. Герасимов, Трусевиц и их коллеги, непосредственные организаторы провокаций, ничего не делали без одобрения Столыпина. Герасимов почти ежедневно являлся к нему с обстоятельными докладами,

¹²⁹ Там же, С. 394-395.

¹³⁰ Там же, С. 297.

сопровождал его в поездках к царю, стал доверенным человеком в семье. Столыпин настолько высоко ценил начальника Петербургского Охранного отделения, так хорошо говорил о нем государю (когда еще был в фаворе), что тот тоже захотел с ним познакомиться.

«По традиции, только особы высших четырех классов (по рангу) имели право личного доклада царю. Я же по [тогдашнему] чину полковника принадлежал лишь к пятому классу»,¹³¹ — сообщает Герасимов об оказанной ему чести. Беседа продолжалась полтора часа, а поскольку сидеть в присутствии его величества полковнику не полагалось, то и Николай весь прием простоял. Что же он вынес из душевной беседы? «Это настоящий человек на настоящем месте», — сказал государь Столыпину, а тот, конечно, поспешил передать самому имениннику.¹³²

Козырной картой Герасимова был Евно Азеф, служивший под его началом и «по совместительству» возглавлявший Центральную боевую организацию партии эсеров, то есть организовывал покушения на царя и высших представителей власти. Хорошая половина книги Герасимова «На лезвии с террором», написанной уже в эмиграции, посвящена Азефу. Главное, что он в ней пытался доказать, это то, что *при нем* Азеф «честно» служил охранке. О том, что и как глава боевой организации делал в прежние годы, Герасимов якобы не знал и не интересовался, хотя получил его с рук на руки от Рачковского, который был прекрасно осведомлен о том, как далеко зашла преступная работа агента на *втором фронте*.

Но шила в мешке не утаишь. Герасимов вынужденно признает свою осведомленность в том, что, по крайней мере, одно покушение, на адмирала Дубасова в Москве, произошло при участии Азефа, о чем ему донес другой агент, Зинаида Жученко. Герасимов пишет об этом, петляя, запутывая кровавые следы, но они проступают помимо его желания, словно в фильме ужасов: «Существовала возможность, что Жученко принимала участие в организации покушения на Дубасова, но этим не исключалось и предположение, что Азеф, будучи в те немногие месяцы свободен от своей службы (! — *С.Р.*) в Департаменте полиции, мог по

¹³¹ Герасимов А.В. УК. соч. С. 98.

¹³² Там же.

поручению партии принять на себя организацию покушения, а организовав, он расстроить его не сумел. Кажется, только одно не подлежит сомнению: как Азеф, так и Жученко знали о готовящемся покушении, но, по соображениям шкурного характера, они не доносили о нем, так как оба были на подозрении в партии»¹³³.

Герасимов умалчивает о том, что Азеф позднее рассказал своему разоблачителю В.Л. Бурцеву: как Рачковский кричал на него, *в присутствии Герасимова*: «Это его дело в Москве!» На что Азеф не без вызова ответил: «Если мое, то арестуйте меня!»¹³⁴ Он знал, что арестовать его они не могли, так как были повязаны с ним общей веревкой, то бишь, общими преступлениями.

Об Азефе Герасимов постоянно докладывал Столыпину, и тот проникся к нему таким уважением, что интересовался не только его агентурными сведениями, но и политическими суждениями.

«Столыпин несколько раз в беседах с Герасимовым выражал даже желание лично встретиться с Азефом для того, чтобы в устной беседе подробнее ознакомиться с настроениями и взглядами, распространенными в революционной среде. Такую встречу Столыпина с Азефом Герасимов по разным причинам устроить не мог, но вопросы Столыпина Азефу передавать ему приходилось часто... Азеф знал, кто именно ставит перед ним эти вопросы, был несомненно польщен вниманием к нему Столыпина и с особенным старанием давал свои ответы».¹³⁵ Герасимов сообщает, что Азеф «почти с восхищением... относился к аграрному законодательству Столыпина»¹³⁶. Был ли польщен премьер лестной оценкой сексота, Герасимов не сообщает.

Охранка оберегала от ареста не только самого Азефа, но и его команду, а когда кто-то попадался по оплошности — своей или полиции — организовывала им побег, да так, чтобы они сами не могли догадаться о том, кто им покровительствует. Не без юмора Герасимов повествует о том, как, по требованию Азефа, устроил побег Петру Карповичу и как измучился жандарм, на которого

¹³³ Там же, С. 84.

¹³⁴ Цит. по: Николаевский Б. ук. соч. С. 189. (См. также «Падение царского режима...» Показания В.Л. Бурцева.)

¹³⁵ Там же, С. 211.

¹³⁶ Герасимов. ук. соч. С. 144.

была возложена эта деликатная миссия. Очень трудно заставить бежать арестанта, который этого не хочет! Жандарма (якобы переводившего Карповича в другую тюрьму) мучила то жажда, то расстройство желудка. Вместе с арестантом он заходил то в кофейню, то в пивную, то в ресторацию. Подолгу отсиживался в туалете. А тот все сидел и ждал, как болван, пока, наконец, не догадался, что спокойно может уйти. А ведь на счету беглого каторжника было, как минимум, одно мокрое дело. Застрелив в 1901 году министра просвещения Н. П. Боголепова, Карпович открыл счет самым громким убийствам XX века. Когда он прикнул к группе Азефа, тот донес о нем Герасимову, зная, что таков лучший способ обеспечить беглому каторжнику прикрытие.

Что ж, коронованный революционер был прав: Герасимов был «настоящий человек на настоящем месте», как и его сотрудник Азеф. Оба мастера провокаций устраивали и государя, и премьера Столыпина, чего никак не скажешь об их разоблачителях.

Когда бывший директор Департамента полиции А.А. Лопухин узнал от В.Л. Бурцева, какими делами занимался его бывший агент на *втором фронте*, он написал письмо Столыпину, своему гимназическому товарищу. Он давал шанс премьеру самому разоблачить и покарать провокатора. Ответ он получил не прямой, но вполне выразительный. К нему на квартиру явился сам Азеф. Уговорами и угрозами пытался принудить к молчанию. И этим, конечно, ускорил развязку. Заверенную копию своего письма Лопухин передал Бурцеву, а сам отправился в Лондон для встречи с лидерами партии эсеров, перед которыми открыл второе лицо главы их Боевой организации. По возвращении его ждали арест и суд, санкционированные государем по докладу Столыпина.

Состава преступления в действиях Лопухина не было. Но — был бы человек, а статья найдется! Найти статью для своего бывшего приятеля премьер поручил особенно сноровистому в таких делах министру юстиции И.Г. Щегловитову. Лопухина «оформили» по 102-й статье Уголовного уложения, хотя «для применения [этой статьи] необходима была принадлежность подсудимого к тайному преступному сообществу, что, конечно,

не имело ни малейших фактических оснований»¹³⁷. Ни малейших! Так впоследствии написал генерал Курлов, заместитель Столыпина по полицейской части и сам большой дока по части провокаций.

Генерала Курлова общественное мнение заклеило как чуть ли не главного организатора убийства Столыпина, а он сам, открещиваясь от обвинений, представлял себя преданным другом и почитателем Столыпина и всячески его превозносил. Тем не менее, даже он вынужден был признать, что дело против Лопухина было от начала до конца сфабриковано в отместку за разоблачение Азефа. Правда, Курлов пишет об этом без тени осуждения. Да и как он мог осуждать то, что сам практиковал в полной уверенности, что так и надо. В 1917 году, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, Курлову был задан вопрос, считает ли он законным использование полицией двойных агентов, которые участвуют в преступных акциях, а затем выдают своих соучастников. Курлов, не моргнув глазом, ответил: «Законным — нет, но необходимым — да»¹³⁸.

Нечего и говорить, что, фабрикуя дело против Лопухина, премьер был уверен в полной солидарности с ним государя. На докладе по этому делу тот изволил начертать: «Надеюсь, что будет каторга». А когда шемякин суд эту надежду оправдал, государь воскликнул от радости: «Здорово!»¹³⁹

Учинив расправу над безвинным Лопухиным, Столыпин встал горой за Азефа — тоже, конечно, с одобрения государя: «Обстоятельств, уличающих его в соучастии в каких-либо преступлениях, я, пока мне не дадут других данных, не нахожу»¹⁴⁰. Это глава правительства говорил с высокой трибуны Государственной Думы в то время, когда «другие данные» (заблаговре-

¹³⁷ Ген. Курлов П.Г. Гибель императорской России. Берлин: «Отто Кирхнер», 1923. С. 101

¹³⁸ Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Редакция П.Е.Щеголева. Л.; М.: Госиздат, 1925. Т. III. С. 204. (Допрос П.Г.Курлова.)

¹³⁹ Там же. Т. П. С. 400 (Допрос И.Г.Щегловитова). А.А. Лопухин был приговорен к четырем годам каторги, которые высшая судебная инстанция заменила вечным поселением в Сибири. Он вернулся в 1913 году по амнистии.

¹⁴⁰ Столыпин П.А. О деле Азефа. Речь на заседании Государственной Думы 11 февраля 1909 г. Цит. по: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 127.

менно представленные ему Лопухиным) потрясли мировую прессу!

Но, скажут мне, революционеры делали свое черное дело не в белых перчатках, так могли ли чистолюбить власти? Что ж, оставим в стороне морально-уголовную сторону балансирования «на лезвии с террором» и зададимся прагматическим вопросом: была ли кровавая игра *полезна* для борьбы с революцией? Проще всего ответить на этот вопрос словами самого Азефа. Встретившись через несколько лет (15 августа 1912 года) с Бурцевым для выяснения отношений, он был вполне откровенен.

«„Ну, вы сравните сами, — убеждающим голосом говорил он. — Что я сделал? Организовал убийство Плеве, убийство вел[икого] кн[язя] Сергея...“, — и с каждым новым именем его правая рука опускалась все ниже и ниже, как чаша весов, на которую падают грузные гири... — „А что я дал им? Выдал Слетова, Ломова, ну, еще Веденяпина...“, и, называя эти имена, он не спускал, а наоборот, вздергивал кверху свою левую руку, наглядно иллюстрируя все ничтожество полученного полицией по сравнению с тем, что имела от его деятельности революция»¹⁴¹. И тут же: «Он надеялся, что ему удастся убить царя, тогда он рассказал бы всю правду. Но в этом ему помешал он, Бурцев: „Если бы не вы, — с упреком в голосе говорил Азеф, — я его убил бы...“»¹⁴².

Не успел отшуметь скандал с разоблачением Азефа, как Герасимов завербовал другого эсеровского бомбиста, Александра Петрова (Воскресенского) — ветерана, даже потерявшего ногу в этих баталиях. Петров, вместе с группой подпольщиков, приехал в Саратовскую губернию — подымать крестьянские восстания, но вскоре вся группа попала в руки полиции. Зная, что многолетнюю каторгу он — одноногий — не вынесет, Петров предложил свои услуги охранке. Из Саратова последовал запрос в центр, после чего Петров был тайно доставлен в столицу. Сам Герасимов учинил ему строгий экзамен и уверился в искренности его желания переквалифицироваться из террориста в доносчика. С одобрения начальника департамента полиции и мини-

¹⁴¹ Цит. по: Николаевский Б. УК. соч. С. 363—364.

¹⁴² Там же. С. 363

стра внутренних дел Столыпина была проведена тонкая операция. Петров был возвращен в саратовскую тюрьму, там симулировал сумасшествие, был переведен в психбольницу, откуда уже мог бежать без особых осложнений, не вызывая подозрений у своих товарищей. План этот разработал сам Петров, Герасимов его одобрил, «конечно, испросив на проведение его в жизнь согласия Департамента Полиции и Столыпина»¹⁴³. Это еще один пример *личного* участия премьера в подобных акциях. Как признает Герасимов, «несомненно формальное нарушение закона нами тогда было сделано. Но это небольшое [!] нарушение закона давно стало своего рода традицией для политической полиции»¹⁴⁴. Сказано вполне откровенно!

Вскоре сам начальник питерской охраны Герасимов пал жертвой интриг. Столыпин хотел назначить его своим заместителем по полицейской части, но Распутин и враждебный к Столыпину дворцовый комендант Дедюлин провели на этот ключевой пост генерала Курлова. Тот поспешил отправить Герасимова в длительный отпуск, после чего к сыскной работе его уже не допустили. Петров перешел под начало нового главы Петербургского охранного отделения, полковника Карпова. Через какое-то время они стали друзьями: вместе бражничали по ресторанам, нередко ночевали друг у друга. А тем временем Петров устраивал из своей конспиративной квартиры западню, начиненную динамитом. Карпову он рассказал по секрету, что опальный Герасимов вступил с ним в контакт. Он жаждет мести и склоняет его убить генерала Курлова, сломавшего его карьеру. Герасимов обещает большие деньги и гарантирует безнаказанность, но он, Петров, решил *сдать* Герасимова. Он готов заманить его в свою квартиру для обсуждения деталей покушения, а из соседней комнаты разговор может быть подслушан, и таким образом заговорщик будет изобличен.

Карпов доложил ошеломляющую весть начальству, план секретного сотрудника был одобрен. Чтобы уличить Герасимова в преступном замысле, в соседней комнате должны были засесть три человека: сам генерал Курлов, заместитель начальника Департамента полиции Виссарионов и, конечно, Карпов. Таким

¹⁴³ Герасимов А.В. УК. соч. С. 168—169.

¹⁴⁴ Там же.

образом, почти вся верхушка политического сыска попадала в западню. Петрову надо было только выйти в прихожую и соединить два проводка. У него еще оставался шанс уцелеть и скрыться.

Осуществлению этого грандиозного плана в полном объеме помешала слишком близкая дружба террориста с его шефом и... грязная скатерть, покрывавшая стол, под которым находился мешок с динамитом. Накануне рокового дня к Петрову пожаловал полковник Карпов с выпивкой и снедью, но скатерть на столе ему показалась несвежей, он ее сдернул, требуя заменить. Вместе с обнажившейся адской машиной раскрытым оказался и план Петрова. Тому ничего не оставалось, как выскочить в прихожую и соединить провода. Полковника Карпова разорвало на куски.

Взрыв в квартире на Астраханской улице снова потряс всю Россию. Столыпину опять пришлось отдуваться в Государственной Думе. Он «торжественно обещал, что будет произведено исчерпывающее расследование всего и что результаты его будут опубликованы»¹⁴⁵. И в очередной раз обманул. «Суд состоялся при закрытых дверях, отчеты о заседаниях не были опубликованы, и загадка Астраханской улицы так и осталась неразгаданной после того, как Петров взошел на эшафот»¹⁴⁶, — писал Герасимов.

Загадка осталась неразгаданной не только для современников, но и для потомков. На следствии и на суде Петров продолжал утверждать, что генерал Герасимов подговаривал его к убийству Курлова. Это обязывало открыть судебное дело, за что и высказалось большинство участников совещания по данному вопросу, в их числе Виссарионов, Еремин и Курлов. Но Столыпин «распорядился не давать делу дальнейшего хода»¹⁴⁷, чем навсегда похоронил тайну одного из самых интригующих эпизодов в истории российского политического сыска. (Вскоре царь так же похоронит тайну убийства самого Столыпина).

Однако дело Петрова было уже одной из последних туч расеянной бури. Маска, сорванная с Азефа разоблачениями Бур-

¹⁴⁵ Там же, С. 172

¹⁴⁶ Там же.

¹⁴⁷ Там же.

цева и Лопухина, повергла в смятение все революционное движение, особенно партию эсеров. Впервые широкая общественность стала осознать предостережения Ф. М. Достоевского, которые, уже на нашей памяти, генерал-диссидент П. Г. Григоренко отлил в чеканную формулу: «В подполье можно встретить только крыс». Террористическая деятельность в России резко пошла на убыль. Приток молодежи, жаждавшей «революционного подвига», почти прекратился. А тех, кто уже был заангажирован, разъедали сомнения, разлады, в спаянные группы въелась тотальная подозрительность. Террористические акты после этого стали редкими и осуществлялись в основном одиночками.

Недолгое относительное успокоение Столыпин приписывал собственной заслуге; но в гораздо в большей степени это заслуга таких людей, как Лопухин, приговоренный к каторге почти в то самое время, когда Петрову устроили побег, дабы он мог каторги избежать! Черные дела творятся во тьме сверхсекретности, конспирации и подполья; свет правды для них губителен. Этого света как раз и боялся Столыпин. Есть неумолимая логика в том, что он пал жертвой той самой азефовщины, которую насаждал.

Кому и для чего надо было убить Столыпина? На этот счет высказано множество суждений, но однозначного ответа не будет получено никогда, так как державный конспиратор принял к тому надлежащие меры. Известно, однако, что Дмитрий Богров был не единственным участником этого убийства.

Незадолго до начала киевских торжеств по случаю открытия памятника Александру II генерал-губернатор Киева Ф. Ф. Трепов получил уведомление, что охрана царя и его приближенных в Киеве изымается из его ведения и передается заместителю министра внутренних дел генералу Курлову. Это было вопиющим нарушением давно установленного порядка: охрана царя при его поездках всегда была прерогативой местных властей. Считалось, что они для этого более эффективны, так как лучше знают местные обстоятельства. Неожиданное отстранение от столь важного дела Ф.Ф. Трепов воспринял как высочайшее недоверие. Он был уверен, что обязан этим Столыпину. Ведь он был родным братом В.Ф. Трепова, интриговавшего против премьерера

и удаленного за это из Государственного Совета. Ф.Ф. Трепов направил телеграмму премьеру с просьбой доложить государю о его желании уйти в отставку.

Но отставка второго Трепова в столь короткий срок была бы воспринята как непозволительная демонстрация, и Столыпин докладывать такое прошение не решился. Он ответил, что *не советует* огорчать государя в канун столь большого праздника. Действительно ли Столыпин участвовал в комбинации, составленной с целью унижить Ф.Ф. Трепова и возвысить Курлова, или она была затеяна вопреки нему, — такова одна из загадок в цепи неразгаданных тайн, окружающих его убийство.

Дочь Столыпина Н.П. Бок свидетельствует, что Курлов интриговал против ее отца, и настолько серьезно, что однажды ей вместе с мужем пришлось срочно приехать из Берлина в Петербург, чтобы предупредить его об этом. Выслушав их, Столыпин будто бы сказал: «Да, Курлов единственный из товарищей министра, назначенный ко мне не по моему выбору»¹⁴⁸.

Сам Курлов, конечно, подчеркивал свою безграничную преданность Столыпину, но по лживости его воспоминания бьют все рекорды. Курлов в 1905 году был губернатором Минска, где устроил форменное побоище. После того, как на него было совершено покушение, он просил перевода в другую губернию, но таковой для него не нашлось, и его причислили к министерству внутренних дел. Столыпин долго не давал ему ходу, но в 1909 году вынужден был назначить его своим заместителем по полиции и начальником корпуса жандармов, хотя прочил на это место Герасимова (по другой версии, Трусевича). Одно это ставило Курлова в антагонистические отношения ко всем трем. От Герасимова, как мы знаем, ему вскоре удалось избавиться, Трусевич был «сослан» в сенат, а когда зашатался Столыпин, Курлов увидел, что для него открывается возможность дальнейшего продвижения. На пост премьер-министра он претендовать не мог, а вот министерство внутренних дел само плыло в руки. Чтобы закрепить его за собой, надо было чем-то отличиться. Охрана киевских торжеств могла стать трамплином.

¹⁴⁸ Бок М.А. УК. соч. С. 300-301.

Киевское охранное отделение во главе с полковником Кулябко перешло под прямое начало Курлова, а также приехавших с ним начальника дворцовой охраны Спиридовича и вице-директора Департамента полиции Виригина. Спиридович был близким родственником Кулябко, к которому и явился секретный сотрудник Дмитрий Богров с вестью о том, что в Киев приехал террорист Николай Яковлевич, который дожидается приезда террористки Нины Александровны для убийства премьера Столыпина или другого министра или самого государя.

Кулябко и его столичные начальники поверили (или сделали вид, что поверили!) легенде Богрова. Полученные от него сведения они не проверяли, попыток выследить и обезвредить мифического Николая Яковлевича не делали, за самим Богровым слежки не установили. Зная, что Столыпин в опасности, оставили его без личной охраны и вообще постоянно «забывали» о нем, давая понять, что он на торжествах — лишний. Наконец, они всячески способствовали появлению Богрова в тех местах, где бывал Столыпин. Как установил потом сенатор Трусевич, у Богрова было минимум три возможности застрелить премьера. Между тем, инструкции категорически запрещали в подобных ситуациях подпускать секретных сотрудников на пушечный выстрел (не то, что револьверный) к высокопоставленным особам и вообще требовали не спускать с них глаз.

Получается, что если бы Курлов, Спиридович, Виригин и Кулябко *знали* об истинных намерениях Богрова и *хотели* ему помочь, то они должны были действовать именно так, как действовали!

Их соучастие в преступлении Богрова было очевидным с первых минут. Коковцов, по закону заместивший раненого Столыпина, пишет, что Курлов сразу же явился к нему с вопросом: «Угодно ли мне, чтобы он немедленно подал в отставку, так как при возложенной на него обязанности руководить всем делом охраны порядка в Киеве, я могу считать его виновным в случившемся»¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 1. С. 410

Суд над убийцей тоже пришел к заключению: руководители Охраны допустили столь вопиющие нарушения, что против них должно быть открыто уголовное дело.

Предварительное сенатское расследование было поручено бывшему начальнику Департамента полиции Трусевичу, которое. Однако, быстро было прекращено. В 1917 году, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, Трусевичу был задан вопрос о том, не могло ли быть умысла со стороны Курлова. Трусевич ответил: «Я скажу одно: мотив какой-нибудь должен быть; занять место Столыпина — единственный мог быть мотив... Но ведь этим убийством он губил себя, потому что, раз он охранял и при нем совершилось убийство, шансы на то, чтобы занять пост министра внутренних дел, падали, — он самую почву у себя из-под ног выбивал этим, и выбил»¹⁵⁰.

Таково самое веское соображение в пользу того, что Курлов и его сподвижники *не были намеренными* соучастниками убийства Столыпина. Однако вескость этого аргумента значительно снижается, если допустить, что Курлов действовал не на свой страх и риск, а по указанию или намеку из более высоких сфер. (Иван Карамазов ведь не инструктировал Смердякова убить старика Карамазова, а «только» незаметно его к этому подстрекал).

Председатель комиссии Муравьев скептически отнесся к объяснениям Трусевича, напомнив ему, что «Столыпин был неприятен Распутину». Ведь тот, кто был «неприятен» Распутину, тотчас впадал в немилость к царице. (О том, как Столыпин стал «неприятен» царю, подробно рассказано). В этом контексте особенно знаменательно то, что уже через месяц после гибели Столыпина его преемник услышал от ее величества:

«Мне кажется, что вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и дол-

¹⁵⁰ Там же. С. 232.

жен был ступешаться... Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это — для блага России»¹⁵¹.

А потом и сам государь, прервав очередной доклад предсовмина, вдруг заговорил о том, что у него на душе лежит тяжелый камень, который он хочет снять. Заметно волнуясь и глядя прямо в глаза Коковцову, он сказал:

«Я знаю, что я вам причину неприятности, но я хочу, чтобы вы меня поняли, не осудили, а главное не думали, что я легко не соглашаюсь с вами. Я не могу поступить иначе. Я хочу ознаменовать исцеление моего сына каким-нибудь добрым делом и решил прекратить дело по обвинению генерала Курлова, Кулябки, Виригина и Спиридовича. В особенности меня смущает Спиридович. Я вижу его здесь на каждом шагу, он ходит, как тень, около меня, и я не могу видеть этого удрученного горем человека, который, конечно, не хотел сделать ничего дурного и виноват только тем, что не принял всех мер предосторожности. Не сердитесь на меня, мне очень больно, если я огорчаю вас, но я так счастлив, что мой сын спасен, что мне кажется, что все должны радоваться кругом меня, и я должен сделать как можно больше добра»¹⁵².

Напрасно Коковцов стал объяснять, сколько *зла* принесет такое решение самому царю, престижу его власти. Напрасно растолковывал, что его «великодушия» никто не оценит, тем более, что за ним всегда остается право помилования — после суда! Милуя тех, кто еще не осужден, государь «закрывает самую возможность пролить свет на это темное дело, что могло дать только окончательное следствие, назначенное Сенатом, и Бог знает, не раскрыло ли бы оно нечто большее, нежели преступную небрежность, по крайней мере, со стороны генерала Курлова»¹⁵³.

Макиавельно согласившись с министром, что поступил опрометчиво, царь сказал, что решения переменить не может, потому что уже объявил о нем Спиридовичу. (Как будто в других случаях его это останавливало!) Как видим, государь прекрасно знал, что делал! Досудебное «помилование» четверки преступников обнаруживало только одно: он *не желал*, чтобы на темное

¹⁵¹ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 2. С. 8.

¹⁵² Там же. Т. 2. С. 116.

¹⁵³ Там же. С. 118

дело был пролит свет. Не потому ли, что тогда могло бы выявиться *нечто большее, нежели преступная небрежность!* Потому навсегда останется тайной, кто же кого в этом деле обманывал и использовал: Богров своих полицейских начальников, или эти начальники — Богрова, или их всех — сам государь. Немало темных деяний творилось при последнем русском самодержце, но ни от одного из них не разит так сильно смердяковщиной, как от убийства Столыпина.

Но пора перейти к личности убийцы. Кем был Богров — «пламенным» революционером или сотрудником Охранки? Споры об этом начались чуть не на следующий день после его роковых выстрелов в Киевском оперном театре. Но постановка вопроса некорректна, ибо Богров не был ни революционером, ни сотрудником Охранки, или, если угодно, был и тем, и другим. Он был провокатором!

В 1905 году восемнадцатилетний юноша, внук известного русско-еврейского писателя и сын состоятельного адвоката и домовладельца с солидными связями в высшем киевском обществе, поступил в Киевский университет и сразу же попал в среду революционно настроенной молодежи. Из боязни, что опасные увлечения доведут до беды, отец вскоре усладил его за границу, в Мюнхенский университет, где уже учился старший брат Дмитрий Владимир.

Но Дмитрий почти не посещал университетских занятий; он просиживал все дни в библиотеке, накачиваясь революционной дурью. По свидетельству брата, его кумирами стали теоретики анархизма: Кропоткин, Реклю, Бакунин. Вернувшись в 1906 году в Киев, Богров вошел в кружок анархистов-коммунистов, но вскоре «разочаровался» в них и предложил свои услуги Охранке. Полковник Еремин, сделавший карьеру на провокаторе Рыссе, занимал уже высокий пост в Петербурге, а на его место был назначен Н.Н. Кулябко. Он положил Богрову 150 рублей в месяц и присвоил агентурное имя Аленский.

Богров не был Азефом, он был маленьким азефиком. Да и Кулябко был не чета таким мастерам провокации, как Рачковский или Герасимов. Он вроде бы действовал «по правилам»:

проведя операцию против выдаваемых Богровым лиц, полиция устроила обыск и у самого доносчика. А в другой раз даже подвергла его аресту на пару недель. Но делалось это неумело, так что у друзей Богрова возникли подозрения на его счет. Он, конечно, все отрицал, и так как твердых улик против него не было, а сам он на какое-то время затихал или уезжал за границу, то подозрения сглаживались, забывались. Но и эффективность его работы на Охранку снижалась. И Богрову приходилось снова увеличивать свою революционно-доносительскую активность: жалование надо было отрабатывать.

Высокий, худой, толстогубый, с выпуклым лбом и лошадиными зубами, Богров всегда был изысканно одет. Его часто видели в дорогих клубах и ресторанах, он кутил в обществе женщин легкого поведения, азартно играл в карты. Его брат впоследствии это отрицал, но факты не на его стороне. Отец давал Дмитрию средства на безбедное существование, но денег ему не хватало; приварок от Охранного отделения никогда не был лишним. Залезал он и в революционную кассу, из-за чего имел серьезные неприятности.

Нравилась ли Богрову двойная жизнь? Видимо, и да, и нет.

В революционных идеях он разочаровался, едва с ними познакомившись, власть презирал всей душой. Он мнил себя исключительной личностью, но подкрепить свое высокое представление о себе ему было нечем. Привязанностей у него не было. Семью он использовал как дойную корову, оставаясь равнодушным к отцу, матери, брату. Кажется, ни разу не был влюблен. Близких друзей не имел. Да и как занять друга тому, кто никому не может открыться, поведать о том, что лежит на душе! Порой он упивался состоянием оглушительного одиночества: именно оно создавало иллюзию исключительности; но чаще оно лишь усиливало черную тоску. Никакой цели впереди он не видел, будущее рисовалось ему как «бесконечная череда котлет», которые ему предстояло скушать.

Что же толкнуло его на сомнительный подвиг? Утрата интереса к жизни? Стремление прославиться любой ценой? Или трехтысячелетняя еврейская ненависть к России, которую усмотрел в нем Солженицын? Власти постарались скрыть внут-

ренные пружины преступления Богрова, но кое-что о его мотивах узнать можно.

В 1910 году Богров, к тому времени уже окончивший юридический факультет, получил незначительное казенное место в Петербурге, куда и перебрался. А вперед полетела шифрованная телеграмма полковника Кулябко столичному коллеге полковнику фон-Коттену.

Фон-Коттен, сменивший убитого Карпова, казалось бы, должен был быть осторожен. Но рекомендация Кулябко, видимо, в его глазах имела вес. Он без колебаний согласился на конспиративную встречу с Богровым и предложил ему те же 150 рублей в месяц (не Азеф, получавший у Герасимова тысячу!), а тот обещал поднести ему на блюдечке петербургскую организацию анархистов-коммунистов. Но обоих ждало разочарование: никаких анархистов в столице не оказалось!

Они решили попытаться счастья у эсеров, и вскоре Богров вышел на след некоего Егора Лазарева.

Тот согласился встретиться, но вопросов не задавал, сам отвечал односложно. Едва начавшийся разговор увядал; Богров чувствовал, что первая встреча может стать и последней. Тогда-то он и заговорил о Столыпине. Скорее всего, это была импровизация — попытка просунуть ногу в дверь, пока та окончательно не захлопнулась. Однако неожиданное заявление Богрова о том, что он задумал убить главу правительства, лишь усилило настороженность Лазарева. Заметив это, Богров поспешил добавить, что никакой помощи от партии эсеров не ждет: замысел исполнит в одиночку. Что же тогда ему надо? Только одно: пусть потом, когда дело свершится, партия заявит о своей причастности — это придаст акту больший политический вес. Но и на эту удочку Лазарев не клюнул. Он только сказал, что если намерение Богрова серьезно, то ему не следует об этом болтать.

Словом, ничего полезного ни для революционного дела, ни для охраны провокатор не извлек. А затем уехал за границу и в Питер уже не вернулся. В марте 1911 года (он снова в Киеве) к нему явился Петр Лятковский, один из прежних товарищей-анархистов. Он только что освобожден из тюрьмы.

Позднее Лятковский расскажет, что Богров первый заговорил с ним о том, что товарищи подозревают его в связях с

охранкой; что он опозорен, успел поседеть от переживаний и не знает, как доказать свою невиновность. Лятковский посоветовал ему «реабилитировать себя». На языке подпольщиков это означало – совершить террористический акт. Богров мрачно усмехнулся и сказал, что может пойти и убить первого попавшегося городского, но какая от этого будет польза? И вдруг патетически воскликнул:

«Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя!»

«Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая?» — возразил Лятковский.

«Нет, — воскликнул Богров, — Николай — ерунда. Николай — игрушка в руках Столыпина. Ведь я — еврей — убийством Николая вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина. Благодаря его политике задушена революция и наступила реакция».

Лятковский опять возразил: Столыпина охраняют почти так же плотно, как и царя; чтобы достать его, нужна долгая подготовка, работа целой организации. Богров ответил, что в групповой акции участвовать не может: если произойдет случайный провал, то опять обвинят его. Прощаясь, он несколько раз повторил: «Вы и товарищи еще обо мне услышите». Лятковский не придавал серьезного значения этой похвальбе, но и уверенности в том, что перед ним провокатор, — не вынес¹⁵⁴.

Через два месяца к Богрову снова явились гости: два давних знакомых из парижской анархистской группы «Буревестник». Эти парни оказались покруче. Одного из них Богров знал по кличке «Вася», второй никак не назвался. От имени ревизионной комиссии «Буревестника» они потребовали вернуть деньги, растроченные им еще в 1908 году, — 520 рублей. Богров отчаянно торговался и скостил сумму вдвое. Сроку ему дали два дня, но когда пришли снова, то сказали, что «на прежнее решение не согласны и что требуют все деньги сполна». Неясно, чем они ему угрожали, но, видимо, чем-то серьезным. Ему пришлось подчи-

¹⁵⁴ Воспоминания П. Лятковского. См.: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 122.

ниться. 150 рублей он выпросил у матери, 210 — у отца; остальные 160 наскреб сам¹⁵⁵.

Выпроводив крутых «буревестников», Богров полагал счеты с прежними товарищами поконченными. Но в июле он получил заказное письмо из Парижа, подписанное четырьмя «буревестниками». В крайне враждебном тоне от него требовали ответа по поводу ряда провалов за несколько лет. А в августе к нему явился еще один старый знакомый, « Степа ». Подлинное его имя Богров не знал или утаил на допросе, зато сообщил о нем некоторые подробности. « Степа » был отпетый террорист. Однажды, идя выполнять какой-то подготовленный террористический акт, он увидел, как на улице офицер распекает солдата, не отдавшего ему чести. Душа « Степы » взыграла, и он тут же разрядил в офицера свой браунинг. С каторги ему удалось бежать, и он, без копейки денег, появился в Киеве. Тогда-то (в 1908 году) и познакомился с ним Богров. В Охранное отделение не донес, а дал ему восемь рублей и адрес конспиративной квартиры в Черкассах. Оттуда « Степе » удалось выехать за границу. Теперь он явился в ином качестве. Он сообщил, что в Париже над Богровым состоялся партийный суд, его провокаторская роль была полностью изобличена. Листовка с изложением данных о его предательстве в ближайшее время будет распространена всюду, где он бывает, — в коллегии присяжных поверенных, в суде, в университете. От него отшатнутся, как от прокаженного. А следом за тем он будет убит, ибо ему вынесен смертный приговор. Но ему оставлен шанс — « реабилитировать » себя террористическим актом.

Желательной жертвой « Степа » назвал начальника Киевского охранного отделения Кулябко, но добавил, что, поскольку в конце августа в Киев съедутся двор и правительство, то появится « богатый выбор ». Окончательный срок для « реабилитации » — 5 сентября¹⁵⁶.

Арестованного Богрова допрашивали четыре раза. Три допроса были сняты до суда: 1, 2 и 4 сентября. Столыпин был еще жив, так что Богров обвинялся « в нанесении опасных поране-

¹⁵⁵ Показания Д. Богрова жандармскому подполковнику П. Иванову от 10 сентября 1911 г. См.: Столыпин П. А. Жизнь и смерть за царя. С. 159

¹⁵⁶ Там же, С. 160-161

ний с целью лишения жизни». Это давало ему маленький шанс избежать смертного приговора.

Богров умел лгать, поэтому его показания не могут не вызывать недоверия. Но даже протоколы трех *досудебных* допросов не обнаруживают ни малейшей попытки с его стороны смягчить свою вину и облегчить свою участь. Если он был не вполне искренен, то, только в том, что изображал из себя идейного революционера.

Мотивы своего преступления он на втором допросе объяснил так:

«Я решил убить министра Столыпина, так как я считал его главным виновником реакции и находил, что его деятельность для блага народа очень вредна»¹⁵⁷.

Примерно так же, как мы помним, он объяснял свое намерение в разговоре с П. Лятковским. Высказывал ли он свои сокровенные убеждения или только озвучивал стереотипные мнения революционной среды, этого мы не знаем.

После третьего допроса — самого короткого и ничего к первым двум не добавившего — следствие было закончено.

Столыпин умер 5 сентября, военный суд состоялся 9-го. Судили уже за убийство, смертный приговор был обеспечен.

Что именно говорил Богров на суде, навсегда останется тайной: стенограмма либо не велась, либо была уничтожена. Но вскрылись *неожиданные* обстоятельства, что заставило жандармского подполковника Иванова 10 сентября еще раз допросить Богрова. Тот уже был приговорен к повешению и отказался подавать ходатайство о помиловании.

Похоже, что на допросе *после* суда, когда все было решено окончательно и бесповоротно, у него уже не было сил доиграть роль «пламенного революционера». Тогда он и рассказал о визите Лятковского, затем — «Васи» с безымянным товарищем и, наконец, «Степы» со смертным приговором и предложением «реабилитироваться».

О том, почему его выбор пал на Столыпина, он теперь объяснил иначе:

¹⁵⁷ Там же. С. 151.

«Буду ли я стрелять в Столыпина или в кого-либо другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал [т. е. видел и мог узнать в лицо], отчасти же потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики»¹⁵⁸.

Любопытно приложение к протоколу второго допроса Богрова. Оно подписано прокурорами Чаплинским и Брандорфом и следователем Фененко, которые его допрашивали. В нем излагалась *неподписанная* часть показаний Богрова, где он, «между прочим упомянул, что у него возникла мысль совершить покушение на жизнь государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром. Он, как еврей, не считал себя вправе совершить такое деяние, которое вообще могло бы навлечь на евреев подобное последствие и вызвать стеснения их прав»¹⁵⁹.

Тут же объясняется, почему Богров потребовал исключить это место из своих показаний. По его словам, он хотел, чтобы его *дела* поощряли революционно настроенных юношей, в том числе и евреев, на новые террористические акты, и не хотел, чтобы его *слова* их от этого удерживали. Разумеется, то была та же игра в «пламенного революционера». Того, что убийство премьер-министра Столыпина *не* отзовется еврейским погромом, он предвидеть не мог.

Черносотенная молодежная организация «Двуглавый орел» во главе со студентом В. Голубевым уже полгода вела в Киеве погромную агитацию в связи с «ритуальным» убийством Андриюши Ющинского. Атмосфера в городе была накалена. Лучшего подарка, чем убийство евреем премьер-министра Столыпина его «орлята» не могли получить!

«В населении Киева, узнавшем, что преступник Богров — еврей, [возникло] сильнейшее брожение и готовился грандиозный еврейский погром», — свидетельствовал В. Н. Коковцов. Еврейскую часть населения охватила паника. «Всю ночь они укладывались и выносили пожитки из домов, а с раннего утра, когда было еще темно, потянулись возы на вокзал. С первыми отходящими поездами выехали все, кто только мог втиснуться в ва-

¹⁵⁸ Допрос Дмитрия Богрова от 10 сентября 1911 г. Там же. С. 161.

¹⁵⁹ Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 155—156.

гоны, а площадь перед вокзалом осталась загруженной толпой людей, расположившихся бивуаком и ждавших подачи новых поездов»¹⁶⁰.

Государь, как ни в чем не бывало, уехал на маневры, и туда же отправились войска. Намеченная программа торжеств должна была выполняться и была выполнена! Силы полиции в городе были незначительны. О том, чтобы своей властью вернуть часть удалившегося гарнизона, генерал-губернатор Ф. Ф. Трепов не мог и помыслить, как и о том, чтобы ночным звонком доложить обстановку государю и испросить указаний. Коковцов, по закону вступивший в исполнение обязанностей премьера, на свою ответственность, приказал вернуть в город три казачьих полка. Они явились к семи часам утра, заняли ключевые позиции и бесчинств не допустили. За эти «непатриотичные» действия Коковцову тотчас и досталось от не названного им по имени «избранного представителя вновь учрежденного земства, члена Государственной Думы третьего созыва, впоследствии члена Государственного Совета по выборам», то есть отнюдь не от рядового обывателя. Тот подошел к Коковцову в Михайловском соборе, куда оба пришли на молебствие об исцелении раненого премьера.

«Вот, Ваше высокопревосходительство, — с явным расчетом на скандал заявил этот господин, — представлявшийся прекрасный случай ответить на выстрел Богрова хорошеньким еврейским погромом теперь пропал, потому что вы изволили вызвать войска для защиты евреев»¹⁶¹.

Коковцов пишет, что отбрил наглеца, «выразив удивление, что в храме Христа, пострадавшего за грехи человека и завещавшего нам любить ближнего, вы не нашли ничего лучшего, как выражать сожаление о том, что не пролита кровь неповинных людей»¹⁶².

Дерзкая выходка высокопоставленного черносотенца заставила Коковцова разослать шифрованные телеграммы всем губернаторам черты оседлости с требованием не допускать погромов всеми законными способами, «до употребления в дело ору-

¹⁶⁰ Коковцов В.Н. УК. соч. Т. 1. С. 409.

¹⁶¹ Там же, С. 410-411

¹⁶² Там же, С. 410.

жия включительно». Поэтому бесчинств не было и в других городах.

Мог ли Богров, стреляя в Столыпина, все это предвидеть? Разумеется, нет. Он переиграл самого себя в своих революционно-доносительских играх, был обречен на гибель и, как азартный игрок, решил: погибать, так с музыкой!

В трактовке А.И. Солженицына и других апологетов Столыпина, премьер старался положить конец всем антиеврейским законам и ограничениям. Да и царь не возражал против их отмены, только немного умерил пыл премьера. А воспрепятствовали этому *ставленники евреев* в Государственной Думе, каковыми А.И. Солженицын изображает кадетов: «закон о еврейском равноправии [они] не довели даже до обсуждения, не говоря о принятии». Их дальний политический расчет состоял в том, чтобы «в борьбе с самодержавием играть и играть дальше на накале еврейского вопроса, сохранять его неразрешенным — в запас. Мотив этих рыцарей свободы был: как бы отмена еврейских ограничений не снизила бы их штурмующего напора на власть. А штурм-то и был для них всего важней»¹⁶³.

Что здесь от истории и что от мифологии?

Как свидетельствовал В. Н. Коковцов, в начале октября 1906 года Столыпин, завершив официальную часть заседания Совета министров и удалив канцелярских работников, предложил обсудить «один конфиденциальный вопрос, который давно озабочивает его». Выражаясь корявым, но, тем не менее, достаточно точным языком В. Н. Коковцова, речь шла «об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, — только питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра — Америки»¹⁶⁴.

¹⁶³ А.И. Солженицын. Ук. соч. т. 1, 423.

¹⁶⁴ Коковцов В.Н. Ук. соч. Т. 1. С. 206.

Министры поддержали идею премьера. Когда каждый из них представил список предлагаемых к отмене ограничений, касающихся его ведомства, Столыпин свел их в единый документ — для утверждения царским указом по 87-й статье¹⁶⁵. Продержав законопроект около двух месяцев (до 10 декабря), государь вернул его неутвержденным, объяснив в сопроводительном письме:

«Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, вы тоже верите, что „сердце царево в руках Божиих“. Да будет так»¹⁶⁶.

Кажется, это был первый случай, когда Столыпин получил щелчок по носу от своего государя. Он тут же бросился извиняться в самых лакейских выражениях: «Вашему величеству известно, что все мои мысли и стремления направлены к тому, чтобы не создавать вам затруднений и оберегать вас, государь, от каких бы то ни было неприятностей»¹⁶⁷.

Свое намерение смягчить антиеврейское законодательство, да еще по 87-й статье, то есть в порядке чрезвычайной срочности, Столыпин объяснил более кратко и внятно:

«Еврейский вопрос поднят был мною потому, что, исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться (! — *С.Р.*) полного равноправия; дарование ныне частичных льгот дало бы возможность Государственной думе *отложить разрешение этого вопроса в полном объеме на долгий срок*»¹⁶⁸. (Курсив мой. — *С.Р.*)

Все ясно, не правда ли?

Прошло уже больше года после провозглашения Манифестом 17 октября равноправия всех граждан России независимо от сословных, национальных, религиозных и иных различий.

¹⁶⁵ О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев. Особый журнал Совета министров за 1906 г. Цит. по: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 413-419.

¹⁶⁶ Переписка П.А.Столыпина и Николая II. Красный архив. 1924. № 5. С. 105. Цит. по: Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. С. 419-420.

¹⁶⁷ Там же. С. 420.

¹⁶⁸ Там же.

Пора платить по векселям, но платить-то не хочется! Между тем, надвигается открытие Второй Думы, она-то непременно предъявит векселя ко взысканию. И вот, как с аграрной реформой и другими законами, срочно вводимыми по 87-й статье, Столыпин спешил сыграть на опережение. Бросить кость с царского стола, отменить наиболее бессмысленные ограничения, которые сама жизнь смела, и этим снять остроту вопроса! Тем самым предоставление евреям конституционных прав «в полном объеме» отложится на долгие годы. Да в каком положении окажется Дума, еще не созванная, но уже ненавистная, когда чрезвычайный закон будет вынесен на ее утверждение! Отклонить — значит, выступить против отмены части ограничений. Утвердить — значит, законодательно закрепить остающиеся ограничения!

Настаивая на том, что Столыпин проводил «среднюю линию», Солженицын подчеркивает, что он подвергался нападкам не только слева, но и справа. Верно, покусывали его и князь Мещерский в «Гражданине», и Меньшиков в «Новом времени», и самые непотребные черносотенные издания типа «Земщины» Маркова Второго. Но это были отдельные редкие эпизоды. Они участились и действительно стали жалить только в последние месяцы его премьерства, когда определилось с очевидностью его скорое падение. Не те нравы царили в среде «патриотов», чтобы поддержать падающего; напротив, подсесть, подтолкнуть и — добить! Если же отбросить последние полгода, то об истинном характере отношений Столыпина с черносотенными организациями лучше всего говорили финансовые ведомости. «Честный бухгалтер» Коковцов, стоя на страже казны и борясь с бессмысленными, по его разумению, тратами (кабы со смыслом, то и он бы не возражал!), свидетельствовал:

«Кадеты совсем не фигурируют в списках, что и понятно по их враждебности к Столыпину. Октябристы также упоминаются весьма редко и то больше в качестве передаточной инстанции ничтожных сумм, по преимуществу благотворительного характера. Зато имена представителей организаций правого крыла фигурировали в ведомости, так сказать, властно и нераздельно. Тут и Марков 2-й, с его „Курской былью“ и „Земщиной“, поглотивший 200 000 р. в год; пресловутый доктор Дубровин, с „Русским знаменем“, тут и Пуришкевич с самыми разнообразными

предприятиями, до „Академического союза студентов“ включительно; тут и представители Собрания националистов, Замысловский, Савенко, некоторые епископы с их просветительными союзами, тут и листок Почаевской лавры. Наконец, к великому моему удивлению в числе их оказались и видные представители самой партии националистов в Государственной думе»¹⁶⁹.

Если Коковцов, как министр финансов, а затем и премьер, пытался ограничить (не отменить — нет, а только ограничить!) выдачу «темных денег», как их окрестили в Государственной думе, то Столыпин, напротив, всячески поощрял эти выдачи. Причем, распоряжался ими бесконтрольно и безотчетно, дабы рука берущая никогда не забывала о том, кому персонально принадлежала рука дающая. Так премьеру легче было держать в узде расхристанную черносотенную братию. Вот еще одно свидетельство Коковцова:

«Еще в 1910-м году на почве подготовки выборов в [Четвертую] Государственную Думу, упавших на лето 1912 года, между мною и Столыпиным произошли серьезные недоразумения. Столыпин, ссылаясь на то, что ни в одном государстве правительство не остается безразлично к выборам в законодательные учреждения¹⁷⁰, и что, несмотря на наш избирательный закон 3-го июля 1907-го года, такое безучастное отношение приведет неизбежно к усилению оппозиционных элементов в Думе и даст преобладание кадетской партии, потребовал от меня — и получил, несмотря на все мое сопротивление, крупные суммы на так называемую подготовку выборов. Ему хотелось разом получить от меня в свое распоряжение до 4-х миллионов рублей, и все, что мне удалось сделать, — это рассрочить эту сумму, сокративши ее просто огульно, в порядке обычного торга, до 3-х с небольшим миллионов рублей и растянуть эту цифру на три года 1910–1912, разбив ее по разным источникам, находившимся в моем ведении»¹⁷¹.

¹⁶⁹ Коковцов В.Н. Ук. соч. Т. 2. С. 11.

¹⁷⁰ Чисто «макиавеллистая» аргументация. Хорошо известно, что в любом государстве тайное финансирование (иначе говоря, подкуп) правительством отдельных политических групп считается преступлением и, в случае обнаружения, становится источником крупных политических скандалов.

¹⁷¹ Коковцов В.Н. Ук. соч. Т. 2. С. 9.

Вряд ли после этого можно говорить о сколько-нибудь серьезном противостоянии черной сотни Столыпину. Да и откуда могла бы проистекать такая враждебность, если Столыпин пять лет возглавлял *царское* правительство, служил своему государю верой и правдой, а государь не только не скрывал, но афишировал свои симпатии, да и прямую принадлежность к черной сотне.

После того, как Д. Б. Нейгардт, уличенный сенатором Кузминским как соучастник Одесских погромов 1905 года, был смещен с поста градоначальника и заменен генералом А. Г. Григорьевым, тот посчитал своей обязанностью положить предел разгулу в городе черносотенной анархии. В Одессе местное отделение Союза русского народа имело свои «чайные», где проводились «патриотические» митинги и всякие сборища. Оттуда распространялись погромные листовки, там же были склады оружия. Глава отделения граф Коновницын имел свою дружину: вооруженные отряды молодчиков в полувоенной форме браво маршировали по улицам города, наводя ужас на обывателей. Дружинники куражились над прохожими, избивали ни в чем не повинных людей на глазах державшейся в стороне полиции. Почти каждый день происходили убийства. Нередко жертвами бесчинств оказывались сотрудники иностранных консульств, что приводило и к международным осложнениям. Словом, то были предтечи будущих штурмовиков СД и СС, как и российских баркашовцев, «памятников», бритоголовых.

В ответ на попытки Григорьева как-то обуздать дружинников граф Коновницын поехал в Петербург, получил аудиенцию у государя, и тот заверил его, что Союз русского народа — это единственная его надежда и опора, о чем, воодушевленный граф, возвратившись, раструбил на всю Одессу. Особенно охотно он рассказывал о том, как маленький наследник престола, присутствовавший на встрече, взобрался к нему на колени, теребил его бороду и, увидев на его груди ленту Союза русского народа — такую же, как у него самого, спросил: «Ты союзник?»; и, получив утвердительный ответ, сказал: «Я тоже союзник!»¹⁷²

¹⁷² Цит. по: Степанов С.А. Черная сотня в России. М: ВЗПИ, 1992. С. 150.

Градоначальник Григорьев сам поехал в столицу, чтобы рассказать государю правду о Коновнице и его братве. Но — «когда государь явился, то генерал к своему ужасу увидел на его груди значок Союза русского народа, тот самый значок, который он так часто видел в Одессе на груди у участников погромов»¹⁷³. Заготовленные слова застряли у Григорьева в горле. На своем посту он продержался недолго.

Вскоре Одесса получила «правильного» градоначальника, И. Н. Толмачева, который тотчас вступил в сговор с черной сотней. Условились даже о том, что черносотенные газеты будут его время от времени «продергивать»: так Толмачеву было удобнее сохранять видимость беспристрастного стража законности и порядка.

Не такую ли роль в общероссийском масштабе играли «продергивания» премьера Столыпина в праворадикальных газетах — даже если между ними и не было прямого сговора? Возможно, не всегда их нападки нравились премьеру, но по большей части они были ему на руку, служа противовесом критике слева.

Для понимания цены праворадикальных нападков, перепавших Столыпину, надо помнить, что сам черносотенный лагерь не представлял собой монолитного целого. Как на левом фланге большевики боролись с меньшевиками, те и другие с анархистами и все вместе с эсерами, так и на правом фланге шла грызня между отдельными группами и их лидерами. Сперва Пуришкевич со своей группой «Архангела Михаила» откололся от дубровинского «Союза русского народа», потом Марков Второй вышвырнул группу Дубровина. Все дружно обвиняли друг друга в подрыве монархического начала, «потворстве жидам», антипатриотизме... Понятно, что поддерживая какие-то из этих групп, правительство получало на орехи от других, считавших себя обойденными. И, конечно, представители власти использовали эти столкновения для сведения своих счетов.

А.В. Герасимов, который вместе с Рачковским энергично насаждал в столице первые организации Союза русского народа, позднее в них «разочаровался». Причиной или поводом послужило то, что новый градоначальник Петербурга фон-Лауниц,

¹⁷³ Там же. С. 151

прославившийся карательными экспедициями против крестьян Тамбовской губернии, взял столичных «союзников» под свое крыло. Он активно поощрял и финансировал их из городского бюджета, а они сформировали отряд для его личной охраны. Герасимов формально подчинялся фон-Лауницу, но, имея поддержку Столыпина и прямой выход на него, не посвящал градоначальника в свои тайные игры «на лезвии с террором» и всячески пресекал его попытки вмешаться в дела Охраны. Они невзлюбили, а затем и возненавидели друг друга.

3 января 1907 года Фон-Лауниц был убит террористом во время многолюдных торжеств по случаю освящения Медицинского института, основанного принцем Ольденбургским. Там же планировалось убийство Столыпина. Получив об этом сведения накануне, Герасимов лично отправился сначала к Столыпину, а затем к Лауницу — предупредить об опасности и убедить их не появляться на торжествах. Столыпина он убедил, а Лауница — нет. На предостережение тот высокомерно ответил: «Меня защитят русские люди!» (Имелись в виду черносотенные телохранители). Судя по тону, каким пишет об этом Герасимов, он несколько не сожалел о гибели Лауница. Невольно возникает подозрение, что он не без умысла разозлил градоначальника, подставив его под пулю террориста. Если Азеф использовал охранку для устранения своих противников в партии эсеров, то почему его шеф не мог использовать террористов для устранения *своих* противников?

Так что, хотя между Столыпиным и черносотенными организациями порой возникали трения, в основе их лежали карьерные или амбициозные мотивы, а отнюдь не принципиальные расхождения.

Подводя итог этой главе, можно сказать, что если бы Столыпин не делал ставку на провокацию, то не погиб бы от руки провокатора. Если бы не задействовал Шорникову для разгона Второй Государственной Думы и государственного переворота, а проводил реформы в соответствии с духом и буквой Манифеста 17 октября, то, глядишь, число недовольных в стране стало бы таять, революционные партии — терять влияние, и Россия пошла бы по пути «нормального» эволюционного развития. Но

если бы Столыпин проводил *такую* политику, то не продержался бы у власти пяти месяцев, не то что пяти лет! *Исторический* Столыпин действовал в рамках, определенных царем, а тот упорно рубил сук, на котором сидел. Остановить самоубийственный дрейф государственного корабля на рифы большевизма можно было только одним способом — устранив Николая с капитанского мостика.

Он и был устранен, но слишком поздно.

Анатолий Либерман

Литературный обзор

Русские евреи в Америке. Редактор-составитель Эрнст Зальцберг. Торонто — Санкт-Петербург: Гиперион. Книга 16, 2017, 263 с. и Книга 17, 2018, 198 с.

Впервые за тринадцать лет, то есть за годы существования сборника «Русские евреи в Америке» (РЕВА), Эрнсту Зальцбергу удалось найти автора, который может и согласился писать о спортсменах. Так устойчив образ галутного еврея, неспособного к физическому труду, и советского очкарика, золотого медалиста и жертвы издевательств во дворе и в школе (хотя десятки евреев прославились на Олимпийских играх), что очерки Ури Миллера на тему о российских евреях в американском спорте (16: 220-45 и 17: 169-76) будут приятным сюрпризом для многих.

В этой области, как и во всех других, путь наверх не был легким. Эмигрантов из черты оседлости и их детей не пускали в свои общества немецкие евреи, которые традиционно презирали выходцев из Восточной Европы, и, конечно, всем им был закрыт доступ в клубы христиан. Американские клубы любого назначения, в том числе и университетские, еще в середине XX века были свирепыми сторонниками апартеида.

Миллер рассказывает о звездах американского спорта, эмигрировавших из российской империи или родившихся в эмигрантских семьях: среди них легкоатлеты, гимнасты, боксеры, борцы, тренеры и, конечно, члены баскетбольных, футбольных и бейсбольных команд — мужчины и женщины. Воспроизведены их фотографии. Уже в наше время в Америку переехали из России и Украины профессионалы, которым было неуютно дома. О Борисе Гуревиче, модели для скульптуры «Перекуем мечи на орала», есть масса сведений в печати и в интернете, но все ли знают, что юноша, пленивший Вучетича совершенством своей фигуры, мастер вольной борьбы, победитель бесчисленных чемпионатов, хотя и родился в 1937 году в Киеве, ныне живет в США? Там же живет знаменитый футболист Виктор Каневский. Он

попытался эмигрировать еще в 1979 году, но добрался до Америки лишь на десять лет позже. Миллер суммирует статистику: в его «подборку попали 33 человека (один — М. Подолофф отличился сразу в двух видах спорта), из которых 13 приехали прославленными мастерами, а 20 добились всего на американской земле» (16: 244). Добавлю, что в некоторых случаях «американская земля» включает и Канаду. В 17-ом выпуске Миллер рассказывает о Моррисе (Мо) Берге (1907-1978), бейсболисте, сотруднике ЦРУ, адвокате и немного авантюристе — поистине «жизнеописание, достойное пера Яна Флеминга».

Дважды обратились авторы последних выпусков к общим вопросам, касающимся жизни эмигрантов из бывшего Советского Союза. Довольно распространено было у нас в давние времена выражение *средний американец*. Смысл его вроде бы все понимали, но определить едва ли кто мог. Всё же предполагалось, что «денотат» такого речения существует: обитали же где-то «простые советские люди». Есть, должно быть, и средний (простой?) эмигрант последних волн. С одним бывшим москвичом беседовала И. Обухова-Зелиньска (17: 177-81). Зовут его Алекс (то есть Александр, бывший Саша), и живет он в Кливленде, большом промышленном центре (это там, где, среди прочего, Кливлендский симфонический оркестр). Он успешно работает по специальности (инженер-механик). Адаптация и его, и его семьи прошла успешно, но он упомянул многих своих знакомых, которым пришлось полностью переменить профессию — вроде бы и они довольны. Дочь Алекса работает на общественных началах в библиотеке для русскоязычных семей в Кливленде. Программ много, и выглядят они привлекательно.

Однако размышлять приходится не только у парадного подъезда. Мы возвращаемся в библиотеку, место деятельности Лианы Алавердовой. Что ищут в стране далекой, а именно в Бруклинской библиотеке, осколки самого читающего народа в мире (17: 90-96)? Прежде всего заметим, что читают в основном женщины, но на них, особенно пожилых, и держится почти вся культурная жизнь в Америке. Они спрашивают книги о любви, биографии и мемуары. Американцы могут интересоваться переводами с русского в случае грандиозного скандала или мощной рекламы. С русскими поэтами совсем гиблое дело. «Сегодняшние поэтические программы посещают в основном сами авторы, их родня и друзья. [...] И если вы думаете, что после поэтического утренника, где читали стихи Есенина, все немедленно побегут заказывать в библиотеке поэтические томики голубоглазого поэта с волосами цвета ржи, то смею вас уверить в обратном. Есенин, как стоял на полке, так и будет стоять, пока какая-нибудь энтузиастка его не выпишет,

чтобы подготовиться к бенефису в Доме престарелых» (17: 93-94). Добавлю, что если судить по знакомым мне студентам, то, кроме заданной литературы, никто нигде ни на каком языке почти ничего не читает (разве что бестселлеры). Зато эмигранты (да и не только они) очень много пишут: и стихов, и прозы. Инстинкт сохранился, а потребителей нет — любопытный виток культурной эволюции.

Один из жанров, используемых Зальцбергом в РЕВА, — интервью и беседы. В последних двух выпусках герой этого жанра — Евсей Цейтлин. Литературовед, эссеист и беллетрист, он приобрел широкую известность переведенной на несколько языков книгой о литовском драматурге Йосаде. По форме это серия бесед с человеком, который был раздавлен своим временем (тоталитарным режимом и антисемитизмом), но это и рассказ о мятущемся человеческом духе (слабом духе!). Тогда уже стало ясным умение Цейтлина слушать и так задавать вопросы, что люди рвутся на них ответить. В Америке, в Чикаго, Цейтлин — давний редактор ежемесячника еврейской общины «Шалом». Викарий Никифорович тоже жил в Чикаго, и давний, но не устаревший разговор, опубликованный в 17-ом выпуске, естественно, шел о работе еврейских писателей и о духовных запросах российской диаспоры (с. 53-73). В этой беседе Цейтлин выступал в непривычной для себя роли интервьюируемого. В 16-ом выпуске помещен большой очерк Алавердовой о Цейтлине (с. 55-89).

Музыка всегда занимает выдающееся место в РЕВА. Две статьи о пианистах написаны Зальцбергом: «Иосиф Левин — ‘пианист-аристократ’» (16: 160-86) и «Саша Городницкий, хранитель традиций русской фортепианной школы» (17: 97-112). Левин в двенадцатилетнем возрасте был принят в консерваторию к самому Сафонову. Довольно скоро он уже играл Пятый концерт Бетховена; оркестром дирижировал Антон Рубинштейн. К изумительной технике прибавилась неподражаемая музыкальность. На протяжении долгой карьеры этого пианиста критика исчерпала запас восторженных эпитетов.

В Америку Иосиф Левин и его знаменитая жена Розина приехали после окончания мировой войны. Кажется, живой бог, но показательны записи из его дневника 1937 года: «Первое произведение сыграл хорошо. Вариации — так себе, но неплохо. К концу чувствовал усталость, но этюд Листа сыграл очень хорошо, и публика потребовала его повторить. ‘Исламея’ закончил с трудом и без воодушевления»; «Начал хорошо, в Рондо был недоволен звуком и формой. В Сонате — не донес ясно замысел. Вариации сыграл отлично и технически, и по настроению, был встречен с энтузиазмом, выходил кланяться пять раз. К концу концерта чувствовал усталость. ‘Исламея’ сыграл хорошо,

Балладой остался недоволен» (16: 177).

А вот несколько строчек о встрече с Артуром Рубинштейном: «Он принес свои новые записи (пробный вариант) Ноктюрнов Шопена. Многие из них изумительны. Потом мы прослушали мои новые записи: Этюды Шопена, Токкату Шумана, 'Празднества', которые привели его в экстаз» (там же). Так проходили пиры на Олимпе. Характерен еще один эпизод. Однажды Розина пошла в артистическую Карнеги-холла в антракте концерта. Зрелище, которое она там застала, потрясло ее: Иосиф за инструментом «репетировал не то, что будет исполнять во втором отделении, а то, что уже было сыграно в первом» (16: 181): он не был уверен, что достиг совершенства (там же). На много лет раньше так же был потрясен его студент, услышав, как после очень серьезной программы Левин сыграл на бис умопомрачительно трудную фантазию Листа, и получил ответ: «Вам приходилось видеть лошадей, которую приводят в конюшню после длинного и тяжелого дня в поле, и потом выводят ее снова, чтобы закончить вспашку до наступления темноты?» (16: 182). Не знаю, когда Левин видел усталых лошадей, но о себе он знал всё.

Другой мастер — Саша Городницкий. Его привезли в Америку ребенком, и учился он у Иосифа Левина, но прославился как несравненный педагог, хотя и концертировал не так уж мало. А кое-кому из тех, кто должен был стать украшением музыкального мира, выпал иной жребий. Лев Тышков, еще один вундеркинд, скрипач, выросший в Харбине и учившийся в Японии, поддался уговорам советского посла и, не послушав возражений своего учителя, но с одобрения отца отправился в 1936 году доучиваться в Москву. Учиться там было у кого: консерватория переживала расцвет. К несчастью, в ежовском ведомстве, которое тоже переживало расцвет, невыполнили план по японским шпионам. Двоюродный брат Льва, пианист, отправился в Москву вместе со Львом. По недосмотру начальства молодые люди встретились на этапе. «Снова им довелось увидеться, когда Лев стал доцентом Свердловской консерватории, а Нана — художественным руководителем Красноярской филармонии. Но до этого надо было еще выжить и прожить почти двадцать лет» (16: 213). Лагерь, ссылка и загубленная жизнь были наградой Тышкову и его кузену за возвращение на мифическую родину.

Эмоциональный Маяковский в молодости написал стихотворение «Скрипка и немножко нервно», а потом воспел город-сад, построенный заключенными. Тышков оказался человеком редкой воли. После реабилитации он концертировал в составе струнного квартета имени Мясковского (к счастью, руки остались целы) и объездил с ним пол-

мира, разумеется, социалистического, ибо еще в 1975 году милицеская секретарша объяснила ему: «... вы же репрессированный, ну, как вас можно к границе подпускать? [...] в 37-м всех репрессировали, в 55-м всех реабилитировали. Верить вам всё равно нельзя» (166: 215)— Россия, которую мы потеряли. Ему было 65 лет, когда он приехал в Америку, и в новой стране он играл в хорошем оркестре и вспоминал полуродной (из Харбина) английский. Умер Тышков в 2003 году. Конец его был мучителен. В палате в беспамятстве он бросался на сестер с криком: «Прочь, вертухай!». Автор очерка (16: 206-19) — Яков Фрейдин (Сан-Диего). Он хорошо знал своего героя. Только беллетризованное вступление показалось мне излишним.

И еще один рассказ о музыке (Ирина Обухова-Зелиньска, История с нотным альбомом, или Нотный альбом с историей» (16: 187-205). Главная фигура этой «истории» — Самуил Лурье, о котором в РЕВА писалось не раз. Интерес к нему со стороны музыкантов и исследователей «Поэмы без героя» не привел к его устойчивому возвращению в концертные залы, хотя после выхода в свет книги Михаила Кралина «Артур и Анна» о нем не забывали. Замечателен портрет Лурье, выполненный в 1943 году Соринным (с. 190). Речь в статье идет об альбоме, скомпанованном из шести нотных тетрадей. Это музыка Лурье на стихи Верлена с иллюстрациями Юрия Анненкова. Сборник готовился к печати в 1919 году, но не вышел.

Несколько очерков в РЕВА 16-17 посвящены художникам. Самый запоминающийся из них об Илье Зомбе (Евгений Деменок. «Илья Зомб. Одесский художник, ставший американским», 17: 155-168). На самом деле, это не очерк, а интервью, взятое одним одесситом (в Одессе и живущим) у другого (бывшего). Беседа получилась так хорошо, потому что Зомб раскован и остроумен. Вот что он делал до перестройки: «... в основном писали госзаказы. [...] я работал художником-оформителем. Рисовал наглядную агитацию, которая никому не нужна была в той стране, и ни от кого не зависел идеологически. На агитацию выделяли фонды, и я рисовал какое-то мясо, продукты мифические. Инструкции по технике безопасности. Не продавая совесть, зарабатывал на жизнь» (17: 157). В Америке он с 1989 года и невероятно, неописуемо успешен. Приведу еще одно его высказывание, хотя с удовольствием бы процитировал больше: «Я, как всегда вопреки всему, начал уходить в реализм. Тогда в Сохо было множество галерей, которые получали гранты. [...] Вот они показывали то, что было модным — например, инсталляции Кабакова. Я даже не понимаю, как можно ее купить и поставить у себя дома» (17: 160). Сейчас в моде Зомб и, если он не закоснеет в своем мгновенно узнава-

емом стиле, мы еще услышим о нем много интересного.

Карьера Израила Литвака (1867-1958) — пример того, как коротка и неблагодарна наша память. Его заметили, оценили и почти забыли (Евгений Деменок, 17: 150-54). Размышления о творчестве Леонида Гервица (он в Америке с 1991 года) не просто заметки о творчестве художника, симпатичного Сергею Голлербаху (17: 143-49), но и защита реалистической живописи. Профессионалы, несомненно, знают Альберта Абрамовича (1879-1963), автора картин, вполне вписывающихся в то, что мы понимаем под социалистическим реализмом (в тридцатые годы его и в Москве любили и жаловали); Леона Гаспара (1882-1964; его настоящее имя — Лейб Шульман) и Гарри Золотова (1886-1963). Но на то они и профессионалы, а для большинства читателей РЕВА и краткие жизнеописания этих художников, и иллюстрации будут, скорее всего, в новость (Вадим Телицын «Российские еврей-художники в США»; 16: 142-59).

В отличие от забытых и полузабытых художников Борис Аронсон (1898, Нежин — 1980, Нью-Йорк) не канул ни в Лету, ни в ее притоки. Даже те, кто никогда не слышал о деятельности Аронсона в еврейских театрах Нью-Йорка (а именно о ней идет речь у Ксении Гамарник — 16: 104-41) знают, что был такой мюзикл «Скрипач на крыше»; его оформил Аронсон. Но Гамарник рассказывает в основном о проектах Аронсона до того, как он обратился к англоязычным постановкам. В отличие от многих он был удачлив: успел вовремя уехать и из большевистской России, и из гитлеровской Германии и не сгинул в годы Великой депрессии в Америке. Вовремя он пошел и по новому пути: идишский театр умирал на глазах у всех, так что не Аронсон изменил теме, а скорее, она изменила ему. О драматическом искусстве рассказывают также Бер Котлерман («Играть так, чтобы было ясно, что это игра», Шолом-Алейхем и Чарли Чаплин в Америке) — 16: 90-103; к сожалению, альянс этих двух великих людей не состоялся) и Мария Мишуровская («Дни Турбиных» в Калифорнии. К истории распространения текстов М. А. Булгакова в США) — 17: 119-42; герои этого очерка — антрепренеры Морис и Симеон Гесты).

Мне остается упомянуть два очерка о литераторах: один о поэте и переводчице Леониде Опалове (автор — Евгений Деменок; 16: 28-54), которому скромный уголок под солнцем обеспечила многолетняя дружеская связь с Давидом Бурлюком; второй о профессоре-слависте из Беркли Саймоне Карлинском (1924-2009; автор — Вадим Телицын: 25-52). Он хорошо известен тем, кто изучает русскую литературу. Перед нами еще один харбинец, к счастью, в отличие от Тышкова, уехавший со сделавшегося негостеприимным Дальнего Востока не в Москву, а в

Америку. В СССР его бы в считанные дни доконал открытый гомосексуализм. Самая известная, во многом убедительная, а кое-где пережатая книга Карлинского посвящена сексуальной жизни Гоголя. К статье Телицына приложены отрывки из этой книги в переводе Эрнста Зальцберга. Писал Карлинский и о многих других прозаиках и поэтах; одним из его любимцев всегда оставался Набоков (он и лично был с ним знаком). Советская печать обливала его помоями (как можно? «сексуальный лабиринт» у великого реалиста Гоголя), но напрасно: Карлинский искал признания в России и страдал от неразделенной любви.

История еврейского исхода в Америку — неизменная тема РЕВА. Описанием тяжкого пути «Пампы» в Аргентину открывается Выпуск 17 (Эдгардо Заблоцки: 9-24; сокращенный перевод с английского Эрнста Зальцберга). Если кто-то недоволен своей судьбой — злится на ХИАС и местные агентства, пусть последует за пассажирами этого корабля с их горестями, страхами и надеждами.

Для заключения я оставил рассказ на тему «Назад в будущее». Так озаглавлен очерк Даниэля Сойера, хорошо осведомленного специалиста и мужественного человека, о поездке старых эмигрантов в после-революционную Россию (16: 9-27). Одним было любопытно взглянуть на свою бывшую родину, другие хотели показать ее своим детям, третьи на расстоянии восхищались великим социалистическим экспериментом и рвались оценить его своими глазами. В СССР делали всё возможное, чтобы произвести на гостей благоприятное впечатление. Бизнесмены, коммунисты, левые деятели, активисты рабочего движения и прочие, вернувшись, должны были опровергнуть злостную клевету социалистических партий на Западе и рассказать своим соотечественникам завлекательную правду о первой стране рабочих и крестьян. Американские туристы обычно знали идиш, а многие — и русский, так что, как правило, не нуждались в переводчиках. Очарованы и ослеплены были многие, но не все. Кое-кто заметил разруху и террор, хотя в целом люди, как всегда, видели то, что хотели видеть. Грустная это и назидательная статья. И она приведена в сокращенном переводе редактора (Эрнста Зальцберга).

У Анатоля Франса был секретарь Жан-Жак Бруссон. Он написал две когда-то очень известные книги: «Анатоль Франс в туфлях и халате» и «Из Парижа в Буэнос-Айрес». Перед нами два выпуска РЕВА. Их можно было бы назвать «Из российского царства в Новый Свет». Многие покинули Европу, как герой сказки Андерсена, имея в запасе лишь красноречие, пустой сундук, тапочки и халат. Не все добрались до Америки, но, кто добрался, едва ли раскаялся в сделанном шаге.

Художественная проза

Борис Рохлин. Такси до Могадишо. Русская зарубежная проза. Редакция Гершима Каприсчи. Иллюстрации Юрия Диденко. Франкфурт-на-Майне: Литературный европеец, 2017. 570 с.

Кто бы ни открыл книгу с таким названием, если по наивности не рассчитывал погрузиться в записки военного корреспондента, не станет ждать, что речь пойдет о поездке в сомалийскую столицу. Скорее, он будет ожидать дорогу в никуда. Ее он и найдет в виде абсурдистской прозы. Для примера я мог бы выбрать почти любую страницу, но процитирую начало рассказа о такси, который, видимо, автор считает наиболее типичным для себя или, по крайней мере, самым представительным:

«Гравюра японская. Прорисовано деревце. Ива.

Цирк. Конь с плюмажем. Серебристой масти. Наездница —
Аппетитная. В соломенной шляпке с лентой. Акробат и младенец в чёрном. Красный беретик, чтобы оттенить. Безлошадные. Дама в голубом трико. Руки в стороны, ноги вверх. Опора — голова. На то и нужна.

Летит цапля, падают два пера. Шато, карета. Вдалеке, — из

другого времени года, — заснеженные холмы.

Три картинки. В деревянных, ржаво-бронзового оттенка, рамках.

На таком фоне приятно читать и путаться. В книгах, сюжетах и временах. В географии, местности и пунктуации.

Запятая знает, где дать краткий отдых утомленному зрению.

Точка с запятой затемняет мысли. В конце предложения ставим точку. И обретаем покой и уверенность в себе. Но от любви не уберечься. Сон есть сон. Неторопливый, с привкусом Миндаля. И обманчив, как гадание на картах.

Когда-то был знак восклицательный и указывал страсть.



Время меняет дислокацию, переводит стрелки. Впадаем в Насмешку и грусть, заменяя восклицание на вопрошение. Носки, рубашка, свитер, брюки в клетку, польские, из Гостиного. Машинка для стрижки волос, усов и бороды.» (с. 82).

И дальше шесть страниц в том же ключе назывными предложениями вроде: «Проза — и тишина. Тишина прозы», «Лунное затмение, полусвет, полуоктябрь», «Идиот, настроение агрессивное», — и нечто телеграфное: «Буду не позже 18.00. Ц.» (с. 84).

«Тень несозданных созданий / Колыхается во сне, / Словно лопасти латаний / На эмалевой стене. // Фиолетовые руки / На эмалевой стене / Полусонно чертят звуки / В звонко-звучной тишине. // И прозрачные киоски, / В звонко-звучной тишине, / Вырастают, словно блестки, / При лазерной луне». Так писал в 1895 году Брюсов. Но Рохлин не ученик тех символистов (да и кто сейчас их ученик!). Он родился в Башкирии (в семье эвакуированных?), но, похоже, что после войны и до самой эмиграции жил в Ленинграде. Мы могли с ним встречаться; не исключено, что даже были соседями. Он упоминает рыбный магазин напротив дома, в котором прошли все мои ленинградские годы. Правда, поначалу улицы назывались не совсем так, как он помнит. Хотя большинство рассказов не датировано, ближе к концу появляется хронология, причем давняя. Сочинял он легко. Одна из самых длинных повестей («О пропаже невинности», с. 415-464), 1974 год, была написана за десять дней. Стиль в ней не такой, как в «Такси до Магадишо», но и там сюжет почти не прощупывается: всё больше «прозрачные киоски».

В 1974 году Рохлину было тридцать два года. Читал он тогда, естественно, то, что читали «все», и его литературный вкус испытал сильное влияние эпохи. Ему хотелось писать, как Вагинов (это он говорит в своей опубликованной автобиографии), и, конечно, он поддался очарованию «Мастера и Маргариты»: недаром же на с. 440 встречается фраза: «Соткался из воздуха», хотя соткавшийся персонаж явился не в кургузом пиджачке, а был увешан «гирляндами стручков душистого гороха, наполненными водой» (с. 440). Кажется, что с тех пор не изменился ни вкус Рохлина, ни стиль.

Может он в тех случаях, когда хочет, писать совершенно по-другому. В этом убеждает страстная новелла, вариация на тему романа Цвейга «Прощай, Мария» (в ней он спутал или сознательно смешал? — Марию Стюарт с кровавой Мэри: с. 73-81), еще одна вариация, теперь уже на тему «Иудейской войны» Фейхтвангера: «Невольная карьера одного римского гражданина», с. 294-99), не слишком

оригинальный монолог кота («Такой»: с. 47), эпистолярное наследие любвеобильного пса из Берлина и мудрого кота из Санкт-Петербурга (очень образованные корреспонденты, ныне покойные: «Переписка Бенито де Шарона и Якоба фон Баумгартена, с. 323-63), проникновенный этюд о Диогене (им заканчивается книга, с. 558-67), рассказ о детстве («Когда нам хорошо»: с. 179-89) и то ли рассказ, то ли повесть (как многие длинные рассказы Рохлина) «У стен Малапаги» (название отсылает к давнишнему фильму) — смесь воспоминаний, из которых я и знаю, что мы ходили и ездили по одним и тем же маршрутам, и того, что я выше рискнул назвать абсурдистской прозой (с. 252-66).

Нет сомнения, что манера письма, избранная Рохлиным, не подражание Вагинову, Кафке, Джойсу с Прустом или кому угодно, а результат сознательного выбора. Об этом этюд «Вечеринка в саду» (с. 67-72), который, как мне кажется, обещает больше, чем сумел дать. Рассказывая о писателе, бывшем ЗЭКе, Рохлин говорит:

«И в жизни, и в книгах он пришёл к ясной и весёлой безнадежности. Его больше не интересовала динамика реальных отношений реальных субъектов. Он мало верил в достаточность и реальность того и другого. Динамика чувств персонажей, — пусть мнимых, — вот что было важно. Они могли быть фантомами, но чувство было действительным. Единственная действительность, которую он признавал, в подлинность которой верил» (с. 60).

Но едва ли кто-нибудь уловит динамику чувств в таком повествовании («Музей», с. 364-83; почти весь рассказ в одном ключе):

«Пошёл не по той, но попал в нужное. Вопросы излишни. И не жалею. Согласен. Не жалею. Протеста нет. Не протестант. Законопослушен и всегда в приватной. Тихий, напуган, перехожу по зелёному.

Тем более решётка — не прутья толщиной в. А так, символ. И указывает на положение. О судьбе не говорю. Не люблю и портит стиль. Возвышен и ни при чём. Простой, без затей соответствует. Никаких неожиданностей и уверенность в будущем. В силу отсутствия.

Здесь всё обозначено и уход. Не то что забота, но рассчитано и следует распорядком дня и регламентом. Есть и не отнять.

Пенитенциарная человечна и привыкаешь быстро. Не в пример как. Да и время идёт и скоро кончится. Интегрирую себя в новую. Мелочи быта и обживаюсь.

Хожу в гражданском. Сам по себе и, вроде, по собственному. Есть садик. Поливаю цветочки и рыхлю землю.

Удобряю естественным. Скоро и сам превращусь в. Поспособ-

ствую росту и круговороту природы. Пригожусь и принесу пользу. На поверхности не удосужился и не вышло. Зато.

Вызывали к. И за хорошее поведение отпуск. Конец недели могу провести в домашней. Отсутствует и хотел отказаться. Подумал и принял. Решит, что лишён человеческих. Но не чужд переживаниям и склонен. Был благодарен и выразил.

Вышел и вспомнил. Свобода расслабляет и теряются очертания. Режим и порядок благотворны. И не мешают. Но решил вкусить. Учитывая, что временно. Возвращение установлено табелем учёта отпускников».

Длинноты у Рохлина хорошо продуманы (Жиганов и Шиманов», сс. 507-18, 1979 г.): «Жиганов и Шиманов вышли из мастерской на свет дня. Было градусов тридцать с небольшим, и они молча окунулись в этот обезлюдевший, погруженный в заиндевелее оцепенение мир, двинувшись друг за другом, нога в ногу по узкой утоптанной тропинке к недалёким домам, что ждали своих хозяев на обеденный перерыв. Шиманов как спортсмен, соблюдающий режим и меру в жизни и во всем остающемся от нее, немного пожевал жареного хека, съел омлет из двух яиц и выпил стакан кипяченого молока, чтобы не нарушить баланс своего наилегчайшего в 44 кг веса к грядущему большому соревнованию. А Жиганов, решившись не травмировать на сегодняшний день товарища Бурыгина, принял лишь два стакана «Розового», пахнувшего кислой, слегка подгнившей ягодой. Для отвлечения болевых переживаний от головы и желудка и более аккуратного биения пульса везде, где он прощупывается. Совершали они это со вкусом, вдумчиво и в сравнительной молчаливости относительно друг друга. Торопиться им было некуда, ни семья, ни какие-либо еще жители, не полагавшиеся на такую маленькую жилплощадь, которую они занимали, не могли помешать своим вторжением в их медленную пищеварительную деятельность» (с. 509).

Однако, сюжет, как правило, отсутствует, будто манера изложения и есть то, ради чего пишется проза. С точки зрения автора так часто и есть. Однако существует и читатель, которому нужна ловко замаскированная форма, которую он по наивности примет за содержание. На киностудии, описанной Ильфом и Петровым, восхищались фотогеничностью черного козла, но мы-то ждем от козла молока, причем белого. Диогену было уютно в бочке (такова, по крайней мере, легенда), а Рохлину — в той, которую он соорудил из слов. Где бы ни читали люди романы, повести и рассказы, Троя, как говорит Рохлин, всегда в пламени (с. 567). Позволили же ему, полузамурованному в бочке, греться искрами того огня.

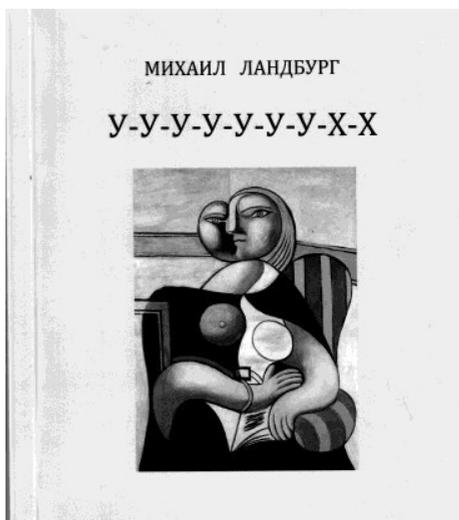
Михаил Ландбург, У-у-у-у-у-у-х. Роман с послесловием Павла Матвеева. Rishon le-Zion: McDial, 2017. 235 с.

Книга Ландбурга — лирической дневник Ами, двадцативосьмилетнего жителя Тель-Авива (с русскими корнями?), поэта, в сравнительно недавнем прошлом студента-филолога и солдата. На него обрушилось много горя. Видимо, не так давно умер его отец, успешный архитектор. Вдова не перенесла этого удара и впала в состояние близкое к помешательству. Ами был вынужден продать квартиру и на эти деньги поместить мать в частный пансион, истинный дом скорби. Сейчас он снимает угол у хозяйки, в прошлом известной певицы, которую, скорее всего, ждет скорая смерть от рака.

За обитателями пансиона следит доктор Лернер. Книга Ландбурга состоит из фрагментов, но доктору Лернеру предоставлено право на длинный монолог, для автора, видимо, программный (с. 182-90). Философия доктора несколько сомнительна: «Не думаю, что негры могут стать белыми, однако утверждать, будто чудеса в мире не случаются, не берусь, поскольку не доказано обратное» (с. 184). С римских времен

обвинению следует построить цепь неопровержимых доказательств вины. Доказать, что чудеса не случаются, невозможно. Но доктор верит в силу фантазий и иллюзий; поэтому, как он считает, и его пациенты, пребывающие в параллельном мире, «живы».

Ами, навещающий свою полубезумную мать, не вполне убежден в теории ученого психиатра, но рассуждение доктора Лернера — гимн поэзии и помогающей выжить фантазии, и неслучайно он вставлен перед кульминационной сценой и обращен к поэту, ибо вся книга о надежде и об иллюзорной силе искусства, без которых не справиться с разочарованиями и горем. Дневник не предполагает целостности сюжета и состоит из фрагментов. Характер героя намечен пунктиром, но



ясно, что он добрый и очень хорошо образованный человек. Бесконечны его литературные и музыкальные ассоциации (кому-нибудь может показаться, что их слишком много). Сам Ами мучается над журнальной статьей о Катулле (в заключительных сценах она получается, однако не раньше, чем проходит кризис; тогда появляется надежда, что даже обреченная квартирная хозяйка выживет: вдруг диагноз ошибочен?). Разумеется, Катулл выбран и цитируется неслучайно (в книгах ничто не может происходить случайно: кирпичи валятся на голову персонажей только у наивных и бездарных авторов). Вся поэзия Катулла откровенно (с нашей точки зрения иногда бесстыдно скорее, чем откровенно) любовная. Но в жизнь Ами женщины почти не входят, а если случайная знакомая остается на ночь, то лучше бы не оставалась. Для не слишком убедительного контраста введен бутфорский приятель героя, чемпион любовных походов. Правда, в конце он сникает и пластырем заклеивает следы страстных выходов последней пассивности с острыми ногтями. Он даже намерен вступить на иную стезю.

Книга, видимо, задумана среди прочего и как притча, порой как ироническое назидание. Текст постоянно перемежается предложениями и цитатами из разных авторов. Их очевидная цель — напомнить, что жизнь хаотична, а часто и абсурдна. Входную дверь комнаты героя украшает многократно повторяющаяся по разным поводам надпись: «Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать, но еще не поздно устремиться вперед, чтобы всё правильно закончить». Этому девизу и подчинено развитие сюжета.

Контрапункт поручен ироническим афоризмам типа: «Мертвые поэты вызывают к себе несравненно большее уважение, чем живые» (их обыгрывает в послесловии Павел Матвеев, давнишний редактор Ландбурга). Главная цель афоризмов — подчеркнуть абсурдность и непредсказуемость бытия. Сюда же относятся уже упомянутые цитаты, набранные жирным шрифтом. Вот, пожалуй, самая жуткая: «В одном из регионов Греции, где монастыри находятся в горах, есть монастырь, куда забраться можно лишь в люльке, которую снизу поднимают два монаха с помощью веревки. Один турист всё же отважился посетить эти памятники культуры. Когда люлька дошла до середины горы, турист увидел, что веревка уже порядком поистрепалась. Он спросил у сопровождающего его монаха: — Скажите, а веревку вы часто меняете? — Как только порвется, — ответил монах, — так и меняем» (с. 185).

Но не оставляй надежду «всяк, сюда входящий». У повествования условно счастливый конец: нет разделенной любви, но есть просветле-

ние от бетховенских сонат, исполняемых восхитившей Али женщиной. Таков катарсис. Тогда, как сказано, и статья о Катутле получилась. Вслед за этим и на работу его, наконец, пригласили. Обладай Ландбург ироническим видением Бернарда Шоу, которого он, судя по этой цитате, чтит, он бы добавил, что и куры в окрестных деревнях стали нестись, как угорелые. Каждый раз, когда герою сопутствует удача, он выдыхает из себя «У-у-у-у-у-у-х!». Пожалуй, книга не совсем роман (нет характеров, да и сюжета почти нет), но лирический дневник есть, и написан он на одном дыхании.

Поэзия

Юрий Диденко, Фрак. Опыт лирической нормы. Обложка и оформление — работы автора. Книга подготовлена в книжной редакции Гершоном Киприсчи. Франкфурт-на-Майне, 2018. 127 с.

В своем творчестве Юрий Диденко видит мир через дымку, контуры его образов размыты, и тень превалирует над светом. Замечу, что никто из его скользящих персонажей не появляется во фраке, и рисунок на обложке (стилизованный фрак, а рядом меч в ножнах) лишь нагнетает атмосферу таинственности. Той же цели служит коллаж на задней странице обложки. Но, может быть, разгадка заглавия в такой строфе: «Когда море горит...» / — Песню такую слышал-то? / Сознался один, приходил. / «Я поджег», — говорит. И показал зажигалку, / Пламя, наган и кинжал» (с. 72). Скорее всего, подобные поиски бесплодны (какая может быть разгадка у стихов?), но ключ к настроению у поэтов где-то всё же зарыт.

Мне показалось, что у Диденко он в образе старого скособоченного дома с дымком без трубы. «Взглядом надломленным я прикасаюсь / К старой шершавой стене. / Легкой душою к калитке бросаюсь, / Зная, что это во сне» (с. 11). Дымком без трубы и сновиденья — вот мир поэзии Диденко.

Если сравнить стихи Диденко с музыкой, то от них остается впечатление чего-то грустного, даже трагического, но об изломах мелодии, количестве бемолей и бекаров и педализации лучше не задумываться. Видимо, по недосмотру попало в сборник мажорное стихотворение (полагаю, давнее-



предавнее) о том, как на Луну доставили выппел (с. 20), высмеянный когда-то Галичем. И трудно решить всерьез ли сочинен «Подвиг дворника» (с. 61; тоже нечто извлеченное из архива?). В нем рассказано, как угрюмый дворник убирает мусор, а в глубине — руда: железо, никель, / И множество других бесценных руд! /... Так он прославил подвигом великим / Свой скромный, честный, повседневный труд». И *в глубине...руд/труд* — неужели это всерьез? Нехватает только дум высокого стремленья. Обычно сны Диденко не о рудах и выппелах («И всё зовут на бой да на врага, / За урожай, за выплавку сверхсрочную, / Всем позарез нужна моя нога / Подпоркой под 'хрущобу' многоблочную», с. 59). Да и дворники возникают у него не в героикотрудовом контексте. Об одном мы читаем: «Дворник кинется с утра — / и увязнет в непогоде: / вроде то же, что вчера, / безобразье — то же вроде...», с. 28. В памяти у автора остался «железный совок родины» (с. 119).

Юрию Диденко близка романсная стихия. Есть стихи, так «Романсом» и названные. Есть и подражание фольклорной песне: «Коростель, ты устал, коростель, / Налетался, намыкался, / И из сил выбился.../ Постелил себе постель, / Прикорнул на кусте. / И вполглаза сон оглядывал, / Как летя в полкрыла: / Сквозь туман выплывает рядом / Силуэтом белым ветла» (с. 25). Но свои песни он «выгрыз у волка» (с. 76). В сборнике немало стихов, будто пробормоченных в полудреме, нечто, напоминающее сон среди *бела дня*: «День оказался бел. / Среди дерев — трое сбоку — / дрозд пел, / обгоняя сороку. / Нелишне напомнить: / много нас оперенных / и даже певчих. / Вот курица на столе — / та, как человек без перьев, / ей и петь-то незачем. / И нечем» (с. 99).

Так называемой политики в стихах почти нет. Но может вдруг появиться «фрау, допустим, Меркель» (с. 80) или Главная Мумия Нации («С головами Анубисов / охранники хмурые, / прижимая задами дверь, / по ночам возвращают *его* на купюры. / Ведь он и теперь / может оживить десятку профилем», с. 79). Есть и мысли военнослужащего («Я вверху, салага зеленый, / А внизу пьет дедушка чай. / Зелен я — он в боях закаленный / В свете лампочки Ильича», с. 66). Вот дослужится он до «дедовского» состояния, и будет ему всё «до лампочки Ильича».

В том, что эти стихи — настоящая поэзия, сомнения быть не может, но мне, человеку консервативных взглядов, уставшему от нетрадиционных, «экспериментальных» текстов и с трудом овладевающему мифической нормой, ближе то, что я могу понять и оценить без особых усилий. Двумя такими стихотворениями я закончу свой пробег по «Фраку».

Ретро

Ушел — и большей нет беды
В потоке прочих бед.
Остались мокрые следы
От лаковых штиблет.

И запах модных папирос.
И черные усы
Еще хранят в своем стекле
Напольные часы.

Печаль как море глубока.
Как глубока печаль...
Ушел, ушел, сказав — пока!
Нет! Это не прощай!

Фаянс на скатерти рядком,
Вдоль синей полосы...
По ком звоните вы, по ком,
Напольные часы? (с. 5)

* * *

Сто судеб — вслед за паровозом —
Расстались с Киевским вокзалом.
Декабрь топорщится морозом
На пяточке перрона малом.

Дерутся вору и ОВИРы,
Припав к моим последним гривнам.
Спешат к вагонам пассажиры
Потоком серым, непрерывным.

Без философии напрасной
Путь в эмиграцию неспешный.
Для очевидца — неопасный,
Для поздних мыслей — безутешный.

Вдруг станет новостью вчерашней
Киоск со свежеею газетой,
Когда достигну в рукопашной
Купейной полочки заветной.

Забуду вечную простуду
За часовыми поясами...
Вокзал вот этот — не забуду —
С остекленелыми глазами. (с. 7)

Борис Рохлин

Поэзия фильдеперса и меланж прозы

О поэзии и прозе Дмитрия Драгилева

Поэзия Дмитрия Драгилева - попытка зарифмовать Вселенную и тем самым остановить ее. Запечатлеть все, что попало в поле зрения сетчатки, памяти или мысли. Ничто не отсеивается, все входит, все гонится.

Сознательно монтируется иллюзия универсальности. Поэт не интуиции, поэт шахматных ходов, рассчитанных до последней строфы, последней строчки стиха.

Поэзия используется как метод зашифровки бытия и быта. Своего рода, каббалистический способ письма.

"К чаю в пять". Английское чаепитие на русский манер. Вечер, но не у Клер. Вечер с поэтом.

Выверни карман и горстку
Слов рассыпь по побережью.

Этим поэт и занят. Он выворачивает карманы и рассыпает слова. И сыплются, сыплются. Запас изрядный.

Эмоциональное напряжение возникает, захватывает и несет. Но недалеко.

Мешает смутное ощущение неловкости.

Эмма Бовари принимает за героя господина, одевающегося в жилеты кричащих цветов. (Шарль Бодлер)

В подобные жилеты иногда одеты стихи поэта.

Братва не числится в орлах.
И все же стильно (первый сорт)
Под этот шик тасует шаг.
Нашармака глотая торт.

Игорь Северянин вдохновлялся *порывно*, весь пребывая в чем-то норвежском или в чем-то испанском. В чем пребывает поэт, неизвестно. Но то, что он вдохновляется *порывно*, невольно приходит в голову. "Порывистость" не мешает "шахматисту" рассчитывать ходы.

Результат часто неожиданен не только для читателя, но и для творца Оттого "торшеры" то и дело *"вращаются в окнах и вырабатывают джайв."*

Автор - лексический универсал Он отважно, бестрепетно *"сменяет флизы", "глотает нашармака", "смикиширует", "энзимами смывает пыль", "кантуется как невыпотрошенный чемодан", "повторяет запечный хорус", "лузгает семечки под деловой лепниной", "фордыбачась оказывается в суфле"* и т.д.

Если верить Вольтеру, в библиотеке бога все книги основательно исправлены и сокращены. Внесенная в каталог божественной библиотеки, поэзия Дмитрия Драгилева не избежала бы общей участи.

В одном из стихотворений автор участвует в пленительной игре и, можно предположить, приглашает нас. Игра пленительна, поверим на слово. Поэту хочется выразить впечатление. Перевести пленительность ощущений в слово. Это удастся. Творцу удастся все, что он захочет. Пленительность переведена. Лексически, грамматически, синтаксически оформлена. Является стих. Он готов, читабелен, при желании выучен наизусть. Жаль только, что пленительность, очарованность игрой автор оставил для себя. Пожалел нам ее передать, сделать нас участниками этого увлекательного занятия.

Возможно, *"сочно брешет"* (пленительное словосочетание) не только *"Краткий Музыкальный"* Но концовка - без ведома автора - поэзия сполна. Чувствуешь что-то знакомо, из еще незамутненного источника.

Штрихов опознавательная дрожь
И нот непозволительная роскошь.

Некоторые слова важны для поэта, судя по их повторяемости.

Например, карман. Он вспоминает о нем не из прозаической необходимости. Карман « метафора бесконечных возможностей. Он претерпевает удивительные метаморфозы. Он и "кладовая слов", и "дворец орехов грецких". Но "карман-кладовая" иногда подводит поэта, и он вытаскивает оттуда много сора: "чавкающие звуки", "пыль восторгов", "пену страсти". Он "шикует". Да и слово "шик" - близкое ему и родное.

Шикарно! - как сказала бы одна персонажка И.Ильфа и Е.Петрова.

*Тьфу... Вот не ожидал, как я... чертовски-ввысь
К низинам невзначай отсюда разлетись
Газелью легкою.*

И.Анненский, Из участковых монологов

Наш поэт нередко разлетается чертовски-ввысь газелью легкою.

она к тебе добрей
да никогда! по-над
при аспидной игре
контактный детонат

замшелый самсонит
спешит гектопаскаль
наверх, воды плесни
ошпарься, рта не скаль

любовник твой - ни зги
чубар или каур
джигитом из тайги
крадется в сердце бур

Знаменитый эго-футурист прогремел на всю Россию. Нашему автору это еще предстоит.

Используя известное и знакомое, он вводит в стиховое исполнение свой голос, мелодию, аранжируя источник вдохновения.

"Введение" это никогда не подражательно, не прямо. Ассоциация, аллюзия, сохранявшее поэтическую независимость и автономность,

"Сырым пространством поглощаем".

Хорошее стихотворение. Хорошее и знакомое. Портят его неистребимая склонность автора "обогащать" стих "пограничными" словами. Жаргонизмы они, "арго" профессионалов или маргиналов, специфические словечки, отличающиеся от т.н. общенародного языка, что-то иное, иностранное, калькированное, автору виднее.

Попользовать нечто лексически близкое и родное узкому кругу знатоков и носителей, для которых этот язык – единственный способ выражения, надо уметь. В противном случае его лучше обходить поэтической стороной. Некоторые умели – к месту, в такт, и весьма поэтично.

*Вышел на арапа. Капает буржуй,
А по пузу золотой бамбер
"Мусье, сколько время" Легко подхожу –
Дзззызь промеж роги! – и амба.*

И.Сельвинский

Не стих – музыка времени. Все органично, и лексика, и синтаксический ряд. Органичности – вот чего не достает поэту.

Стихотворение "Новые барды" – образчик "собственного заскока", автором, несомненно, лелеемый. И прав.

Вез топора, без предисловий,
Крупа становится перловей...

Не становится ли "перловой" и стих

В стихотворении "Попасть впросак от суммы демаркаций" автор избегает этого неприятного "попадания".

"Сумма демаркаций" – не более, чем зачин. Стихотворение движется от заявленного автором и вполне разумного принципа "Любезней глупость все-таки чужая", с которым трудно поспорить, к "смене декораций" через постоянную смену последних. Каждая строфа – новая декорация. И каждая удачно идет в дело стихотворного строительства.

Несмотря на постоянное присутствие рассудка, который у автора – "искомый ключ к любому месту", – замечание несколько юмористическое – стихи его неожиданно "слагаются навзрыд", «случайней», но не "вернее". И хочется "приступить к обороне".

Бывает, что вчитывайся–не вчитывайся, не видно "ни смысла, ни бельмеса". Но читателю эта ситуация знакома, и виноват он в ней сам. Окоем словом узок и не позволяет различить.

Дмитрий Драгилев – серьезный читатель и знаток изящной словесности. В его стихах "ночуется" не только поэзия, но и сами поэты.

Красотки отправляются на Юг,
Синдбад кочует за семью морями,
Фонарь мечтает, этакий упрямец,
Когда-нибудь создать свою семью.

Поэт обновляет стих фонарем и его мечтами. Неожиданный сдвиг от беспредельности географии и неведомых земель к скромному городскому ландшафту. Сдвиг в духе нашего стихотворца.

Драгилев – поэт и мастер. Но сочиняя стихи, лицо, этим занимающееся, окунается в стихию "глупости". Неосознанно, интуитивно. Так происходит, так есть. Хорошо сделаны его стихи, смело, талантливо, но по временам начинает познабливать, "холодовать". Интересно, почему? От сделанности. Так ведь мастерски.

*Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит*

М.Лермонтов

Наш поэт выходит, он давно вышел, он идет, перед ним бескрайняя стиховая пустыня, кремнистый путь слов, автор внемлет и слышит поэзию, говорящую сама с собой. Без авторского вмешательства. Поэт – писец, записывавший иероглифы словесных созвездий. Вселенная слов столь же бесконечна, как и Вселенная астрономов.

Если вышел, то остановиться, задержаться уже невозможно.

Но идти мало. Время от времени стоит покидать пределы собственной приятной модели версификации, обновлять приемы передачи "*мутного варева*" существования, выбегать за ограду привычного словоговорения.

взятая у попугая подписка
просьба не выезжать
не покидать пределов лежалого хлама...

Но поэт не "попугай-подписант", да и "выезжать", "покидать", оstrarяться полезно для поэзии.

Обращаясь к своему лингвистическому дару, он стилистически и синтаксически пополняет свою поэтическую Провинцию, лексический анклав, внося в них экзотический декор. Эти набег полиглота так и остаются декором, не только ничего не прибавляя к стиху, но и вреда ему, внося избыточный диссонанс, которого и без того хватает.

От души, с размахом сделано стихотворение "Сведения исчезают вместе с горящей книжкой". Практически оно бесконечно. Автор мог бы продолжать его с не меньшим блеском до страницы "Содержание" и далее, минуя обложку. Таланта, страсти и словарного запаса не занимать.

Но бедный читатель! Ему не до "*паясничаний с чавканием морды в блеф*". Он без "*фордыбачания*" оказывается "*в суфле*", где и застревает во взбитых белках с сахаром. Богатство стиха несомненно. Младоголландский натюрморт. Живописно-сочный. Но кладовая, спецхран, хранилище слов еще не поэзия.

Как читатель я неправ. Читатель всегда не прав. Потому что не понимает, не дозрел. И вряд ли когда-нибудь дозреет. Поэт обгоняет читателя. Но стихосложение, стихотворчество не есть составление "Словаря экзотических слов и выражений".

Стихи рифмованные перемежаются стихами в прозе. Автор дает передохнуть.

Сегодня в Эрфурте на крыше Интерсити-отеля.

Краткое уведомление на языке центральноевропейском предваряет стихопрозу.

Мне этот стих напомнил блистательный рассказ Стивена Крейна "Голубой отель", который начинается так:

"Голубой отель" в Форте-Ромпер был ярко-голубой окраски, как ноги голубой цапли, которые выдают ее всюду» где бы она ни пряталась."

Дмитрий Драгилев всегда выдает себя. Уже это говорит о присутствии своего голоса, своей интонационной модели.

Продолжим.

Главное "не лязгать, зубы, бык, анфас.., но сквозит."

Отнесемся со вниманием к совету автора и постараемся "увидеть что-нибудь виолончельное" в удивительной поэзии Дмитрия Драгилева.

Часто его стихи не более, чем контрданс от избытка поэтических сил. Читатель приглашается участвовать в этом словесном контрдансе. Но не тянет. Не потому, что он плох, а потому что охватывает робость. Лирический "механизм" запущен, и читателю не "вломиться в амбицию".

Остановимся на обочине стиха, на полях текста.

В одной из писец Э.Голлербаху В.Розанов писал:

«... у Вас чрезвычайно есть много музыки в душе... Музыка Ваша заваливает мысль».

Музыка в силу чрезвычайной ее множественности "заваливает" не столько мысль автора, сколько слово.

В поэзии Дмитрия Драгилева есть все. Универсальность, всеобъемлимость, выходящие за "Круг Земной", но остающиеся в нем.

Курортный городок "рассыпает чресла", "карман не достигает апогея". Ф.Рабле позавидовал бы.

Впрочем, сезонная эмоция выражена пунктуально-точно. "*Сингулярный рапс*", "*скань девизов*" и пр. вносят свое лепту в лексическое изобилие.

Перо нашло мозоль... К покою нет возврата.

И.Анненский

Поэт вовсе не полагает художественную интуицию, поэтическое вчувствование высшим типом познания. Он - мастер, делатель высочайшей квалификации. Но великий настройщик - еще не музыкант. И настройщик роялей не называется пианистом» Но Дмитрий Драгилев остается пианистом. Пианистом словесного "жабо".

Поэзия не нуждается в особых смыслах, не перегружает себя ими, И не должна этого делать. Но сочетание слов должно вызывать "Со – чувство", "Со – переживание себе". Содействовать встрече с собственным и малознакомым "Я". Под гипнозом поэтического слова.

Если этого нет, то в наличии лишь техническое совершенство, мастерство, как таковое, которое и сохраняется неприкосновенным во владении творца. Тем самым читатель не становится сопричастным создателю и его творению. Вещь сохраняет инкогнито, нераскрытость, читатель - свою постоянность, чуждость ей.

Поэту свойственна "ажурность восприятия. Получается "вселенски" и "по-домашнему".

Ночь лишась дыхания фильдеперса
И ажурных притязаний ликры
Все сокроет икры тени перси
Новые раскладывая игры

Фильдеперс – это фильдекос лучшего качества. А фильдекос – гладкая крученая бумажная пряжа, имеющая вид шелковой. Не есть ли поэзия Дмитрия Драгилева такой гладкой крученой бумажной пряжей, имеющей вид шелковой. Тогда в ней гораздо больше загадок, чем могло показаться рассеянному взгляду читателя

Иногда, забыв о том, что он "архивариус", хранитель вселенской библиотеки слов, он одаривает нас строфой, доступной, не претендующей, в которой "пространство спит, влюбленное в пространство"

как встать на парадоксы обопрись
в кино свали но просьба без истерик
вопит в лесу глухом археоптерик
и зарастают липой пустыри

Но тут же себя одергивает. Он помнит, что "сложное понятней им".

скрипит осенний почтальон скучает турникет
на тредесканциях бальзам а может быть огни
покуда с неба воду льет оратор в парике

поверь обветренным глазам и в окна загляни

Тредесканция – растение (цветок) с длинными ланцетовидными листьями. Поэт вспомнил близкого ему по страсти к созиданию необычного английского садовника Тредесканта, жившего в 17 веке.

Подобные "тресканции" встречаются в стихах нередко. А строчка "покуда с неба..," продолжая "английскую тему", заставляет вспоминать бытовые сценки Хогарта. Строфа богата аллюзиями. Что-то из европейского романа девятнадцатого, сужая прозаический ареал, из немецкоязычного "романа воспитания": годы учения, годы странствий, зеленые генрихи. У каждого читателя они свои.

Полезно расширять свой кругозор. Но полезность эта просветительского, а не поэтического свойства Узнаешь много нового и доселе неизвестного, но логичнее узнавать из учебных пособий, если есть желание расширять свои горизонты и повышать образовательный ценз. Поэзия существует для чего-то другого,

престол свободен, для вранья
годится вымысел штукарский

На престоле поэтическом всегда есть вакантные места.

Почему одно из них не занять нашему поэту. Противопоказаний никаких. Не каждый претендент обладает столь вычурной барочной кружеватостью. Или, как заявляет сам поэт, осовременивая архаику, "для вранья годится вымысел штукарский".

Своим письмом он доказывает, что вначале, действительно, было слово. Не в библейском, не в новозаветном, а сугубо поэтическом смысле.

Оно несколько деградировало вместе с деградацией его носителей. Но попытка вернуться к его первоначальному незамутненному образу полезна независимо от конечного результата. Тем более, что процесс этот не предполагает завершения во времени.

– Эволюция литературы, – писал Ю.Тынянов, – совершается не только путем изобретения новых форм, но и, главным образом, путем применения старых форм в новых функциях.

Поэт на изобретает новые формы Он применяет старые в новых функциях. Он заполняет пустоту стихией слова и стремится придать образ тому, что его лишено.

Обратимся к прозе, являющейся продолжением поэзии другими средствами, поэзии, притворившейся прозой. Так ребенок, закрыв глаза, думает, что он невидим.

Я не романист, а вдруг?
Анатолий Яковлев
(четвертый эпиграф к роману "Мелким почерком")

– Славная пустошь! Она вся состоит из повторений. Может быть в повторениях и кроется сущность пространства?

Три коротких фразы, задающие произведению тон, аккорд, музыкальную тему. Могли бы, но... паутина слов. "Паутина земли" Томаса Вулфа дает замечательную прозу. Паутина слов остается паутиной.

Почта, письма, дневники, конверты, старые марки. Я копаюсь в. Автор любит копать. Не только в старых марках, конвертах, письмах. "Копаться" его страсть, отчасти прием.

Бутылочные наклейки, спичечные коробки – эмблемы времени.

Шальные переходы не случайность. Прием, способ письма, форма излияний, имитация иррационально-интуитивного подхода. Изящная зарисовка персонального состояния, инфантильность детских переживаний, трогательное описание их, *"маститные страсти"*, *"постсексуальные студентки со студеным взглядом"* мирно уживаются и с "русским языком обучения", и друг с другом.

Мастер игры не только словами, но и буквами, звуками и их рядоположенностью. Игра в фонематический бисер попутно захватывающий игру верхом и низом. Игра сомнительная в силу мелочности семантической и стилистической неряшливости.

Пустошь – полноправная героиня романа – временами подменяет автора или вбирает его в себя. Он поддается и вместо прозы разводит консервные банки, рудеральную флору, роет карьеры, внедряет кукушкин лен на правах кормовой культуры, устраивает торжественное заболачивание. Является стиль на уровне консервной банки и лексика на полных правах кормовой культуры.

У сентября – утверждает автор не бывает своего цвета, зато он бывает у авторов. У нашего автора он "суетливый".

Вселенная оставляет на произвол судьбы, художник пренебрегает советом старого Лафонтена жить скрытно, сентябрь оказывается предвосхищением опыта, элементом созерцания и релаксации, бабье лето минорной итало-французской транскрипцией доброго "все обо мне", автор неуверенно занимает какую-нибудь сентябрьскую точку зрения» он берет ее взаймы и, как склонный иногда к морализированию, сообщает, что это лучше, чем красть. В наше время многие читатели с ав-

тором не согласятся. Часто этот поток сознания струится не на языке оригинала, не на языке, на котором пишется проза.

Автор – человек открытий и честно признается, что чужая оторопь штурмует грецкий орех его мозга, и от волнения он путается в родной речи. Его часто отвлекают от прямого занятия, – занятия довольно скучного, сочинительства, – конкубины, метрессы, наложницы. А тут еще плотные пубертационные слои, сквозь которые никак не продрасться. Тут не до родной речи. И букварь из головы вылетит.

Автор талантлив, но сурово безвкусен. "Безвкусица" эта отчасти преднамеренная. Она – один из элементов построения вещи. Постоянные переходы с языка, на котором пишется проза, на другие и разные создает впечатление игры, забавы. Автор не прозу пишет, а кокетничает, манерничает, маньерит.

Когда читаешь Дмитрия Драгилева, возникает сомнение, а не есть ли это нечто другое, более значимое, чем художество, вольнодумство воображения. Социологическое исследование, психоаналитические штудии или трактат по теории музыки, например.

Из романа мы узнаем кое-что о половинных и четвертных нотах, об оргазмах в детском саду и возгласах дуремара на идиш. Об амикашонстве и сингулярности, палатализации согласных и редукции гласных, о парном молоке и парном вальсировании, о протагонисте автора, который, обосцав угол очередного дома, сподобился увидеть, что воздух в крапинку, о поездах, заграбастывающих редких желающих. В принципе мы ничего не узнаем, остаемся в неведении. Это стиль.

Автор постоянно перечеркивает свои удачи и находки, и желанный контрапункт оказывается лишь грезой. Он тяготеет к нескольким, многим мелодиям, голосам с их самостоятельным движением в пространстве прозы. Тяготеет к гармоническому целому, полифонии, многоголосью. Но остается, пользуясь терминологией сочинителя, одна "релаксация". Надо уметь так небрежно обращаться со своим творением.

Обоняние, осязание присутствуют, не отнять. Но чуткость к слову! Создает гармоническое целое. И тут же его разрушает.

–... снова лают птицы, весело щебечут жирафы, торшеры покачиваются, стыдливо обнажая свежую паутину. Сравните ее с ажурным трико - слаще не станет.

Проза, подходящая для современного джентльмена, если таковой существует. Прочти Оскар Уайльд этот пассаж, он изменил бы образ жизни.

– Наковыряйте мне весны, заверните, взвесьте.

Автор этим и занимается. Наковыривает, завертывает, взвешивает. Что? Разное. От фломарка до ламарка, от эдди рознера до бени гудмана, биотопы, марево боли, "провинциальные бульоны, увенчанные лаврами культурных столиц Европы", "морзянки рыбачек", взывающие к половозрелым мужчинам и подросткам гимназий и лицеев, красивым, как Дориан Грэй, а – главное – "навозный меланж среди стропил фахверка".

Автор талантливо компилирует, сочетает, обрабатывает, мастерит "ажурное трико словес".

К тому же он постоянно находится в состоянии активной исследовательности. Лучше б он этого не делал,

– Зачем молчите, коллега Сидоров? – обращается автор к неизвестному нам гражданину. И правильно делает коллега Сидоров, а то откроет рот и наговорите какой-нибудь меланж, имеющий быть среди стропил вашего умственного фахверка, и обидите автора. А он, что ни говори, не заслужил этого.

Дух подвергается превращениям, злокозненный универсум бросает на произвол судьбы, но герой вопреки политиканству и интригам Вселенной пробирается в первый ряд.

– ... в первом ряду местечко есть, пробираешься туда.

Там комфортнее, престижнее, теплее.

В буковом лесу живут буки, буквы спасаются бегством, и плотность тишины, и плачут плакаты, но плакать поздно. Если в географии топонимика – совокупность местности или страны, то у автора топонимика буквенная, звуковая, фонетическая. Прием, которым автор часто пользуется, омузыкаливая вещь. Назовем ее буквенным однозвучием.

Проза Д. Драгилева – увлечение безграничностью собственных знаний. На страницы хочется перенести все, весь свой интеллектуальный, слуховой, визуальный, музыкальный и интимно-эмоциональный запас. Добавим сюда философический, политехнический, агрономическо-геологический. Перечисленным запас не исчерпывается. "Не счесть алмазов в каменных пещерах", – как сообщил об этом без тени смущения оперный гость. В каньонах "грецкого ореха" авторского мозга их тоже не счесть. И как экзотический гость, автор тоже не страдает скромностью.

Когда-то, довольно давно, произошла сексуальная революция в странах заката, обошедшая стороной одну шестую часть света. Но сняли табу, открыли человеческое тело. Это открытие, если судить по прозе нашего автора, больше напоминает его вынос. От ажурных пылинок торшера до ажурного дамского белья для художника путь небольшой.

Воображение – сильно действующее средство, наркотическое.

Воображение подобно сну Адама (Китс). Адам проснулся и увидел, что сон исполнился. Сны художника исполняются редко. Остается одно занятие – сочинительство, труд утомительный и одновременно возбуждающий.

Автор или его персонаж неумоимо занимаются поисками явок и адресов соблазнительниц.

У Джеймса Джойса:

– В каких направлениях лежали слушательница и повествователь?

В каком состоянии, покоя или движения?

Покоя по отношению к самим себе и друг другу. Движения, будучи увлекаемы на запад, вместе и по отдельности, вперед и назад, соответственно, собственным и непрерывным движениям земли по вечно меняющимся путям в вечно неизменном пространстве.

В каком положении?

В утробе? Усталый?

Он отдыхает. Он странствовал.

Это и есть искусство. Подлинность письма. Права Лидия Гинзбург. Д.Джойс всегда остается современником. Не в пример современным авторам.

Если Робб-Грийе считал, что писатель должен показывать лишь видимое его взгляду и ничего более, никаких комментариев, то наш автор именно последним и занимается. Он комментирует.

– Сидоров, старик, а мы давно с тобой не базарили, не гнали волну.

Первая фраза романа. Останавливаешься в задумчивости. Продолжать или..., но любопытство. Да и напомнило!

– Ну что, брат Пушкин?

– Да так, брат, как-то.

Н.В.Гоголь, "Ревизор"

Впрочем, Сидоров тоже автор и обращается к себе» Давно он не гнал волну. Диалог с самим собой. В романе никого нет, кроме автора, он же герой, персонаж, протагонист и пр. Он и "гонит волну" на протяжении всего романа.

Гон этот – своего рода "гонгоризм", "прециозная проза-поэзия", снижаемая и оживляемая бытовухой.

В романе никто и ничто не развиваются, ни герой, ни автор, главный и единственный персонаж этого драматического произведения, не предназначенного для постановки. Если вспомнить, что пьеса – это еще и небольшое музыкальное произведение, то роман Д.Драгилева – сборник пьес для баяна, клавесина, трубы, саксофона, барабана и кар-

бокле, маленького бразильского барабанчика. Симфонический слов и выражений и одновременно произведение словесности.

Временами, отвлекаясь от "девушек в цвету", автор начинает "кордебалетить" не хуже своего протагониста "кордебалетного удальца по фамилии Развалин". Из глубин стиля выныривает "оскоми́на, темнеющая в глазах", "полный харя звездюлей", "сизое марево рожь", "баснословные сараи", "рустикальные тупики", "виртуальные персоналки по имени Уринка", "заветные ущелья и кратеры с кассой при входе".

Понимай, как хочешь, не говоря об аллювии и рудеральном корме. Аллювиальность и рудеральность – обертон его прозы. Один из прочих.

Автор то и дело "натягивает", "напяливает", "стягивает" память мездрым клеем, камбием, спермой. Или она сама стягивается: "давеча-намедни-ибо-паче-коли"•

Все жеманно.

И буквы на других языках, и термины из разных наук, искусств, ремесел, худпромыслов и материально-телесной сферы лишь усиливают кокетливость письма. Автор стоит перед зеркалом и примеряет ужимки, улыбки, возмущение, возмужание, гневливость, минорность, детскость, инфантильность и пр.

«В город, – сообщает рассказчик, – привезли доместицированного кинг-конга». Может быть, автор его пародирует или последний пародирует автора.

– Что погода, что дамы...

Повесть или роман – попытка ответить на эти загадки, особенно на последнюю. Не ответить. Пораскинуть, подумать, порассуждать.

Рассказчик с невинным видом несет околесицу. Возможно, Овидий и "релевантный бомж", а, может быть, автор – "бомж" от прозы. Не менее значимый. Результат – дремучеаффектированная проза "с русским языком обучения". Блуд прозаической невинности и житейской мудрости с богатой фиоритурой. Это украшение при худпении из лексикона автора. Он постоянно фиоритурит, тремолит, пускает трели. Рождается кондомная, кокетливо-кондомная проза.

Произведение музыкально, напевно, радостно-фонематично с детской игрой верхом и низом или одним низом.

Возможно, единственный писатель, который повлиял на художника при написании вещи, был Саша Соколов, известный автор, "загадка для фрейдиста", точнее, его роман "Школа для дураков".

Дмитрию Драгилеву удалось неожиданное. Он написал пародию на "Школу, ..", оказавшись сам героем Саши Соколова, героем С.Соколова в собственном произведении. Между персонажем-дурачком и

московским снобом сохраняется расстояние, автором педантически соблюдаемое.

Для С.Соколова писать о "дурачке" и быть им не одно и то же. В повести Д.Драгилева произошло перевоплощение автора в персонажа Соколовского романа. В вывернутом наизнанку, ироническом плане. Речь идет не о реальности перевоплощения, об эстетическом маскараде, об одной из масок, сменяющих друг друга. Узнавание читателем автора всегда кажущееся. В данном случае это "подпольная", глубинная интрига вещи. Словесный поток для того и задействован, чтобы скрыть автопортрет художника. Витя Пляскин присутствует, но инкогнито. Он присутствует в "пляшущем", "танцующем" стиле вещи.

Это не мешает автору беззаветно заниматься собственным перевоплощением, стремясь представить себя подлинного, во всех подробностях. Подлинного не в житейском, а в музыкально-театрализованном, сценически-постановочном плане.

При всей прагматичности автора-персонажа он вполне капризнозен. Не только у музыкантов бывают причуды, и они создают "Рондо-каприччио".

Авторы повестей и романов тоже не без причуд и пишут свои рондо и свои каприччио. "Мелким почерком" и есть рондо, причем рондо своевольное, капризно-непредсказуемое. Тема любви–не любви, автор-персонаж чужд столь высокому и смешному сантименту, – тема телесных радостей, побед и поражений – главная. Она перебивается промежуточными, побочными, случайными, которые обслуживают "полифонию" вещи.

Склонность к сложной, специфическо-экзотической лексике вызывает сомнение в искренности, открытости. Он не рассказывает, он не развлекает. Он издевается над нами, он амикашонит, но кокетливо. Поигрывает словами, буквами, звуками. Он любит блестящее, шуршащее, пошумливающее и соответственно подбирает аккорд, мелодию. Он прихорашивает и прихорашивается.

Кокетство автора простительно, но, что гораздо хуже, жеманится слово. Автора лихорадит, лихорадит и прозу. О, как захватывает этот интерес к жизни. Словесная неразборчивость – лишь проявление этой страсти. Словесное опьянение, приводящее к одичанию прозы, отчасти юмористическому.

Напиши: "Море было большое". И если получите, можешь с чистой совестью пить "Московскую", мешая со "Столичной". И ничего не надо. Исполнил свой долг, свое предназначение. Пей, размышляя в тишине и покое о гениальном, до переселения на угол Большой и Малой.

У нашего автора все сложнее: рудерально-меланжовый эпос, богато оранжиремый незаурядной эрудицией творца.

Когда-то море было большим. Сейчас копают, роют канавы, траншеи, ямы прозы. Сомнительная глубина телесности еще не есть глубина человеческой непредсказуемости. Можно относиться к ней с иронией, но другого не дано.

У Козьмы Пруткова есть стишок об угрюмом огороднике, что пальцем копает в носу. И еще, не менее прелестное, о приставе, мечтающим обладать голосом, чтоб "у тещи приятно петь в тенистой роще". Сегодня половина авторов угрюмо копает в носу и прочих местах, а другая, как обретший голос пристав, приятно поет у тещи или тестя в тенистых рощах.

В. Ленин сказал об Л. Троцком, что он не революцию любит, а себя в революции. Мой автор не слово любит, а себя среди слов, на поляне слов или в "венчике из слов".

Если герой "Москва-Петушки" мечтал "пасть среди лилей", то герой "Мелкого почерка" вполне деловито *"обрабатывает курчавый мох на незанятой деланке"*. Расстояние столь огромно, словно речь идет о разных биологических видах.

Меланж – пряжа из разных нитей, но подбор должен стремиться к гармонии. Автор не стремится к гармонии. С него достаточно меланжа.

Здесь можно найти все: ритмическую прозу, сказ, лубок, анекдот, но в перевернутом виде, бессознательно-пародийном. Не столько для читателя, сколько для автора. Он амикашонит. Или делает вид. Он всегда и во всем делает вид. Он скрывает, вуалирует, накидывает покров недосказанности. Не проговорится о самом интимно-близком и подлинном. Работу по расшифровке этой психологической клинописи он оставляет читателю. Не иллюзия ли это?

—... можно легко симулировать глубину обманчивой комбинацией бессвязных слов. Намажется, что мы вникаем в смысл, тогда как на самом деле мы лишь ищем его. Они вынуждают нас приносить гораздо больше того, что они сообщили нам. Они заставляют приписывать озабоченность, которую вызвали в нас, трудности их понимания.

Поль Валери, "Из Тетрадей."

Толстой сказал о Н. Лескове, что "язык он знал чудесно, до фокусов". Наш автор языком не интересуется, он любит фокусы. Он - фокусник, эквилибрист словес.

Герой беззаветно занимается словесным "блудом", выражая с помощью него "блуд" души. Хождение души по "блуду" Когда-то ходили

по мукам. Ходила Богородица, ходили персонажи художественного произведения. Пришло время ходить по блуду. И ходим.

А что? Нельзя?

Начинаешь сомневаться в настоящем, трепетать перед будущим. Возникает сомнительная мысль, а не вернуться ли в прошлое. Не почитать ли "Цемент", "Степана Кольчугина", "Время вперед" или "Гидроцентральный". Но... остаешься наедине со своим автором.

Действие повести происходит в некоем семиугольнике, некоторые углы которого условны, существуя лишь в воображении персонажа. Например, Париж, Рим, Тайное побережье. В других происходит действие, по крайней мере, виртуальное. Пустошь, ресторан "Бурлеск", про-винциальный городок Поводубровск, радиостанция, как место трудового стажа и интеллигентского мозговитого трепа. Застольные беседы новейших времен.

Вещь кокетливо-претенциозна, а проза не любит кокетства и кокетливых. Но ее рабская зависимость от автора не оставляет ей никаких надежд. Она даже не может воскликнуть, как Эзоп в пьесе Фигейредо:

– Где тут пропасть для свободных людей?!

И броситься туда, оставив автора кокетничать и жеманиться наедине с собой.

В поэзии прозаик, в прозе поэт. И всегда влюбленный, влюбленный в себя, что, имея в виду письмо, непростительно и наказывает автора. Выходит не проза, а кордебалет.

Пойду читать Салтыкова-Щедрина.

Останавливает словесный мюзикл, поэзия иностранной экзотики, эрудиция и энциклопедичность, "лексикографичность" прозы, ее "миздройность". Автор не соединяет сюжетно, психологически, эмоционально, а склеивает слова, фразы, абзацы, страницы, главы. Задерживает маргинальный вопрос: "Какого читателя имел в виду автор? Или городу и миру, своему, отдельно взятому городу? И миру, но личному, существующему лишь в его воображении?"

В повести соблюдены каноны: есть посвящение, многоязычные эпиграфы, один самоэпиграф, оглавление.

Эпиграфы могут что-то значить, а могут и не утомлять себя избыточной нагрузкой. Но, скорее, они, а их шесть – избыток эпическое - предваряют вещь не из кокетства. Они – отражение автора, не менее точное, чем портрет работы художника Бэзила – отражение Дориана Грея.

Случайное совпадение, – хотя у автора ничего не бывает случайным, - шесть эпиграфов, своего рода интродукция к вещи, и шесть глав. Они - эпиграфы - разные по жанрам. Первый – лирический, вто-

рой – публицистический, третий – афористический, четвертый – самый важный, определяющий тональность всей вещи, ее прециозность и жеманность, пятый, – несказанно-философический, – переносит в мир мудрых мыслей, шестой – двустишие автора, выражающее надежду на снисходительность читателя и непроходимо кокетливый.

Вещь написана в скользко-шуршащих тонах. Мелодия задается с первой страницы, мелодия из *"отбросов детского мира"*. И не только. Весь текст – *"индифферентный зачаток под веселыми лучах прожекторов"*.

Добавим, под пронизывающе-потупленным взглядом автора-животворца. Поток сознания, сознания несколько срамного. А какое оно еще может быть? Поток есть поток. Он несет и обязан нести все. Но есть одна особенность. Разухабисто-нахальные тона внутри потока.

Они навязчивы, возникают исподтишка. Повесть напоминает "особенную штучку на фортепьяно", сыгранную Лямшиным в "Бесах" на празднике, устроенном губернаторшей Юлией Михайловной. Произведение Д. Драгилева "Мелким почерком" тоже "особенная штучка", сыгранная на разных инструментах.

Есть разухабистость и разудалость, но персонажу совсем не до удали. Можно представить маленького господина Фридемана, вдруг ставшего удалцом и Ловласом? Можно, но трудно. Томас Манн к этому и не стремился. Наш автор смел и безрассуден. В чем одна из прелестей вещи и загадок ее творца.

Мир разыгрывается, воспринимаясь сквозь разные призмы. Ограничимся сферой эстетического. Прочитанное – не трагедия, не драма, не комедия, не фарс, роман не комический и не театральный. Это монтаж, рассудочное, вполне холодное и одновременно очень кокетливое письмо. Не игривость, не прихорашивание красотики бальзаковского возраста. Это фундаментальное свойство, принцип прозостроительства.

Все таланты автора оказываются во вред письму. Прозаик не может ограничиться мычанием. Маловато для прозы. Но когда она не более, чем кокетство, пусть и интеллектуальное, не приходится говорить об искусстве, а только об авторе, авторе одной единственной страсти, страсти по самому себе. Точнее, проза сохраняется, но не благодаря, а вопреки легкомысленному автору, бросившему ее на произвол судьбы. Он с полным правом мог бы назвать свое произведение "Страсти по Драгилеву" или "Страсти по Диме".

Вся вещь – любовно-игривое подмигивание самому себе. Новый литературный жанр, новый вид повествования. Подмигивание самому себе через буквы, слова и абзацы.

Как поэт он стремится к благозвучию эвфонии и в прозе. Но учитывая основной тон, и это прозе во вред. Все сводится к *"кудреватости кратеров"* и *"плотным пубертационным"*.

Вся повесть, собственно, путешествие влюбленного, влюбленного не столько в конкретную Джульетту, Дездемону, Юлию, сколько в сам предмет, факт существования подобного. Некое метафизическое, спекулятивное томление по дамской флоре и фауне.

– Такова, - утверждает герой-автор, – эволюция влюбленного от ожидания – к путешествиям, от города к огороду, от камней – к утюгу. Рефрен романа: – А мужик был у нее уже.

Прелестно описание сцены вот-вот грядущего счастья:

–... в предварительных кустах бегонии он раздевался с нею, жуящей противозачаточное, оттого нарастившей пригорок пониже сплетения; озеро тухло, артачась чешуйчатой тушкой на виду у маслянистой медали, перфектной, как совиный глаз, сонных яхт, в дневное время покрывающих пруд в три присеста."

В чем, в чем, а в сентиментальности героя не обвинишь. Невольно возникает неприличный, даже нехороший вопрос: – А во сколько присестов персонаж покрывает предмет страсти?

Вопрос нехороший, но какова проза, таковы и вопросы к ней.

Иногда кажется, что у сочинителя временно помутился рассудок. «Мартобря», да и только.

– Водоросль внятная, повышение целесообразности изучения звезд с берега, когда эти двое купаются, он кролем наращивает обороты, она, плясь, визжит, потому что на детство накинута кондом, оно задохнулось в кондоме, а необутые самураи перешли границу в районе амура.

Фраза не бедная, с размахом, но детство жалко, да и самураев.

Простудиться могут,

–... а дамы, их мало, они окавалервны все, хотя формально свободны, они почти дотягивают до персонажей романов ходячие пародии, дешевые карикатуры, бледные копии роковых и розовых героинь.

– Консумирующая, т.е., потребляющая мужчин либертина.

Дамы не ангелы, но они достойны большего подобных возгласов и инвактивных вскриков. Да дело и не в дамах, дело в восприятии.

Иногда слово, ораторские дарования отвлекают персонажа от магистральной темы.

–...каждый делает свои открытия, кого они интересуют? Откройте для себя вашего соседа, откройте для него дверь в вашу тайну. Каждый объект может стать тайной, а стало быть предметом более или менее

внезапного и пламенного изучения. Откройте в себе Шлимана, Шатобриана, Америго Веспуччи и Марко Поло. Откройте в себе Эдисона.

У читателя появляется надежда выбраться из "пубертационного" туннеля. Увы, ненадолго. Автор строг и не позволяет отдышаться, унять читательское сердцебиение. Любовная новелла, похожая на китайский веер, где каждая часть дама или деталь ее, продолжается. Автор не скупится на варианты, оттенки, освещение.

– Эй, Барон, он же старый Развалин... соси локоть, воображая себе ее грудь..

Сколько поэзии! Здесь не до шлиманов с шатобрианами, не до америго с марко. Не до Эдисонов с их лампадами.

– ... прилюдно обнимались и тискались, топали.., пытаюсь запустить ладонь в заветный карман партера. Главным приобретением была близость, она была подтекстом и подлинным смыслом, в ярких фантиках городских гуляний, в спектральном колдовстве радуг в четверг и шепоте...

Не откажешь в живописности, удачном освещении места действия, театрализации неосуществленного, но желаемого акта. Талантлив автор. Умудрился вместить в двух предложениях три вида искусства: живопись, прозу и Станиславского с Немировичем,

Соло на саксофоне, трубе, балалайке, клавишине, гармонике продолжается. Инструменты меняются. Мелодия остается.

Сверстницы взрослеют, берут и получают взрослые роли. Л герой ж вместе с ним автор "... все еще пытается уяснить для себя значение своих скромных детских открытий, проанализировать и переварить собственный младенческий опыт."

Новое поколение, – с тоской и завистью констатирует наш "подпольный" персонаж, – входящее в силу, плевать хотело на опоздавших.

Персонажу свойственна некоторая отвлеченность от мира. При всей его тайной влюбленности в него. Если у героя что-то растет, то аморели, гинкго, если он хочет перекусить с голодухи, то земыгу – "фиктивную рыбу, ископаемую, гибрид семги и кистеперой латимерии, которая встречается в биотопах и не приспособлена к автономности."

Удивительно, что герой при таком питании дотянул до конца произведения, не дав дуба. Поистине стоическое мужество. Видимо, "заветный карман партера" придает силы для продолжения существования.

Автор сам подтверждает это осторожное предположение.

– Вереницы пы-Тливых девиц, похожих одна на другую чувственным выражением губ и ног, обнажив по случаю жары промысловые тела...

– В ту пору, когда спят мышки-норушки... спит толстый мопс Медредит и широкий пояс стран-лимитрофов, когда спят лимитчики и жилые массивы спят, слышатся песни колобка и девки вокруг радостны и фривольны так, будто у них никогда не было ни проблем, ни месячных.

Широк автор, широк, надо бы сузить. Меланж разнузданности, детской инфантильности и "поэтической глухоты". Рассказчику постоянно хочется "сбацать музыкальную штучку" на лирический мотивчик. Вот он и "лимитрофит", пародируя самого себя. Или скрывая.

–Как уберечься от них лоботрясу и охламону этакому, вегетирующему мимо, как?

Если автор не знает ответа на этот вопрос, то мы тем более. Но хочется спросить: "От чего уберечься? От девок, от месячных, от проблем?"

Дивный текст. Автор – "тенор" времени. Он и вегетирует, и вегетарит, влачит жалкое существование и процветает. Он успевает все, он и его герой.

После таких "бурлесков" трудно поверить, что персонаж всерьез просит прощения у любимой "за боль и глупость, за отчаяние, за оторопь и смуту душевную..."

*Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак.*

А.Блок

Автор знает эти строчки наизусть. Знает, но, увы...

Он сам ставит свою "оторопь" под сомнение.

–... отфильтруй базар персонажей, - вспомнилась, видимо, "Ярмарка тщеславия" У.Теккерея, - которые, надеюсь, меньше похожи на автора, чем морды городских псин на тех, кто повязан с ними.

Фраза несколько загадочная. Но главное не в этом. От "вязки" творец порывно переходит к солнечной прическе, глазам цвета летнего неба, к "звездам молчащим и планетам дышащим, запорошенным Кармайклом и Григом фиордов..." Тут и коктейль лунного света и "этот богоспасаемый "Бурлеск". Ресторан, как мы помним. Или часть мироздания, мироустройства согласно автору.

Какова палитра! И все взаправду, автору не до шуток.

Читателя не может оставить равнодушным интимно-трогательная нежность автора к себе.

– Куда молодой человек держите путь, в какие края? Расскажите, сделайте милость. Какие дела гонят, какие мысли вас преследуют или враги-варвары, где ваша жена, амиго?

Птица-тройка в современной аранжировке.

Один из рефренов повести: у меня уже была женщина, много, много, но я еще не вышел из детства, я ребенок, я, конечно, "вундер ребенок". Однако. Персонаж и не желает выходить из детства. Совмещать несовместимое приятно.

Топография вещи обширна, но куда бы герой ни кинул свой потупленне-удивленный взгляд, там обязательно будут топтаться потаскушки и фривольные девки. Возможно, его воображение вызывает их из небытия, а на самом деле никого нет и местности безлюдны. Да есть ли и они?

Места, которые мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной нашим воображением...

М.Пруст

И потаскушки, и фривольные девки также существуют лишь на карте, нарисованной воображением персонажа.

– Что такое дневник, дневник - это возможность написать о себе... И тут приходили на память слова известной писательницы: писать о себе - значит оглядываться. Я оглядываюсь не затем, чтобы вернуться. Я хочу запечатлеть в памяти, что уже позади. И еще ориентироваться на местности, свериться с компасом своей души.

Автора часто тянет в дебри мудро-доступных мыслей, куда он заводит и своих читателей. Но ни возвращаться, ни оглядываться, ни ориентироваться он и не думает. С компасом своей души он давно сверился. Оглядываться? Зачем? Разве что во гневе. Но он не гневлив. Вернуться? Он еще никуда не уходил. Остается запечатлеть, чем творец безоглядно и занимается. Отчасти в балалаечно-раешном исполнении.

И герой - "не убудок, а пилигрим... или вышедший из употребления дипломат", приносящий в дар напернице свою опосредованную интуицию, которую она получает в виде микста".

Воспользуемся вошедшим в историю литературы восторженным воплем:

– Ай да Дима, ай да сукин сын!

Бессюжетная проза со своим действием без действия требует заставок, виньеток, отклонений, маневрирования, чтобы избежать монотонности и удержать читателя. Автор не скупится, декорируя меланж основного текста сценарием, экспериментами с ненаписанной, но всплы-

вающей по временам повестью, письмами, дневниками, интернетными посланиями и комментариями к ним, высоколобым "трепаком", лирическими и лиро-эпическими миниатюрами, обращениями к любимой или другой барышне-даме.

Тон, стиль повествования меняются, обновляя вещь. Не исключено, ее пародируя. Или пародируя некоторые низовые жанры советской классики.

– Яркий луч света прорезал ночной лес... К перрону подкатила черная "эмка". Из машины вышел высокого роста человек лет сорока пяти, в плаще и без шляпы, несмотря на холодную осень.

– Вооруженные до зубов бандиты, не торопясь, выходили из леса и делали перебежки к различным избам деревни.

Трудно сказать, что лучше, посвятить остаток жизни дефлорациям и дефинициям, как в повести нашего автора, или гражданам высокого роста в плащах и без шляп, несмотря на холодную осень, да бандитам, которые выходят из лесов и делают короткие перебежки. Можно совместить, но не тянет.

Героиню тоже не потянуло, и она решила "вспомнить детское-хорошее" • И вспомнила.

– Возьми меня с собой. Юрка, запахло тебе что ли?

Автор делает третью попытку. "Вздор, вздор, вздор!" – восклицает он. И справедливо.

Стоит остановиться на четвертой, посвященной Пруденс (героиня) в детстве. Очень красиво. Это сон, а во сне чего не бывает. Ожерелья фраз, вечерние звездочки, мраморный дом, заваленный белым снегом, коринфские капители, балюстрады, блеск люстр. Венчает сон пульт для музыканта и вензель на пульте. Легкомысленно минув пульт с вензелем, героиня на всех парах переносится из младенчества "во взрослое и гордое состояние". Она разговаривает с постаревшим Юрой. Разговаривая, "она пыталась придать важность лицу и возвести голос в тон легкой претензии, кавалеру надлежало самому догадаться".

Увы, Юра поступает нехорошо "в этот исторический момент". За дверь и бежать. Подколесин и только. Разница небольшая, топографическая, за дверь, а не в окно.

И вот героиня рассказывает эту патетическую историю автору. Она "произносит в адрес бежавшего сакраментальное слово люблю, экономящее на алфавите, внешне состоящее из четырех букв, а на самом деле склеивающее два согласных звука с одним гласным. Поэтому согласными на любовь должны быть оба..."

Боже, наконец-то наш автор вернулся после столь долгого отсутствия. Его отпустили вооруженные до зубов и без шляп такой холодной

осенью. Они простудились, потеряли бдительность. Он снова с нами. И с места в карьер блистательное определение любви. Что Стендаль со своим "Трактатом..." о ней же! Детский сад, ясли.

Не знаешь, что больше удивляет. Со всем согласен. С его лапидарностью, лексически-стоическим спокойствием, фонематической точностью, с его спекулятивной безмятежностью.

Прекрасно называется четвертая глава: "Бутылочное стекло богемы".

– Он (Юра Шустров) хочет, чтобы его любили. Неважно кто и где. Девушка может быть не здесь и не с ним. Но должна его втайне любить, его понимать, о нем вздыхать и думать. Неправда ли, есть в этом что-то неумолимо женское? Согласись, какое-то странное женское желание. Блажь, прихоть. Может быть, Шустров – женщина?

А вместе с ним и автор? Он, кажется, везде вместо себя подставляет своих персонажей-привидений. Все они – автор. С этой точки зрения и Пруденс - мужчина. Смутное, перевернутое, колеблемое, как в водном потоке, отражение творца-автора.

Мнимые разговоры с возлюбленной – словесный поток вполне лиро-поэтический, который портит неразборчивость в выборе слов: "славная фотография", "потрясающе красивый", "сахарные постройки", "окна, горящие сладким... светом", "ласково загорелась", "ласковые слитки..."

Автору каким-то легендарным способом удается совмещать маниловскую сладость с братаном, который в натуре гонит, и куртуазных маньеристов со спермотоксикозом.

Герой-автор разрывается между двумя весьма противоположными чувствами.

Одно: "Принцесса, Вы меня помните, есть ли в Вашей сказке место для сторожа? Сторожа Ваших снов?"

Другое: "У каждого из нас однажды появляется потребность в чувстве локтя, ... потребность в лифтах, в частых соприкосновениях с лифчиками подруг в тех же лифтах."

Вообще-то, лифчики носят дети, а женщины носят бюстгалтеры. Но это – мелочь.

Как написал когда-то А.Вознесенский по поводу романов Франсуазы Саган:

*Мы сменили чувство локтя
На чувство колена.*

Ассоциация, аллюзия. Но если у А.Вознесенского это написано с иронией, то у нашего автора серьезно, более того, возвышенно. Не говоря уж об игре "лифтов и лифчиков".

Возможно, персонаж-автор разрывается между мужским и женским началами. Цитата, приводимая им, наталкивает на это:

- остается лишь понять и принять наше жутко гибридное совместное женско-мужское существование, ибо противоречия не так велики, как мы думаем, да и материнского в мужчине много, стоит только присмотреться к себе...

Но, скорее, он разрывается между Музой и Академией, между Эратой и Каллиопой. Дон Жуан любил не женщин, а геометрию.

Особая топография произведения влечет за собой и особенность мироощущения. Плохо работающая почта, почтовые отправления, не доходящие до адресата, жалобы на то, что эпистолярный жанр в наше время умер, что никто никому не пишет и никто ничего не получает, в романном мироустройстве автора свидетельство одиночества творца, как и персонажей-призраков. Интернетные возгласы и вскрико-объятия не помогают преодолеть его. Сообщить о себе, наконец, нечто подлинное, выговориться, открыть тайну своего существования.

*А сейчас что за век, что за тьма
Где письмо Не дожидаться письма.
Даром волны шумят, набегая.*

А.Кушнер, "Приметы"

Тут и всплывают из детства Дефо, По, Жюль Верн, появляется бутылка, тонет, выныривает, плывет. Ты никому неинтересен, ты всеми забыт: городом, миром, пустошью, парижем и римом, рестораном "Бурлеск". Ты кричишь на разных языках, ты взываешь на разных инструментах, ты свободно, открыто перемещаешься в пространстве верха и низа, ты откровенно барахтаешься в нем. Но ни звука, одна тишина отвечает тебе.

И последнее, что остается островитянину, – бутылка в роли почтальона, бутылка, как самый надежный доставщик почт во все времена. Во времена Гильгамеша и Энкиду, во времена Гелиодора и Эфиопик, во времена Комических и Театральных романов, во времена гомеровского Одиссея и джойсовского Улисса.

Бутылку можно отправить с Тайного побережья, где тебя нет, как нет и его. Всего-то: клочок парусины, несколько слов, протолкнуть горлышко, задрать и ... уже плывет.

Или бутылочка для детского молока, из которой кормят младенца и в которой хранится его первая почта, первое сообщение из мира.

Или уличный певец, которому отвалили бутылку спиртного вместо гонорара. Он вскроет ее, опорожнит и снабдит письмом.

Что-то есть в авторе. Начинаешь надеяться, что вещь благополучно завершится, хотя бы в силу окончания процесса "меланжирования". Но наш автор – художник. Он не может позволить себе даже короткой передышки, соснуть на часок, "предаться сну". Никогда. Он – "заложник вечности", "пленник времени".

Маневренность его необыкновенна. То церковная проповедь, где автор с пафосом сообщает, что нет никакого смысла подозревать друг в друге воров. Иначе мы так и не научимся понимать родную речь, помогать своим и чужим, отдыхать и работать. Он не объясняет, почему нет, но трогательно. И отдаешь дань.

Не успев отдать, ты оказываешься на краткой, но насыщенной лекции на музыкальную тему. Паулс – дань родине, Элингтон, Фридрих Холлендер, синкопаторы Вайнтрауба, Эдди Рознер, Майя Кристалинская и почему-то Зюскинд с Марлей Дитрих. Автор сообщает нам, что не надо спекулировать на значении ре бемоля. Сразу хочется, но опрятность невежества не дает такой возможности.

Один из персонажей по определению другого персонажа "по жизни все начинает и забрасывает". Так и наш автор по прозе. Заманивает, заманивает. Наконец, заманит в "розовый сад", устроит "нескладуху" и бросит на произвол.

Только что читатель любовался сказочным самоцветом или звездочкой, играющей в волосах любимой. Но это – читатель. А герой? Вряд ли он удосужился увидеть лицо возлюбленной. Он смотрит всегда немного вбок или ниже, он недоброжелателен, он подозревает. Он хочет знать все. А зачем?

Но читатель-то занимался любованием, не само-, нет, И вдруг:

–Дождись дыма костров и пения труб. Постигай премудрость ямской гоньбы. Во вторник вечером сумрачные мужики в зеленых армяках с суконными орлами или в темно-синих бриджах, тулупах с красными лампасами и желтыми пуговицами отправляются на Тайное побережье.

Все взаимосвязано, взаимозависимо, взаимопроникаемо. Вот и Саша Соколов явился "в тулупе с красными лампасами". В полной словесной униформе.

Но что удастся таинственному С.Соколову, то у нашего автора звучит пародийно. Пародийность эта – эстетическая загадка, загадка письма. Саша Соколов – его единственная платоническая любовь. Платоническая не по хотению. Предмет любви определяет степень платонизма. А последний, неблагодарный, не отвечает взаимностью. Саша Соколов – художник безответственный. Он не задумывается о поклонниках, не печется о них. Эстетический снобизм горноплавателя.

Полустанок С.Соколова в "Школе для дураков". Герой, подглядывающий сквозь щели платформы.

И подглядывающий "мелким почерком" автор. "Мелкий почерк" здесь - увеличительное стекло, подзорная труба, "бутылочное стекло богемы".

Помним "Улисса", но забыли "Дублинцев", помним "Школу для дураков, но забыли "Уайнсбург, Огайо", книгу юности.

Кто мы по сравнению с юным титаном, - вопрошал Томас Манн, - имея в виду Льва Толстого эпохи "Войны и Мира".

Ответ был волшебной краток: "Пигмей".

Интересно было бы узнать, кто же мы?

Сороконожки, разучившиеся ходить от избытка конечностей?

Или Нарциссы, впадавшие в священный безумие словотворения?

Страдания автора – страдания эстетические. Слова родной речи и слова родной речи всех прочих. Кто они, что они значат? Родственники, друзья, враги? Автор не отвечает на этот вопрос. Читатель мог бы, но рискует власть в "лингвистическую ересь". Поэтому "молчание, молчание, молчание".

Сегодняшняя литература что-то вроде майора, уволенного в запас за отсутствием служебных перспектив. Д.Драгидев - не исключение. Но его выручает ревность. Особый специфический вид ревности. Это ревность естествоиспытателя к предмету его научной страсти, подлежащему изучению и каталогизации.

Вспоминается роман Бурже "Ученик". Не тайный ли "позитивист" наш автор? "Позитивист" во времена "литературного промежутка".

Хотя задача, поставленная им, вряд ли может быть названа "позитивистской". Разве что по психологическому инструментарию, принадлежащему ему как индивиду. Цель достаточно величественна. Представить жизнь, не жизнь – странствие персонажа-автора в разных тонах, разных регистрах.

Отсутствует на карте мира провинциальный городок Новодубровск, некий париж и некий рим, отсутствует Тайное побережье - символ иной жизни, откуда не поступают донесения, рапорты, реляции, весточки или на худой конец поздравительная открытка с окончанием земного странствия. Музыка оказывается одним из измерений человеческого вида, другим – пол и характер, вечный диалог Адама и Евы или раздор, состояние ни мира - ни войны.

–Америка еще не открыта, она только обнаружена, – сострил Оскар Уайльд.

Дмитрий Драгидев не открывает, он обнаруживает. Женщину, ее сомнительные достоинства и вечный соблазн, деньги, которых у него

нет, но которым он симпатизирует, авторов, приватизированных им и ставших его садово-парковым хозяйством, где он собирает плоды и букеты для украшения своей прозы.

Он прихватывает музыкальную терминологию, слова и словосочетания иных языков, интеллигентский треп, "наработки" детского замутненного сознания. Не забывает политику и историю, социологию и ихтиологию.

Вживается в роль джазового рапсода. Рапсодия – "сшитая из разных произведений песня", если верить "Словарю редких и забытых слов". "Рапсодия" Цитрин Драгилева сшита из стилистически, лексически, эйфонически разных материалов.

Поглощать, переваривать и выдавать на гора прозо-поэтический продукт. Автор поглощает и выдает. Средний член триады он пропускает. Стремительная игривость переходов не дает такой возможности. Слово не выдерживает напора и исчезает, "уходит по-джентльменски".

Автор снижает высокое, возвышает низкое. Принцип комической поэзии. Если б он добрался до бурлеска, но персонаж добрал лишь до ресторана "Бурлеск". А ресторан остается рестораном, даже если он – один из кругов, этажей миропорядка или одна из эманаций авторского сознания.

Его проза старается быть эффектной, но выглядит, как

"... райская птица, которая целую ночь провела под дождем..."

Оскар Уайльд, "Портрет Дориана Грея".

Один из эпитафий гласит:

- В данный момент пишу себе письмо, думая, что оно пришло от тебя.

Проза и поэзия Дмитрия Драгилева – письма себе, но автор думает, что он отправил эти письма по адресату, т.е., читателю.

Жанр автор не определяет. Подходит любой, поскольку вещь инвентарно-музыкальна. Сквозь инвентаризационный гул прорывается чувство, переживание, смутно осязаемые, фантомные. Ритмическая проза сменяется сказовостью, транспортер памяти – явью, ландшафт – ораторскими обращениями, мнимые беседы с подругой – проповедью, детский лепет – дамскими прелестями в натуральную величину.

Вещь постепенно выстраивается в нечто. Нечто это неопределенно, но достаточно монументально. Даже с избытком. Избыточность стилистического, лексического, эмоционального лицедейства "дуремарит", превращая все произведение в „возгласы“. Но и "возгласы" – проза.

Ни одна вещь в чувственном мире не может быть действительно свободной, а может только казаться свободной. Автор подтверждает эту аксиому. И если свобода в явлении, в том числе и в явлении художества, тождественна с красотой, то в поэтично-прозаической Вселенной Дмитрия Драгилева нет ни того, ни другого. Но есть более любопытное. Неосознанный бунт. Бунт против самого бытия, иерархически упорядоченного и застывшего. Закрытого для Постороннего.

В своем бунте он стремится исчерпать весь словарный запас. И одновременно ему не хватает слов, чтоб выразить свои состояния, чтоб высказаться окончательно и навсегда. Остается нечто недосказанное, невыраженное, не поддающееся алфавиту. Он оказывается бессильным. Наблюдать за этими "муками материи" и составляет прелесть и соблазн чтения.

Семен Ицкович

Из прошлого и настоящего

Литературные этюды

В Германии, во Франкфурте-на-Майне, в издательстве «Литературный европеец» вышла забавная книга рассказов Владимира Батшева (кто не знает, того самого, кого в 1965 году, как Бродского, за «не ту» поэзию советский суд отправил на 5 лет в красноярскую ссылку якобы «за тунеядство») под названием «Один день Дениса Ивановича», 2018, 160 страниц, 14 рассказов или этюдов разных лет.

Уже одно это название с намеком на повесть Солженицына, только немножко наоборот, завлекает читателя в круг, если можно так выразиться, иронического литературоведения. И вот к примеру диалог из первого рассказа «Конец лета на горе Нероберг»:

– Интересно, Федор Михайлович этой же дорогой поднимался?

– Достоевский?

– Ну, да. Проиграется внизу в казино, и наверх. К церкви ползет. Карабкается из последних сил. Приползет, упадет у икон, и прощения у Господа просит. Господь милостив – простит. А Федор Михалыч снова вниз.

– В казино.

– Куда же ему еще, болезному – туда.

Этот диалог ведут Вера с Иваном. Кто они, читателю предстоит постепенно догадаться. Вот концовка рассказа: «Но Иван еще не получил письма, и ничего не знает. Да и друг Борис в тюрьме ВЧК. И до Нобелевской премии двенадцать лет». Интересные загадки игриво задает автор читателям и в других рассказах, рассчитывая, очевидно, на их эрудицию и догадливость.

Заглянул к концу книги. В последнем ее рассказе под названием «Как я был нобелевским лауреатом Иваном Буниным» автор с хорошим юмором рассказывает о своих коллегах по издаваемым им журналу «Литературный европеец» и «Мосты».

В предпоследнем рассказе «Из воспоминаний про знакомого-незнакомого писателя» автор возвращается в советские застойные годы, когда писатель К., бывший в фаворе у властей, отказал ему в рекомендации для вступления в Союз писателей, очевидно, считая его антисоветчиком. Как вдруг этот охранитель Союза писателей сам уже оказался в Германии. «Надо поехать, познакомиться все-таки, настоящему»...

А где же Денис Иванович? Он в двух рассказах, расположившихся

в середине книги. В первом – «Один день Дениса Ивановича», во втором – другой день.

«В восемь часов утра, как всегда, пробил колокол на католической кирхе... С утра Денис Иванович стал подсчитывать на чем сэкономить. Если он все лето будет ходить без носков, то сэкономит десятку... А на десятку, что сэкономит, купит себе летние сандалеты... У старых стерлись каблуки. Поставить новые – пятнадцать евро. Дешевле новые купить... Ему еще нет 67 лет, потому он не получает социального пособия»...

Описанные на последующих 14 страницах тяготы Дениса Ивановича, конечно же не идут ни в какое сравнение с жизнью солженицынского Ивана Денисовича, но прочитать про него интересно, как и в следующем рассказе «Другой день Дениса Ивановича», где у него проблема с кабелем для антенны. Этот кабель – предлог, чтобы автору зацепиться, а в рассказе попутно обо всем. Больше об известном драматурге прошлых времен, писавшем пьесы о Ленине, а в Германии развозящем пиццу, да о жене его Симе, узнавшей про мужнины фокусы и не согласившейся их терпеть: «чай, не советская власть на дворе, а немецкая реальность»...

Возвращаюсь к началу книги. Ее второй рассказ – «Свидание в июне» начинается с надписи в книге стихов: «Моему случайному спутнику». Рассказчика смущала дата – 4 июня 1939 года.

– Откуда я вас знаю? – удивлялась она. – Где я вас видела прежде?..

– Года три назад, на балу эмигрантской прессы. Нас познакомила Вера Николаевна Бунина...

Дальше на фоне разных событий всем нам знакомые и незнакомые люди, а под конец: «Мы давно живем в Чили. С тех пор, как из Европы перебрались в Южную Америку... По ночам моя жена кричит и просыпается от страшного сна. Она не может вспомнить, кто она и где



находится». Муж успокаивает ее, поясняет, что зовут ее Анна Николаевна Ковригина, что они из Орла, где их застала война, где при бомбежке города советской авиацией погибли их дети, а они остались жить. Она поэтесса, публиковалась в русской зарубежной прессе, отзыв был в «Новом русском слове»...

Следующий этюд «Массовые сцены» посвящен В.П.Некрасову, про кино.

За ним «Как это было»: «Голодухой расплывался девятнадцатый год по городам. Вся надежда – на деревню». Рассказ «На окне, за стеклом» – из ленинградской жизни, с шизофренией и фантастикой. В каждом рассказе какая-нибудь изюминка.

Рассказ «Осенью на берегу» проиллюстрирую двумя цитатами. Из его начала: «В том сентябре я, словно Набоков, жил в отеле на берегу Средиземного моря... В отличие от классика, который наслаждался постоянным гостиничным жильем, мы... пару недель – на большее не хватало денег и времени».

И вот его конец: «Братки с цепями и золотоклыкастыми подружками скоро заполнят твои пляжи и улицы, наложат дань на торговцев, и марокканцы с палестинцами, и пакистанцы с турками после короткой международной резни послушно будут платить. Российские консульства – гнезда шпионажа и нравственного разврата, угнездятся и раскинут мерзкие щупальца во все стороны побережья. Шикарные виллы на горе перестанут быть шикарными, новые русские построят еще шикарнее. Появятся названия улиц на русском языке. И российская серость заполнит золотые пляжи... вытравляя запах моря и радости, превращая все вокруг в цвет предательства, пьянства и воровства. Так и хочется закричать».

На этом впечатляющем ужасе хочется закончить свой отклик на интересную книгу. Не охваченные откликом рассказы – «Конспект романа», «Ортвин и без него», «Весной на берегу» и «Как в анекдоте» – каждый в своем роде и со своими всплесками, но все в том же духе сопоставления нашего прошлого с нынешним в этом загадочно меняющемся мире, где русская зарубежная литературная жизнь, несмотря ни на что, продолжается.

В ожидании очищения

О новом романе Давида Гая «Катарсис»

Публицистика и художественная литература. Есть нечто общее между ними, но есть и принципиальные различия. Если публицистика – это каждодневная аналитика новостей, констатирующая происходящее, то задача художественной литературы гораздо шире – это прежде всего философско-психологическое осмысление происходящего, проблемное представление реальности в плане ситуаций, уже прожитых нами, а также тех, к которым она может привести. Таково отличие, однако четкой грани между художественной литературой и художественно представленной публицистикой по существу нет, потому-то как у древних авторов, так и у классиков литературы всех времен и народов были и к тому же оказались особо востребованными выдающиеся художественные произведения именно публицистического направления.

Таков по направленности роман Давида Гая «Катарсис», который автор доверил мне прочитать еще до публикации. По концепции и литературному стилю это третье его произведение во след романам «Террариум» (2012) и «Исчезновение» (2015). О двух этих романах, остропублицистических, я восторженно отзывался. Роман «Террариум» раскрыл сущность ВВП – Верховного Властелина Преклонии, страны пресмыкающихся. Роман «Исчезновение» предвещал незавидное будущее Верховного, который внезапно исчез, когда, по мнению его двойника, произошел государственный переворот. Предсказанная в романе дата исчезновения оказалась многозначительной – 5 марта 2024 года.

В заключение моей рецензии на этот роман, опубликованной в мае 2015, я пожелал автору «продолжать вдумчивое исследование российского феномена с тем, чтобы в будущем дополнить две его книги о современной ему России – «Террариум» и «Исчезновение» – третьей, назвав ее, например, так: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”. Длинноватым было предложенное мной название, но авторское «Катарсис» (в переводе с древнегреческого «очищение, оздоровление») по смыслу с ним совпадает.

Ожидание чего-то необычного навевается читателю с первых страниц романа, когда его герой, писатель по имени Дан, вовлеченный в некий властный эксперимент, оказывается в знакомых ему местах, вблизи бункера, заготовленного в давние времена на случай войны еще тогдашнему властителю, но отвергнутого им как «Ловушка». Попутно замечу, что вот такое словечко – маркер личности и времени – ти-

пичный литературный прием автора в налаженном контакте с читателем, не нуждающемся в дальнейших разъяснениях.

На собеседовании с человеком «оттуда», спросившем Дана, чем мотивировалось его согласие участвовать в эксперименте, тот ответил: «Мой долг как гражданина – помочь реализовать смелый проект по улучшению жизни общества, избавлению от мешающих развитию фальши и химер». На самом же деле он, предупрежденный о «неразглашении», уже задумал роман с предсказанием нового поворота в истории страны.

Полторы сотни участников эксперимента разделены на три группы: «красных», «черных» и «зеленых». Размещены они так, чтобы никакого общения не было – ни между группами, ни с внешним миром. Дан оказался в «красных». Они в течение месяца подлежат сильнейшему воздействию пропаганды, сопровождающемуся ежедневным приемом «пилюль правды», просветляющих мозги, и контрольным анализом крови. Затем устроители эксперимента предусмотрели психиатрическое обследование испытуемых с использованием детектора лжи.

«Мы все чокнутые?», – возмутился, слушая инструктаж, кто-то из «красных». «Ваша психика повреждена, – ответил Профессор. – Вы, как, впрочем, и мы все, жертвы пропаганды... Нас можно подвигнуть на что угодно, убедить в чем угодно. Ради нашего с вами будущего, ради терпящей урон Родины... мы должны очистить мозги и начать видеть то, что есть на самом деле». Что правда, то правда. Придуманый автором Профессор прав. Но что далее? Полсотни «черных» тем временем пребывают в информационном вакууме, а «зеленым» предоставляется полная свобода: что хотят, то и слушают, смотрят, читают.

Интереснейший эксперимент! Хотелось заглянуть вперед, в развязку, но и от деталей не оторваться. В частности и от кино, которое смотрит Дан, и от лекции, впечатляющей неожиданными сентенциями. Там, например, «дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку» или «стране можно внушить любую конструкцию – про то, что мы всех победили в Асадии, и про то, что нас в Асадии нет». Это, как и в другом месте история с нервно-паралитическим газом «Новичок», звучит наисовременнейше, но как бы о былом, давно прошедшем, под незримо пробивающиеся сквозь текст горькие и склоняющиеся к философским авторские размышления.

Это размышления о стране, что с ней было, как и почему, о ее обитателях, не называемых по имени, но узнаваемых, а также и о себе со всей откровенностью и самокритичностью, включая «дурные воспоминания», которые хочется забыть, но помнятся, и их невозможно

изгнать. Можно догадаться, что включение в роман элементов семейной саги его героя – например, с дедом, погибшем в гулаговском лагере, как и разговоры про народ, – углубляют первоначальный замысел романа, расширяя его тематику и обилие образов. Для полноты ощущения жизни здесь представлены и романтические отношения героев с попавшими в группу «красных» участницами контролируемого эксперимента. Как притча, очень впечатляющая, воспринимается и рассказанная автором вроде бы посторонняя история, случившаяся с дедом одного из участников эксперимента. Всю жизнь старик томился тем, что не смог устоять перед напором «Конторы Глубокого Бурения» и совершил подлость. Чтобы избавиться от мучений совести, несчастный покаялся перед внуком, после чего умер во сне.

Поразительно мероприятие эксперимента с «красными», выведенными к площадке с несколькими телевизорами, на которых они увидели нынешних телеведущих и завсегдаев телеэкрана из прислужников, экспертов и прочих соучастников, метко характеризующих автором и легко узнаваемых по приметам. Телезрители презрительно смеются над ними, а когда мужичок по заданию организаторов эксперимента раздал им бейсбольные биты и показал пример уничтожения телевизора как «главного врага человечества», «особо одаренные» кинулись громить телевизоры.

Но это всё – о той группе эксперимента, которую пометили красным. А как же «черные», которые в информационном вакууме? О них ни слова. Они в изоляции. Эта группа, очевидно, контрольная, чтобы устроители эксперимента могли судить, как долго может продержаться в умах пропаганда после ее прекращения. О «зеленых», которым предоставили свободу действий, автор сообщает лишь то, что некоторых из них наказали за манкирование приемом «пилюль правды», а еще о воровстве этих пилюль со взломом хранилища. Одни из них, выходит, не хотят прочищать свои мозги, другие, наоборот, жаждут их прочистить, то есть предоставление распропагандированным (иначе говоря, зомбированным) свободы предопределяет в их обществе разлад.

А у «красных» подходил к концу месяц, отведенный для эксперимента, и тут произошла развязка, исключительно интересная, для них неожиданная, но кем-то из проницательных читателей, возможно, заподозренная.

Когда книга выйдет в свет, вы, уважаемый читатель, получите интереснейший материал, накопившийся у наблюдательного, много познавшего и вдумчивого автора, новому роману которого на много лет вперед гарантирована актуальность.

Анатолий Либерман

Два слова о Вильяме Шекспире и Алишере Киямове

В № 58 «Мостов» (с. 316-23) Алишер Киямов опубликовал разгромный отзыв о моем переводе сонетов Шекспира, соединив его с лекцией о тонкостях гомосексуальной любви. Я нахожу его заметку возмутительной.

Моя книга содержит перевод всех 165 сонетов и вступительную статью, но об этих предметах Киямов не сказал ничего, а ограничился руганью и своими соображениями о двух сонетах: Первом и Двенадцатом. Он, правда, хвалит меня за то, что я признал сексуальную ориентацию Шекспира, но напрасно: я не спешил отождествлять автора стихов с человеком по имени Вильям Шекспир, ибо о том человеке известно мало (был такой актер и драматург; рано женился, имел двух детей; разбогател; умер в апреле 1616 года в день своего рождения). Я также не понимаю, почему в своей псевдорцензии Киямов постоянно называет меня исследователем Либерманом: я ни биографии Шекспира, ни сонетов не исследовал, но, конечно, любой поэтический перевод — это интерпретация (ему ли не знать?).

То обстоятельство, что большинство сонетов обращено к мужчине, не вызывало сомнения с первого дня. Лишь начиная с № 127, речь идет о Смуглой Леди, хотя и в первый цикл (хронологически он, кстати, более поздний) вклинивается горестный рассказ о любовном треугольнике (не о трех мужчинах, разумеется). Отсутствие грамматического рода в английском языке часто делает адресата непроницаемым, но № 20 и особенно прощальный (№ 126: «О ты, мой прелестный мальчик») проясняют картину.

В конце XIX-начале XX века ситуация изредка обсуждалась без обиняков, а за последние пятьдесят лет о ней написано страниц без счета (даже в советском собрании сочинений Аниксту пришлось защищать безгрешную мужскую дружбу, хотя он-то уж истину знал), так что Киямов напрасно становится в позу чуть ли не первооткрывателя и наставляет меня. Всю эту литературу я прекрасно знаю, в переводе ни

разу не употребил родового окончания (*был, была* и т.п.) и ничем себя не скомпрометировал, но он считает, что я ограниченным совком был, совком и остался, а он, попав на Запад, сбросил старую шкуру и может смотреть на меня со смесью неприязни и брезгливого сожаления.

На самом же деле, оказавшись в свободном мире, он усвоил одну из самых несимпатичных современных догм, которая по-английски называется *identity politics*, то есть противопоставление одной группы всем другим. С утра до вечера нам вбивают в голову, что только неграм доступны переживания негров («а ты попробуй отказаться от белой привилегии»), только гомосексуалисты могут проникнуться соответствующим духом («а ты поживи в постоянном страхе разоблачения»), ну, а женщины — о них-то мужчинам лучше помолчать («а ты походи треть жизни с тампоном между ног») — все мои скобки из газет. При этом каким-то странным образом дорога эта односторонняя: негры прекрасно понимают белых, гомосексуалисты — гетеросексуалов, а женщины — мужчин: понимают и осуждают. Мы уже давно не человечество, а хрупкий конгломерат многочисленных «гендеров», этносов, классов, партий, групп, группировок и кружков, и все ненавидят друг друга.

Киямов, как сказано, прокомментировал два сонета из 165, но ниже я в основном ограничусь одним, Первым. Киямов постиг его смысл. Остальным это не дано. Даже Модест Ильич Чайковский, педофил, не поднялся на должную высоту, хотя кое в чем преуспел: и он, и его знаменитый брат (Петр Ильич), тоже гомосексуалист и педофил, толк в этих делах понимали.

Вот почти дословный перевод сонета — почти дословный, потому что великие и даже просто хорошие стихи дословно перевести нельзя, да и некоторые строки не вполне ясны: «От прекраснейших (*или* прекрасных) созданий мы хотим [иметь, (получить)] плод [букв. рост, увеличение] затем, чтобы роза красоты никогда не умерла. Но, хотя более зрелое создание со временем умрет, / Память о нем сохранит его нежный [юный] наследник. / Но ты, помолвленный со своими яркими глазами, / Поддерживаешь пламя своей свечи топливом, идущим изнутри, / Производя голод там, где вокруг изобилие. / Ты, свой враг, слишком жесток по отношению к себе. / Ты, пока что нежное [юное] украшение мира / И единственный вестник своей буйной [многоцветной] весны, / В своем бутоне хоронишь то, что содержишь, / И, нежный [тот же эпитет, что и выше] неотесанный скопидом [простолудин, то есть не аристократ], скупясь, занимаешься расточительством. / Сжался над миром или стань таким обжорой, / Что пожрешь то, что мир ждет [от тебя], взяв себе в союзники могилу».

Смысл первых семнадцати сонетов в общем контексте цикла загадочен. Если поэт влюблен в своего адресата и (пока еще) робко надеется на взаимность и, главное, если один гомосексуалист пишет другому, какой смысл призывать адресата жениться, иметь сына и тем воспроизвести себя. (Добавлю, что, читая самый первый сонет, мы не имеем права знать, что будет сказано в следующем.) Об этом предмете написаны тома. Но оказывается, всё совершенно понятно, и Киямов объясняет, что никто никому жениться не советует: адресат — это бутон, головка фаллоса и не должен скупиться. Насчет головки фаллоса ничего сказать не смею, ибо, как огня, боюсь неконтролируемых сексуальных ассоциаций на подростковом уровне: вдоволь я начитался их у литераторов-фрейдистов.

Дальше Киямов сообщает, что «жених» (кавычки его) — «девственник, predisposed к однополый любви..., и наследника можно представить [себе], только предавшись заумствованиям. Да и Шекспир не мог бы позволить такого традиционного занудства [как в моем переводе], используя эзоповский язык, от которого даже самый непосвященный читатель начнет зевать на протяжении полутора десятка сонетов» (с. 320). Дальше в мой адрес идет совершенная ахиня об оболщении девственника мудрыми афоризмами, эротически-извращенных помыслах и прочее, якобы вычитанное из моего перевода.

Нет возможности оправдаться от доноса, но откуда взялся жених-девственник? И смею спросить: читал ли Киямов сонеты, где речь прямо идет о будущем прелестном ребенке (предсказываются даже его фамильные черты), о той (о той!), которая не откажется от такого плуга (и ни в какую замочную скважину никто не подсматривает), о прекрасном союзе мужа, жены и ребенка? Двенадцатый сонет на ту же главную тему: Время (у Шекспира всегда с прописной буквы) пожрет красоту (увянет фиалка, поседеют черные волосы, опадут листья, колосья превратятся в мертвые снопы), не спасешься и ты, но наследник победит Время. Этот сонет не из числа загадочных, темных, но оказывается он о том, «что полюбивший хочет *укрыть (собой) возлюбленную* от всех этих примет увядания дня» (с. 322; курсив, естественно, авторский). Где это сказано? В каком каламбуре, в какой метафоре скрыт намек на «укрывание», то есть, если я правильно понимаю Киямова, на половой акт? А ведь Шекспир был великим мастером таких иносказаний. Всё это очередная головка фаллоса.

Кроме моих переводов в рецензии цитируются переводы Гербеля, Маршака и Модеста Чайковского. У меня много претензий к Маршаку, но невыносимо безнаказанное хамство советско-партийного образ-

Об авторах:

Дмитрий Казьмин – современный поэт, по специальности ученый-биолог. Живет в США.

Борис Майнаев - й современный писатель, автор многих книг, изданных в Киргизии и в России, среди которых «Два лица луны», «Театр призраков», «Тигр в стоге сена», «На пути в рай» и другие. Живет в Саарбрюкене, Германия.

Евгений Терновский – известный русский зарубежный писатель, автор многих книг, изданных на русском и французском языках: «Приемное отделение», «Странная история», «Двойник Виктора ван дер Д», «Сеанс» и других. Живет в Париже.

Анатолий Либерман – профессор университета в Миннеаполисе, США, известный литературный критик и поэт Русского Зарубежья, наш постоянный обозреватель и член редакционного совещания.

Семен Резник - известный писатель и историк, более 40 лет занимается изучением истории России и историей евреев России. С 1982 года живет в США, где продолжает заниматься той же тематикой. Его перу принадлежат исторические романы «Хаим-да-Марья», «Кровавая Карусель», документальная повесть о деле Бейлиса, книги: «Красное и Коричневое», «Национализация России» (на англ. языке), «Растление ненавистью» и др. Книга Семена Резника - «Вместе или врозь. Заметки на полях книги А.И. Солженицына 'Двести лет вместе'» (Москва, «Захаров», 2003, 2005), является не столько полемикой с нобелевским лауреатом, сколько параллельным с ним прочтением истории России и истории евреев в России.

Александр Урусов – в 1965-66 входил в СМОГ. В 1982 эмигрировал в Италию. Профессор русского языка и литературы в Неаполе и Милане. Автор книги прозы «Липучие сны».

Алишер Киямов - родился в 1958 году в Ленинграде. Окончил в Москве Литературный институт им. Горького, жил и работал в Душан-бе. После того как в Таджикистане началась гражданская война, вернулся в Петербург. Автор поэтических сборников «Облики» (1988), «Ностальгия по потопам» (1994), «Исход» (2003), «Хмельной тропой к письмам лозы» (2008), «Стихи и переводы с немецкого» (2013). «300 стихотворений немецких дадаистов и экспрессионистов» (2017) и других. Живет в Германии.

Ара Мусаян – прозаик, переводчик современной и классической французской литературы. Неоднократно выступал в нашем журнале с переводами французской поэзии и философскими этюдами. Живет в Париже.

Евгений Любин – современный писатель, автор книг: «Исповедь в последнюю неделю жизни», «Ураган над Гудзоном» и других. Живет в Нью-Йорке. Председатель Клуба русских писателей Нью-Йорка.

*Об остальных авторах читайте в вышедших номерах
журнала*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Der literarische Europäer

*Ежемесячный литературный журнал
Союза русских писателей в Германии*

Выходит с апреля 1998 без перерыва

Редактор - Владимир БАТШЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ
единственный ежемесячный литературный журнал в Европе и Америке
на русском языке

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ
журнал не только русских писателей в Европе, США, мире,
но и русских читателей в Европе, Америке, мире

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ
постоянный участник Франкфуртской книжной выставки-ярмарки
публикует на своих страницах не только писателей, но и читателей

Разделы журнала:

ПРОЗА*ПОЭЗИЯ* ПУБЛИЦИСТИКА*
МЫ И ЛИТЕРАТУРА*ВОСПОМИНАНИЯ*АРХИВ* ИСКУССТВО
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГУЛКИ*ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ*ЮМОР* ПЕ-
РЕВОДЫ*ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО*РЕЦЕНЗИИ* СТРАНИЦА РЕДАК-
ТОРА*ПО ТУ СТОРОНУ*ОБЪЯВЛЕНИЯ* ФОТО* РИСУНКИ

Postfach 630129,

60351 Frankfurt am Main,

Germany

Tel. 49-69-308 71 84

e-mail: 1998Lew@gmail.com

www.le-online.org

ПОДПИСКА (12 номеров, с любого месяца с доставкой)

В Европе – 60 €, в США – 85\$

Konto IBAN: DE53 5005 0201 0000 6524 82

SWIFT-BIC.: HELADEF1822

Получатель - Verband russischer Schriftsteller